

Москва

Москва

6

1966

1966 6

Москва

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

- Борис Полевой.** В НАСТУПЛЕНИИ. (Из дневников военного корреспондента). Фронт-овые зарисовки **Н. Жукова.** (Окончание) 3
- Сергей Воронин.** ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ВЕТРА... Рассказ 69
- Сергей Баруздин.** ТАСЯ. Повесть 80
- Збигнев Сафьян.** ДНЕВНИК ИНЖЕНЕРА ГЕИНЫ. Роман. Перевод с польского **Л. Войтоловской** 116

СТИХИ

- Василий Федоров.** ИЗ КНИГИ «ТРЕТЬИ ПЕТУХИ» 65
- Лариса Румарчук.** МЕТАМОРФОЗЫ.— ЛЮБИМЫЕ.— НЕ ЛЮБЛЮ ЗАНАВЕШЕННЫХ ОКОН...— АХ, КАК ХОЛОДНО МОРЕ ШУМЕЛО...— СОЛНЦУ 76
- Петрос Антеос.** ИЗ КНИГИ «ГОЛОС ОЛИВЫ», Переводы с греческого 78
- Андрей Алдан-Семенов.** БЕССОННИЦА СТРАНСТВИЙ 113
- Владимир Семенов.** ПУСТЬ ПОДУМАЮТ, ЧТО ХОТЯТ.— ВСПОМИНАЕТСЯ ЛЕС.— ПОДКОВА. 115
- Анна Ахматова.** ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО 157

- МОСКВА 1970.** **В. Гордин.** ДРАГОЦЕННЫЕ МЕЛОЧИ.— **В. Мельников.** НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ (158).— **К. Коноплева.** СЛАДКИЙ ГОРОД МАСТЕРОВ.— **М. Виталин.** ПО УЛИЦАМ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ (189).— **А. Кричевский.** 105-й МОСКОВСКИЙ (198).— **Валерий Тур.** ОСТАНКИНСКИЙ ЛАЙНЕР.— **Н. Ильинская.** ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!— **Л. Лондон.** ФИЛИАЛ — НА ЦВЕТНОМ (208).



●
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

С. Преображенский. «...Я БЛАГОДАРЕН ТЕБЕ...». (Из неопубликованных писем А. А. Фадеева) 162
Кира Канаева. ЧТО ТАМ, ЗА КУЛИСАМИ? 192

●
НАД СТРАНИЦАМИ КНИГИ. **Арк. Эльяшевич.** УБИЙЦЫ БОЯТСЯ ПРАВДЫ (201).
Л. Вольпе. МУЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО (203).—**В. Баранов.** ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРЫ (205).—**Генрих Митин.** «ЧТО ТАКОЕ ЖИСТЬ?» (206).

●
МОСКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Н. Вержбицкий, Э. Медведовская. ДЕНЬГИ РЕВОЛЮЦИИ.—**Генриетта Алова.** ШЛЮЗ СТРОИТСЯ НА БЕРЕГУ...—**Н. Муравина.** МАГ И ВОЛШЕБНИК.—**Д. Кульпинский.** НОВЫЙ АДРЕС ВТО.—**В. Суетенко.** ЛЕТОПИСЬ РУССКОЙ СЦЕНЫ.—**Н. Владимирова.** КУРИТЕ... ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ! . . 212

●
ЮМОР — 66

Арк. Бухов. ЛАВОЧКА СМЕХА.—**Юрий Кушак.** ВЕСЕЛОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ.—**Ян Полищук.** ИЗ БЛОКНОТА ФЕЛЬЕТОНИСТА.—МЕЖДУ ПРОЧИМ 219

●
ГАЛЕРЕЯ „МОСКВЫ“

ШЕСТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОВЫСТАВКА
ВЫСТАВКА СОВЕТСКОГО ЭСТАМПА

Адрес редакции:
Москва, Г-2, Арбат, 20
Телефоны: Г 1-78-01,
Г 1-06-86

Рукописи объемом меньше печатного листа не возвращаются.

Подписка на журнал принимается во всех учреждениях Министерства связи. Редакция вопросами подписки не занимается.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Е. Е. ПОПОВКИН (главный редактор),
А. Д. АНДРЕЕВ (заместитель главного редактора),
В. М. АНДРЕЕВ, А. Н. ВАСИЛЬЕВ, Б. С. ЕВГЕНЬЕВ,
Л. В. ИВАНОВА, Е. В. ЛЕВАКОВСКАЯ,
Л. В. НИКУЛИН, В. П. РОСЛЯКОВ,
С. А. САВЕЛЬЕВ (ответственный секретарь),
Г. А. СЕМЕНИХИН, Ю. С. СЕМЕНОВ,
С. В. СМИРНОВ,
А. А. ЦЫГУЛЕВ (заместитель главного редактора),
В. Д. ШАПОШНИКОВА, М. А. ШОЛОХОВ

Художественный редактор Н. И. БОБКОВА



В НАСТУПЛЕНИИ

(ИЗ ДНЕВНИКОВ ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА)

Накануне

Из Москвы неожиданно прибыл полковник И. Г. Лазарев, начальник военного отдела «Правды».

Корреспонденты шутят: есть, мол, примета: появление начальства — к большим событиям. На этот раз шутка оправдывается. Раздавлив Лелековскую группировку, наше командование быстро перенесло центр удара севернее Кировограда, и сейчас наши танки, прорвав вражескую оборону, устремились к городу Шпола. Это еще не объявлено, но в штабе говорят, что войска Первого Украинского фронта под командованием генерала армии Н. Ф. Ватутина,двигающиеся от Белой Церкви, тоже прорвали оборону и наступают на Звенигородку.

Нетрудно угадать, что в этом встречном движении есть близкая взаимосвязь и в этой взаимосвязи идущих друг другу навстречу танковых армий, вероятно, и заключено стратегическое зерно начавшейся операции.

В последние два дня никому из нас не удастся добраться до места сражения. Оттепель. Поля обнажились и неожиданно зазеленели бархатными озимями. На дворе по-весеннему пахнет оттаявшим навозом. Петухи неистовствуют. Озеро за нашим огородом посинело, разлилось, на дорогах такая грязь, какая может быть только здесь, в хле-

бороднейшей полосе черноземной Украины.

Машины стоят во дворе, погружившись в жидкий навоз по самую ступицу. Не проехать, не пройти. Отправляясь по утрам за информацией в оперативный отдел, собираемся, как в полярную экспедицию. Словом, скованы по рукам и ногам. А рядом гремят раскаты новой битвы. Мы слышим звуки артиллерийского боя, идущего в воротах прорыва, где-то у деревни Тишковки.

По ночам, если ночь выдается светлая, можно видеть мерцание ракет и вспышки разрывов, и от всего этого на душе еще тягостнее. Для настоящего журналиста нет муки тяжелее, чем вынужденное сидение в такие вот дни. Все ходят нахохлившись, злые, раздражительные, и все бешено завидуют капитану Костину, корреспонденту Союзрадио, который еще в первые дни операции успел присоединиться к наступающей танковой части и вместе с нею идет сейчас на танке в глубь немецкой дуги. То с офицером связи, то с попутным летчиком, то с ординарцем-конником или какой-нибудь иной оказией он передает свои корреспонденции, от которых, кажется, пахнет дыханием боя. Последнюю он дал из только что занятой Шполы и в приписке предупредил, что может проскочить с танками на соседний фронт и что нам не следует о нем беспокоиться, если он на несколько дней исчезнет с горизонта.

Корреспондентская эстафета

Все мы, в том числе и наш гость полковник Лазарев, передавали друг другу эти четыре листка наспех исписанной бумаги. Вот, черт возьми, повезло человеку! А мне особенно лихо — начальство рядом, и нет никакой возможности отличиться. Даже передать фронтовую хроникку — и то проблема. Проводная связь то и дело рвется. Телеграфисты-сетевики ходят теперь пешком — пока добредешь до обрыва, пока его найдешь, пока исправишь, пока, настраиваясь на Москву, техники «гоняют точки», случается новый обрыв.

Словом, в Москву доходят с фронта только оперативные и разведывательные сводки да политдонесения. Наши корреспонденции лежат на пюпитрах телеграфисток толстыми подушками.

И вот сегодня утром меня разбудил телефон. На проводе секретарь Военного Совета майор Григорий Романчиков, наш общий друг, губящий, как мне кажется, в военной канцелярии настоящее репортерское дарование и, во всяком случае, добрый журналистский азарт.

— Хлопцы, не зевать! — слышу я в трубку. — В столицу нашей Родины со срочным пакетом от Военного Совета вылетает прямым рейсом «Р-5». Стартует через двадцать минут. Рейс важный, если успеете передать ему свою стряпню, завтра весь мир будет потрясен вашими залежавшимися шедеврами. Только не опаздывайте, ждать не будет.

Двадцать минут! За это время надо добежать до телеграфа, это километра полтора, оттуда до посадочной площадки еще два. И это по грязи, которая хватает за ноги и норовит сдернуть с тебя сапоги. Тут, пожалуй, и сам ногокрылый Меркурий спасует.

Меркурий, но не военные корреспонденты. Живем все рядом. Леонида Кудреватых осеняет гениальная мысль: ни у кого из нас в отдельности не хватит сил, давайте

организуем эстафету. Встанем на участках от узла связи до посадочной площадки. Каждый побегит что есть мочи. Потом другой, третий, пятый

Отличная мысль! Захватив вещевой мешок, самый молодой среди нас — Лило Лилоян — выбегает на первый маршрут к узлу связи, а остальные занимают свои места. Меня, как не очень крепкого на ноги, но, по характеристике Кудреватых, крепкого на язык, отправляют прямо на летное поле «вкручивать баки» пилотам с тем, чтобы они все-таки дождались окончания эстафеты и не улетали без наших материалов.

Вся эта идея очень понравилась полковнику Лазареву, добрейшему человеку с хриплым голосом и сердитой внешностью.

— Дружно живете, — произносит он и вдруг изъявляет желание принять участие в этой эстафете.

Честно говоря, мы испугались: полковничьи погоны, вес как общественный, так и физический, хромота сапоги, мало приспособленные к украинским грязям... Нет, пусть лучше за ним останется идейное руководство и наблюдение!

Записывать долго, а совершилось все в считанные минуты. Примерно минут за десять до срока отлета я уже был на посадочной площадке, познакомился с летчиком и бортмехаником. Рассказал им, как важно сейчас, для хода войны, чтобы наши корреспонденции попали в редакции сегодня вечером и были опубликованы завтра, как они подбодрят наш героический тыл и благоприятно действуют на союзников, подтолкнув их к созданию второго фронта.

— Так давайте! Слово даю — живо долетим, вечером все будет в «Правде», — заявил пилот.

Пришлось долго и подробно объяснять, что речь идет не только о моей корреспонденции, а о материалах всей прессы, что их со мной нет, что за ними только пошли, сейчас принесут. Летчик посмотрел на свои ручные часы, которые он, по обычаю, почему-то принятому у фрон-

товых пилотов, носил с тыльной стороны руки.

— Семь минут. Жду семь минут.

Тогда я принялся рассказывать о форсировании Днепра, о Восточном вале, о героизме солдат, о таинственном деде Левко и даже пытался напеть его песенки. Слушали, хорошо слушали, но на часы все-таки летчик поглядывал, и стрелка неумолимо приближалась к роковой цифре. Вдали, у кромки летного поля, маялся, переступая с ноги на ногу, Леонид Кудреватых. У него был последний завершающий этап, а эстафетой, как видно, еще и не пахло.

Тогда я бросил на стол последние козыри: рассказал несколько анекдотов о генеральшах, которые я сам терпеть не могу, продекламировал несколько рифм-ловушек с весьма сольным текстом и еще более сольным подтекстом, которые в те дни гуляли по фронтам, сочиняемые, по одной версии, Константином Симоновым, а по другой — Алексеем Сурковым. Это, как всегда, имело огромный успех. Бортмеханик даже принял было записывать, но летчик неумолимо сказал:

— Потом. В следующий рейс. А сейчас время, товарищ майор. Ничего не поделаешь — время.

Я поглядел на Кудреватых, он даже подпрыгивал от нетерпения, но эстафеты все не было. Тогда я пошел просто на авантюру, сказал, что хотел бы осмотреть машину: чудная машина, на всех летал, а вот на ней — нет. Летчик промахнулся и пригласил в открытую кабину. Стал торопливо объяснять — рули высоты, рули глубины, газ. Я по мере сил проявлял чрезвычайную любознательность: что то, да что это? Ведь не станет же лейтенант вытаскивать майора за шиворот.

Так прошло еще минуты три-четыре.

— Механик, к винту! Товарищ майор, прощаемся. Нам пора, — жестко сказал лейтенант.

«Ну что ж, видно, не судьба», — подумал я и, будто в замедленной киносъемке, начал вылезать из машины. Но перед судьбой никогда

не следует преклонять голову. В момент, когда прозвучала команда: «От винта», я увидел, как, бросив шинель и фуражку, прыгая, точно леопард, несется к машине Леонид Кудреватых с мешком. Я бросился к нему навстречу, вырвал мешок, ринулся к самолету. Летчик, улыбаясь, протягивал руку за грузом.

— А у вас, оказывается, как у нас, у летунов, взаимная выручка, — сказал он, перегибаясь. — Не беспокойтесь, доставим.

А мы с Кудреватых сидели на мокром снегу, глядя, как разбегаются, отрывается от земли, уходит в небо и уменьшается в размерах «Р-5». Сидели и сияли, будто нам обоим дали по ордену.

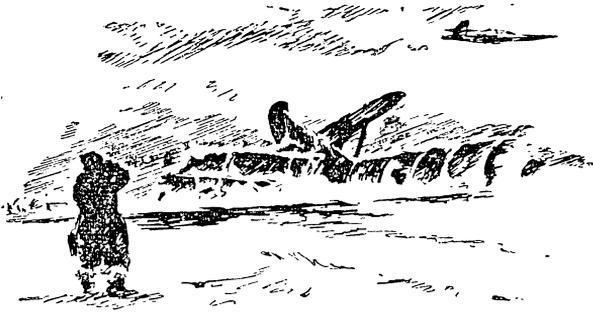
На следующий день в газетах и по радио залпом прогремели корреспонденции с нашего фронта, причем я даже фигурировал на полосе в двух ипостасях — и как Б. Кампов и как Борис Полевой.

Кажется, завершилось...

Первый и Второй Украинские фронты между тем наступали навстречу друг другу. Танки генерала Ротмистрова встретились в Звенигородке с танками генерала Богданова, и этим боевым рукопожатием частей двух фронтов завершилось окружение Корсунь-Шевченковской группы. «Дуга» превратилась в «котел». Разведчики, явно осторожничая, говорят, что в котле этом захлопнуто около десяти дивизий и одна эсэсовская бригада «Валлония».

Эта операция уже получила в штабе официальное название «Корсунь-Шевченковская» — от города того же названия, оказавшегося сейчас в центре обороняемого врагом плацдарма, и первый этап этой операции, по-видимому, уже завершается.

Встретившиеся танковые колонны продолжали свой путь: одна — севернее, другая — южнее. Так образовался как бы коридор, отделивший окруженную неприятельскую группировку от основных сил при-



мерно десятикилометровой перемычкой. Коридор этот сейчас наполняется нашими войсками — пехотой, казачьими частями. Стенки коридора укреплены артиллерийским заслоном, нацеленным и внутрь «котла» и наружу, навстречу тем частям, какие противник, как говорят, уже бросает на выручку окруженным.

— Назревают Канны на Днепре, — говорит, потирая свои небольшие крепкие руки, полковник Лазарев, любитель исторических аналогий.

— Украинский Сталинград, — обронил сегодня в беседе с нами наш друг, подполковник Вилюга.

Настоящая весна. Февраль еще только завязывается, а днем уже жарко в шинелях. Над зазеленевшими полями вовсю поют жаворонки. Но нам от этого не веселей. Все попытки добраться до образовавшегося коридора в буквальном смысле слова увязают в этой первоизданной грязи.

Автотранспорт вообще парализован. Единственная наша надежда — самолеты — третий день не поднимаются с раскисших посадочных площадок. Рюмкин чем свет принимается звонить на аэродром. Это стало для него чем-то вроде утреннего намаза у мусульман. Он уже перезнакомился со всеми дежурными, знает их по именам, знает их симпатии, справляется об их здоровье, но это, увы, не помогает. Волей-неволей приходится «воевать» по карте.

Но и в невыносимо тяжелых условиях распутицы наступление продолжает развиваться. Бои идут не-

прерывно, не затихая даже ночью. Боеприпасы в наступающие части сбрасывают на парашютах с транспортных самолетов, везут гужом на конях, на волах. И люди, да, именно люди, тащат их на себе во вьюках. Танкисты в основном перешли на трофейный бензин. Все наступающие питаются за счет тех вражеских продовольственных складов, какие они захватывают в боях. Трофеи огромные. Бесконечные составы с пшеницей, мороженым мясом, с горючим — в прямом и в переносном смысле этого слова.

По дорогам, кажется, не может пробраться ни одна колесная машина. Но, следя по карте, мы видим, как уменьшается, точно обтаивая, площадь, занимаемая немецкой группировкой. Наши части как бы загоняют резец в тело неприятельской обороны, откалывают от него одно селение за другим, потом берут их под перекрестный огонь и, наконец, подорвав волю к сопротивлению, атакуют, иногда даже с четырех сторон.

Оперативная идея окружения, являющегося наиболее активной формой современного наступательного боя, отражается в тактике и действиях командиров всех родов оружия, решающих в этой операции частные задачи.

К могиле великого Тараса

Новость! Радостная новость! Сегодня освобожден приднепровский город Канев. Враг изгнан с горы Чернечей, на которой похоронен Тарас Шевченко.

Больше терпеть нет сил. На расвете мы с Рюмкиным одеваемся потеплее и без особой надежды на успех, прямо целиной, через раскисшее поле, неся на каждом сапоге по пуду чернозема, бредем на полевой аэродром. Иногда приходится останавливаться, наклоняться и выколачивать сапоги за ушки.

Палит солнце. Звенят жаворон-

ки. Но нам все кажется темным, мрачным. И вдруг будто молния вспыхивает. Что такое? Знакомый тарахтящий звук. Звук, который нам сейчас дороже, чем пение райской птицы. Звук мотора кукурузника, знаменитого самолета «У-2». Через мгновение из-за холма вылетает и он сам — милый, пестрый, неуклюжий и такой дорогой нашему сердцу связной самолет.

Удача! Чертовская удача! Забыв обо всем, бежим, точнее ползем по полю до самой взлетной площадки.

Командир эскадрильи капитан Иваненко, тот самый, с которым в холодный ноябрьский вечер мы без винта сядились на случайный аэродром по пути к Москве, увидя двух взволнованных корреспондентов, с улыбкой предупреждает все наши вопросы.

— Самолет нужен? Знаю. Очень срочно? Не надо слов — знаю. Начальник штаба приказал? Знаю. Освободили могилу Тараса Шевченко? Тоже, представьте, знаю... И все-таки, товарищи, пока ничего не могу сделать. Ждите.

Умоляем, настаиваем. Даже вежливо грозим. Капитан непоколебим. Да, он послал самолет на разведку. Поднялся вроде бы неплохо. Вот если сядет благополучно, нас выпустят. Стоя на крыльце полуразрушенного совхозного правления, смотрим с тоской, как солнце набирает высоту. В домике, прямо на соломе, лежат летчики в унтах, в комбинезонах, в шлемах, тоже истомленные вынужденным бездельем. Нетерпеливый мой собрат выспрашивает у каждого из них отдельно, а потом и у всех вместе, есть ли у нас шансы улететь.

Я пристраиваюсь на соломе и, опустив уши шапки, дремлю. Вдруг раздаются неистовые крики:

— Самолет! Летим! — Рюмки пляшет надо мной какой-то дикий танец, «лейки» и «контакты», которыми он обвешан, прыгают, как амулеты на беснующемся шамане.

Знакомый уже нам летчик Алеша Мерзляков прокладывает на карте маршрут. Мы потихоньку просим его устроить так, чтобы, улетев

на север, пролететь по кольцу окружения и вернуться с юга, словом, не только побывать на могиле великого кобзаря, но и облететь всю группировку. Он боязливо оглядывается на Иваненко и молча кивает. Мы уже не раз летали вместе, и его юному сердцу не чужд репортерский азарт.

Долго, мучительно долго тарахтит по раскисшему полю наш самолет, не в силах оторваться. Потом тяжело, по определению Рюмкина — как беременная муха, поднимается и летит. Летит...

Под крыльями плывет опаленная, израненная украинская земля. С небольшой высоты поразительно четко видны следы только что отшумевших боев, и по этим следам на земле, на десятки километров исключенной снарядами, минами, можно прочесть историю недавних сражений, понять, какими упорными они были.

Зеленеющее поле у деревни Кумейки вкривь и вкось, покуда хватает глаз, исчерчено двойными следами танковых гусениц. Танки сходились, расходились, крутились в жестоком бою. Наши машины, прорвавшись, давили пехотные ячейки, и сверху отлично видно, как их следы, будто карандашом по бумаге, перечеркивали вражеские окопы. Видим дзот, совершенно раздавленный гусеницами развернувшейся на нем стальной громады. Видим и наши танки, сгоревшие и подбитые. Да, и тут победа далась не даром.

Сверху все это маленькое, игрушечное, и только привычка читать карту помогает понять, как грандиозно все совершающееся сейчас на этом, по-весеннему мокрому и зеленому, клочке украинской земли.

Чем ближе к Днепру, тем чаще и нагляднее следы неприятельского сопротивления. Последние километры летим над окопами, эскарпами, проволочными заграждениями, опутывающими опушки сосновых рощ, песчаные буруны, глубокие морщины оврага, над артиллерийскими позициями, над холмами, над дзотами, увенчивающими вершины приречных курганов.

Вот он, здешний бастион Восточного вала. Смотришь на него и поражаешься тому, как прав был когда-то командующий, говоря, что в современной войне все эти «линии» и «валы» сами по себе ничего не решают. Сколько сил, средств, времени затрачено на создание всех этих сооружений, а маневренные, подвижные войска на большой глубине просто обтекли все эти укрепления, и их гарнизонам пришлось уходить, спасаясь от окружения, может быть даже не услышав артиллерийского выстрела. Сооружения повернуты к Днепру, а война пришла с противоположной стороны, с тыла.

Но вот и сам Днепр, уже свободный ото льда и раздольно сверкающий на солнце. А там, на горизонте, в глубоких складках крутого берега, обозначается невысокая шапка Чернечьей горы, словно бы выступившей вперед, шагнувшей к самой реке из толпы других холмов. На этой горе, в серой массе голых деревьев, мы уже видим гранитный цоколь с бронзовым изваянием и белое здание музея с красной крышей.

Делаем над горой несколько кругов. Алеша примеривается, где сесть. Он великий мастер таких непредусмотренных посадок. Мне рассказывали даже, что однажды он сел где-то на большом огороде. Чтобы потом подняться, пришлось разбирать плетень. На этот раз он садится на узкую полосу шоссе, тянувшегося у подножья горы, над Днепром.

Мой неистовый фотоколлега выскакивает из машины и вновь пускается в свой шаманский пляс, но застывает под удивленными взорами бойцов. Группа солдат в ватниках и ушанках нестройной толпой движется к лестнице, ведущей наверх, на гору. Две девушки в военных шинелях несут большой венок, сплетенный из хвои и украшенный цветами из древесных стружек.

Вот он, холм, где по «Заповиту» похоронили Тараса Шевченко. Ступеньки ведут наверх. Бесконечный человеческий поток вытоптал их. За годы оккупации они заросли бурья-

ном. Фигура задумчиво шагнувшего вперед человека высоко вознесена над горой. Широкий Днепр привольно изогнулся у подножья горы. Все это — и Днепр, и гора, и бронзовый Тарас — гармонично сливается в могучий образ шири и мощи.

Девушки донесли свой венок. Бережно кладут его на каменную плиту. Солдаты стоят без шапок, они очень устали. Лица у них запыленные, исхудавшие. На сапогах, гимнастерках — глина. Оказывается, это депутация от части, которая утром, взаимодействуя с местными партизанами, заняла этот район, освободив могилу великого кобзаря. Венок сделан наспех, сосновые ветви перевязаны бечевкой. Но, думается мне, за много лет на гору Чернечью — место паломничества всего культурного мира — ни разу еще не приносили такого дорогого венка.

Рюмкин тут же расстреливает всю пленку и, дрожа от нетерпения, начинает менять кассету.

Просторное здание музея пусто. Стекла выбиты, речной ветер гуляет по комнатам. Толстый слой льда на полу.

Маленький чернявый лейтенант, возглавляющий делегацию, вместе с нами бродит по комнатам. Он — киевлянин, бывал здесь до войны, и поэтому опустошение музея особенно угнетает его.

Выходим наружу и присаживаемся на ступеньках. Свежий ветер с Днепра насыщен запахом талого снега и бражным ароматом просыпающейся земли. Трогая пушистые усы, которые кажутся приклеенными к молодому румяному лицу, лейтенант рассказывает о том, как была очищена или, как он говорит, освобождена гора Чернечья.

Фашисты не разрушили могилу. Они осквернили ее. Когда фронт придвинулся вплотную к Днепру и наши части заняли позиции на противоположной стороне реки, они затеяли одну из самых гнусных провокаций: вырыли на холмах, соседних с тем, где покоится прах Шевченко, окопы и дзоты, а за самой Чернечьей горой расположили

свои батареи, которые с закрытых позиций, через гору, били по нашим войскам. Расчет был прост: вызвать ответный огонь и заставить нас самих разрушить могилу.

Ежедневно, с утра, батареи начинали обстрел. Они били с упорством и назойливостью. Неприятельский артиллерийский наблюдатель, ничуть не маскируясь, усаживался с телефоном в окне музея, из которого все наши подходы к Днепру просматривались десятка на полтора километров, и корректировал стрельбу.

Несколько дней фашисты таким образом испытывали наше терпение. Ни один наш снаряд не упал на Чернечью гору, зато артиллеристы, точно определив звукометрическими приборами местоположение батареи за горой, за один концентрированный налет навесным огнем в пух и прах разнесли немецкие пушки. Затем, когда развернулась Корсунь-Шевченковская битва, наши части, войдя в контакт с отрядами партизан, действовавших в этом районе, искусным фланговым обходом заставили противника быстро и без сопротивления бежать. Таким образом могила была сохранена.

Еще раз постояв перед могилой, медленно, молча сходим вниз. Около самолета полно мальчишек. Лейтенант Мерзляков, картинно опираясь на крыло, читает им лекцию о советской авиации.

— Ну так как же, облетим все кольцо? Ты только подумай, ведь не один еще летчик не совершал такого облета.

Мерзляков колеблется.

— Боюсь, не хватит бензина.

Убеждаем, что бензина хватит, должно хватить, а это очень важно — наглядно засвидетельствовать перед всем миром, что окружение завершено. И, наконец, не так уж велика беда, если бензина немножко не хватит. Ну, сядем у своих на вынужденную, дольем. В первый раз, что ли?

Лейтенант косится на мальчишек, благоговейно слушающих наш разговор.

— Вот сейчас, орлы, увидите, на что способен этот человек, — подливает масла в огонь Рюмкин.

— Ладно, летим по кругу, — соглашается наконец лейтенант Мерзляков.

Только как отсюда подняться — вот вопрос. С помощью толпы мальчишек развертываем самолет на шоссе. Со страшным треском он отруливает на старт. Короткая пробежка. Подскок. И мы в воздухе. Восторженно оружие мальчишки, похожая на папаху гора, памятник, поднятый над ней, как палец, крыша музея — все это как бы разом проваливается и начинает отходить назад.

Летим сначала вверх по Днепру над городом Каневом, над мостом, обрушенным в реку, над высоким, скалистым правым берегом, поросшим сосною, потом сворачиваем налево и, держась возле линии фронта, которая безошибочно угадывается по дымкам разрывов и пожарищ, обходим кольцо окружения с запада, втягиваемся в перешеек. Теперь мы видим дымы боя справа и слева. Рюмкин с воздуха снимает Звенигородку, Городище, Шполу, и к закату мы благополучно приземляемся на поле, совершив «кругосветный перелет».

Только тут, на земле, все трое мы почти хором произносим:

— Хорошо, что сегодня не было немецкой авиации.



Корсунь-Шевченковское побоище

Каждое утро полковник Лазарев, получив последнюю информацию, заштриховывает на своей карте освобожденную территорию. Теперь окруженная группировка сжалась до плацдарма величиной в несколько квадратных километров. Называют новые и новые цифры трофеев, убитых, пленных. Цифры большие. Они увеличиваются с каждой вновь занятой деревней.

Утром Рюмкину удалось слетать в несколько освобожденных деревень. Он побывал в Городище и в самой Корсунь-Шевченковской. Прилетел оттуда совершенно ошеломленный и, никому ничего не рассказав, бросился проявлять пленку. Проявил, отправил и теперь ходит по дому, все время твердя:

— Вот это разгром! Вот это да! Нет, хлопцы, вы ничего подобного себе представить не можете.

А ведь он был в Сталинграде.

Мы просмотрели оставшиеся у него негативы. Несколько лент: всюду машины, танки, трупы, и в таком количестве, что действительно трудно представить, как все это выглядит в натуре. Длинные вереницы пленных, идущих по степи, по селам, которые они так старательно и, как теперь видят сами, бессмысленно разрушали.

Корсунь-Шевченковское побоище, как называют в войсках эту новую битву на Днестре, близится к концу. Но, сконцентрировав теперь свои силы на небольшом плацдармике, противник продолжает отбиваться с удесятенной яростью. Генерал-лейтенант Штемерман вчера вторично отклонил наше предложение о сдаче. Командующий первой немецкой танковой армией генерал-полковник Хубе подвел свои восемь бронированных дивизий к внешней стороне кольца и, сосредоточив сотни танков на двух узких участках, пытается этими стальными бивнями протаранить кольцо окружения.

Наши радисты все время пере-

хватывают его короткие радиogramмы, адресованные Штемерману. Код расшифрован, разведчики читают их без труда: «Выполняя приказ фюрера, иду на помощь. Хубе», «Держитесь, я близко. Вы слышите меня? Хубе», «Еще сутки, и путь вам будет открыт. Готовьте встречное движение. Хубе»...

Пленные офицеры говорят, будто эти радиogramмы читают в ротах. Но рассказывают и о другом. Среди офицерского состава участились случаи самоубийств. Есть открыто высказывающиеся за сдачу. Командир эсэсовской бригады «Валлония» арестовал нескольких офицеров, бельгийцев по национальности, и судьба их неизвестна. Солдаты изпод полы торгуют нашими листовками-пропусками через фронт. Уже сложилась такса: обычная листовка стоит пятнадцать рейхсмарок, или пайка хлеба, или коробка консервированного фарша. Листовка с фотографией председателя Союза немецких офицеров генерала фон Зейдлица с воззванием этого Союза стоит почему-то дороже — за нее дают двадцать марок и можно получить серьезные вещи: перочинный нож, зажигалку и даже флягу...

Это что-то уже совсем новое. Такого не бывало и в Сталинграде. Может быть, в этом находят выражение какие-то процессы, начавшиеся в их армии? Нет, пожалуй, так еще рано говорить, но немец задумался, и то хорошо.

Во всяком случае, подполковник Зус усиливает печатание листовок с пропусками. Теперь ими просто засыпают занятые врагом деревни.

Зима продолжает капризничать и удивлять своими сюрпризами. Утром мы ходили в гимнастерках, а к ночи поднялся буран, да такой густой и бешеный, что не видно вытянутой руки.

Ветер всю ночь неистовствовал в садочке перед домом, где мы живем, качал яблони, ломился в окна, в двери, сотрясал дом до основания. Мы проснулись от холода. На полу, у дверных щелей, косячками лежал наметанный снег. С трудом открыли

заваленную спереди входную дверь. Косые сугробы лежали в садике и поднимались до самой крыши. Вот тебе и весна!..

Нанесли на карту последнюю обстановку. Сейчас окруженное кольцо сжалось до предела и переместилось на юг к большому селу Шандеревка, которое неприятель ночью отбил у нас снова. Хубе одним своим клином довольно глубоко врезался в нашу оборону. Перемычка, отделявшая его от окруженных, стала тоньше, сузилась километров до шести. Танкам Хубе еще не удалось протаранить ее, но он рвется вперед, невзирая на потери, которые ему уже нанесли и продолжают наносить наши артиллерийские заслоны, рвется, расплачиваясь десятками машин и сотнями жизней за каждый шаг. Положение создается острое. Наши танкисты контратакуют его во фланг. Чем это кончится — трудно сказать, пока что точно известно, что танкам Хубе нигде еще не удалось пробиться.

Несмотря на продолжающийся буран, сражение на кольце идет яростное, упорное. Продвижение здесь измеряется метрами. Мне сказали, что ночью на танке, так как все иные средства передвижения сейчас совершенно бесполезны, наш командующий, генерал армии Конев, выехал как раз туда, где идет самый ожесточенный бой.

Словом, под пение метели в десятке километров отсюда доигрывается последний акт Корсунь-Шевченковской битвы, а мы все блокированы бураном. Кованов мечется по комнате, как тигр в клетке. Рюмкин неистовствует, стонет, точно у него болят зубы. Нет, кажется, никогда у нас не было такого глупого положения.

Утром, едва продрав глаза, все бросились к окнам.

Солнце. Волнистые островерхие сугробы кажутся в его свете голубыми, а тени возле них — синими. Ура! Летный день! Немедленно соединяемся по телефону с летчиками. У них, должно быть, тоже в душе по-светлело. Капитан Иваненко необык-

новенно любезен. Он соглашается даже прислать самолет с полной заправкой прямо к околице нашей деревни.

В комнату вваливается Кованов. Он ходил на информацию. По дороге завернул на телеграф. Вид у него странный, какой-то грустно-радостный, если вообще можно сочетать на лице два таких противоречивых выражения.

— Корсунь-Шевченковское побоище завершено! — торжественно возглашает он, а потом тихо кладет на стол телеграмму, которой его вызывают в Москву. Срочно. Немедленно.

Оказывается, его ожидает крупное повышение. Вот это-то и расстроило фронтового журналиста, неутомимого охотника за интересными новостями. Нет, он не поедет. Он назначил своему начальству свидание у военного провода и сейчас опять ходит по комнате, как тигр, вслух обдумывая неотразимые аргументы, которыми он должен убедить упрямую Москву оставить его здесь, на горячем, наступающем фронте.

— Не прощайте, — говорит он, когда мы с Рюмкиным уходим, спеша к самолету, и даже отводит назад руки.

Мы желаем ему от души «стоять насмерть» и не сдаваться.

Спешим на посадочную площадку. Прем прямо через сугробы. Самолет прелестно стоит на лыжах, а ведь еще вчера его колеса вязли в непролазной грязи.

Маршрут мы с летчиками наметаем такой: пролетим над узловыми пунктами Корсуньского сражения, дадим несколько кругов над Городищем, оттуда вдоль дорог наступления пролетим до Корсунь-Шевченковской. Потом где-нибудь у села Стеблева, где начался последний этап разгрома немецко-фашистской группировки, они меня ссадят, а домой доберусь уж как бог даст...

Как изменился ландшафт со дня последнего нашего полета в Канев! Всюду, куда хватает глаз, снежные поля. Буран аккуратно прикрыл траншеи, окопы, снарядные воронки, одел всю степь снежной пеленой. Но



Корсуньское побоище слишком грандиозно. Его следы неизгладимы.

Уже от Лебедина мы видим на дорогах вмерзшие в землю машины, транспортеры, подводы. Чем дальше в глубь кольца, тем их больше. Улицы громадного села Городище загромождены вереницами трофейной техники. Батареи, орудия и минометы, брошенные в переулках, занесены снегом. Даже железнодорожная насыпь, ведущая на Корсунь, забита машинами. Даю знак летчику: не надо делать круг, картина и так ясна.

До самой Корсуни можно лететь, не заглядывая в карту. Вехами служат торчащие из снега машины. А вот наконец и сама Корсунь-Шевченковская — этот становой хребет окруженной группировки. Здесь мы снижаемся до предела и делаем несколько кругов. Так же, как и в Городище, улицы, переулки, бульвары города забиты танками, пушками, фургонами, машинами, сожженными и совсем целыми, — огромная барахолка. Здесь, в городе, с самолета заметно то, что в поле уже спрятала метель: трупы, много трупов валяется на мостовых, на тротуарах, на перекрестках улиц. Это напоминает мне картины последних дней немецкой обороны в Сталинграде, когда наши части разрезали расположение противника, а потом уже разделялись с каждым из таких кусков в отдельности, уничтожая тех, кто сопротивлялся.

Я не разделяю мнение тех моих горячих коллег, которые сейчас пишут о немцах: «бегут», «спасаются», «дезорганизованы», «деморализова-

ны». Нет, немецкий солдат еще стоек. Он умеет выполнять приказ, но вот приказы — то эти уже не отличаются ни логикой военного мышления, ни остротой полководческого замысла. И если уж применительно к этой операции и говорить о дезорганизации, о потере мужества, так это скорее относится к командованию, причем именно к верховному командованию, решившему

любой ценой оборонять свой «смельско-мироновский язык».

За Корсунью — большой вражеский аэродром. Должно быть, метель не дала улететь этим тяжелым грузовым самолетам, снабжавшим в последние дни окруженных. Часть из них подбита или перевернулась при взлете. Но некоторые все еще стоят рядами, в шахматном порядке, целенькие. Начал считать, но сбился: много.

У Стеблева, как и договорились, снижаемся и садимся без всяких происшествий.

Оставив самолет в распоряжении Рюмкина, продолжаю путь пешком. Это довольно трудно: сугробы, а под ними грязь. Не без труда нахожу штаб одной из бригад танковой армии генерала Ротмистрова. Прошу вездеход — объехать поле боя. Но и на вездеходе не пройдешь по таким сугробам. Дух только что одержанной победы делает танкистов необыкновенно щедрыми: они дают танк «Т-34». Его все равно придется отправлять на рембазу.

На танке движемся к Шендеровке. Танк урчит, ревет, дергается, грудью проламывая преградившие дорогу сугробы, но идет быстро. Великолепная машина!

Зимняя дорога вьется, уходя в лес, поднимается на холм. Вот тут-то перед нами и открывается поле великой битвы.

У дороги справа, слева, на холме, увенчанном топографической вышкой, и в низине, примыкающей к дороге, далеко, сколько хватает глаз, — обледеневшие тела в серо-зеленых

шинелях. Очень похоже на знаменитую картину Верещагина. А вдоль дороги, вьющейся по направлению к селу, провозки, остовы сгоревших машин, брошенные батареи...

Мы долго кружим по полям и дорогам, между Комаровкой и селами Почапинцы и Джурженцы, разглядывая картины побоища. Танкисты довольны, они щедро угощают меня этим зрелищем — что ж, ведь и они творили всю эту победу. Кажется, нет возможности счесть потери, которые понес здесь противник. Мимо мертвых, по дорогам, тянутся живые. Одна из колонн пленных, направляющаяся пешим строем от Шендеровки на Городище, растянулась на несколько километров. Грязные, оборванные, шатающиеся от усталости и истощения, немцы идут, глубоко засунув руки в рукава, вобрав головы в плечи. Бойцы-автоматчики, вопреки правилам конвойной службы, идут табунком, покуривая, беседа между собой в самом благодушном расположении духа. Это, конечно, не дело. Идти им положено по обе стороны колонны, через определенные интервалы. Но ведь пленные так измучены в минувших боях, набрались такого страха, что вряд ли кому-нибудь из них придет в голову бежать.

В селе Джурженцы мне показали только что найденный и доставленный сюда с поля боя труп в генеральском мундире. Пожилой лысый человек, худое, угловатое, давно не бритое лицо. На голове продолговатый шрам — то ли от раны, полученной на войне, а скорее всего от сабли на студенческой дуэли. Узкие руки с костлявыми узловатыми пальцами. Заношенный мундир с генеральскими погонами. Добротные шевровые сапоги на меху, разбитые, покрытые грязью. В кармане найдены документы: воинское удостоверение на имя генерал-лейтенанта Штемермана, разрешение на охоту в заповеднике, несколько писем из дома, семейные фотографии.

Так вот он, командующий Корсунь-Шевченковской группировкой, человек, дважды отвергнувший наше предложение о сдаче, погубивший

десятки тысяч солдат, — погубивший впустую, не то из доктринерского упрямства, весьма свойственного еще старой рейхсверовской школе, не то из ложно понимаемой офицерской чести, а вернее всего, как это было уже в Сталинграде, из страха перед Гитлером.

Как бы там ни было, он не улетел на самолете, как это сделали некоторые высшие офицеры его штаба, не бросил своих солдат. Он остался с ними и погиб солдатской смертью. А может быть, это было своеобразное самоубийство? Кто знает и кто сможет это когда-нибудь узнать?

Торжественный обед

Захожу в шендеровскую школу, одно из немногих сохранившихся зданий, где бивуачным порядком расположился штаб танковой бригады. Командир бригады, полковник, старый знакомый, оказывается гостеприимным хозяином. Трофеев хоть завались, и он закатывает обед в честь командиров остановившихся здесь частей разных родов оружия.

За обедом достигается «полное взаимодействие всех родов войск». Едят и пьют, а разговор идет о только что завершенной операции. Так как тут собрались активные участники битвы, по их рассказам трудно восстановить полную картину того, что произошло в этом селе в последние дни.

Позавчера утром окруженный противник, подгоняемый отчаянием, страхом расплаты, отбил у нас это большое село. Поднявшаяся метель, казалось, хотя бы на время исключила возможность налетов с воздуха. Страшна была эта последняя ночь окруженной группировки. Истощенные, подавленные безнадежностью, голодные солдаты врывались в хаты, в кладовые, клуни. Все съестное, что удавалось найти, немедленно уничтожалось. Коров пристреливали, тут же рубили, рвали на части, варили и жарили мясо на разведенных на улицах кострах и даже в пламени пожара, насадив куски на штык. Вокруг пойманых кур развертывались потасовки, у из-

влеченной из погреба кадушки с кислой капустой устроен был пир.

Пока окруженные «отдыхали» подобным образом, генерал Конев, прибыв в танке в деревеньку Мари-нец, готовил со своей оперативной группой последний решающий удар. Чтобы не дать генералу Хубе, все еще сохранявшему сильную танковую группу и не терявшему надежды пробиться к окруженным, возобновить атаки, он решил нанести удар, не дожидаясь конца метели.

Узкая горловина преграждалась пятью поясами войск, артиллерийскими, пулеметными заслонами, развернутыми в обе стороны, пехотными засадами, перед которыми была поставлена задача, чтобы «и заяц не проскочил» через горловину, и сосредоточенными на флангах ожидаемого прорыва танковыми силами, которые по первому сигналу должны были обрушиться на врага. Тут же, в центре горловины, в леске, ждали приказа казачьи части.

С вечера, когда неприятельские атаки стихли, началось перемещение наших войск на новые позиции. Тяжкое перемещение. Артиллеристам приходилось местами на руках перекатывать пушки. Но согласованные усилия сотен человеческих волей, сплоченных ожиданием близкой победы, сделали то, что бессильны были сделать самые совершенные и мощные тягачи. Пулеметчики копали себе гнезда на опушках, на высотках, долбя лопатками смерзшуюся землю.

В двадцать два часа, когда буран разыгрался в полную силу, генерал армии Конев связался по телефону с командиром авиаполка и предложил найти охотников лететь в этот буран на бомбежку противника в Шендеровке.

Метель бушевала. Видимость была нулевая. Белая кипень крутилась над полем. Летный состав был выстроен у своих машин.

— Кто вызовется добровольно лететь на бомбежку объектов противника — шаг вперед.

Вся шеренга сделала этот шаг. Лететь на бомбежку вызвался весь полк.

Невероятно, но факт...

Это был комсомольский, как он официально именовался, легкобомбардировочный полк, оснащенный знаменитыми «У-2», которые на разных фронтах, в зависимости от климата, именовались по-разному: на севере — «куропатками», в наших калининских краях — «огородниками», здесь, на Украине, — «кукурузниками». Несмотря на эти шуточные прозвища, самолетик этот стал любимцем армии и делал свое дело не хуже собратьев самых совершенных моделей.

Он незаменим для связи, для разведки, для полетов по партизанским тылам. Уже в Сталинграде его применяли для ночных бомбежек, и именно он породил в прессе противника слухи о том, что наша армия приняла на вооружение новый самолет, который может застыть в воздухе и чуть ли не класть бомбы прямо в окопы. Проверить этот слух немцам долго не удавалось, ибо будучи сбитой, эта машина из фанеры и перкаля сгорала до основания.

Сейчас на Днепре в составе нашего фронта действуют два таких легкобомбардировочных авиаполка — комсомольский и женский.

Не знаю уж, что скажут потом специалисты авиационной стратегии. Поверят ли они, что в такую вот метель, при сильном ветре, маленькие самолеты ухитрились не только подняться в воздух, но выйти на цель и начать бомбежку. Через час сквозь вой метели противник услышал тарактение моторов над головами. В снежной мгле прогремели разрывы. Огненные столбы пожаров разорвали плену бурана. Над последним прибежищем окруженных как бы встал светящийся маяк, на который теперь уже безошибочно продолжали лететь самолеты.

Зарево пожара, поднявшегося над селом, было хорошо видно и с земли. К летчикам присоединились артиллеристы. Теперь не только снежный, но и огненный вихрь бушевал над теми, кто выбегал из хат, одеваясь на ходу. Оставаться в Шендеровке стало невозможным,

ибо при огромной скученности каждый осколок мог найти жертву. Потери окруженных все увеличивались.

Генерал Штемерман приказал построить войска в две громадные многотысячные колонны. Во главе их были поставлены остатки эсэсовской части «Валлония». Она должна была служить бивнем, который, как предполагалось, рассечет наши заслоны, пробьет в кольце брешь. За ней в робоину должна была хлынуть остальная масса войск и в их центре — штабы со всем своим добром. Генерал Хубе, командовавший войсками, пробивавшимися к окруженным, был уведомлен об этой операции и обещал начать встречный бой.

Перед походом, как показывают воспоминания, им выдали четырехдневные порции шнапса. И вот на исходе ночи две огромные колонны, растянувшись на много километров, тронулись от Шендеровки на юг. Это был поход отчаяния, и то, что вся эта усталая, изверившаяся, голодная масса людей была двинута в поход компактным строем, было несомненной ошибкой командования неприятеля. Так по крайней мере единодушно говорят наши командиры, собравшиеся за столом гостеприимного танкиста.

В самом деле, разве не проще было рассредоточить эти массы, растечься, растаять во мраке метельной ночи, распылиться на десятки и сотни мелких групп, которые могли бы в значительном своем большинстве без особого труда просочиться сквозь заслоны, как вода сквозь решето? Часто с успехом поступали так наши крупные части, оказавшиеся в окружении в первый период войны. Но так могли действовать только солдаты, вооруженные не только хорошей техникой, но высокой идеей. Штемерман знал своих солдат, знал, что они дисциплинированы и стойки, когда офицер стоит у них за спиной и когда на них действует гипноз приказа. Но он знал, вероятно, и то, что если он рассредоточит остатки своих частей, оставив их без офицерского пистолета у затылка, без страшного

призрака гестапо за спиной, части эти превратятся в стадо, и солдаты поднимут руки.

Думаю, что именно это соображение и заставило Штемермана двинуть свои части в «поход отчаяния», как называют его сейчас пленные офицеры.

Генералу Коневу тотчас же доложили о начале движения шендеровской группы. Решив пока не трогать свои резервы, он приказал стоящим на передней линии войскам отбивать натиск. Завязался бой. Окруженные дрались отчаянно. Их было так много и сражались они так яростно, что наши передовые части под их напором несколько подались назад.

Колоннам противника удалось втянуться в лощины. Они, вероятно, вздохнули свободней, ибо действительно горловина, отделявшая их от армии Хубе, была не так широка. Но в этот момент был дан приказ открыть с фронта и с флангов шквальный огонь. В голых лощинах укрыться негде. Огневой вал косил людей, как траву.

Тогда передовые эсэсовские части метнулись на юг, где недалеко были лески и, казалось, возможное спасение. Но и на опушках леса их встретили пулеметным ливнем. Около часа гремела артиллерия, и колонны неприятеля, еще недавно стойкие, дисциплинированные, превращались понемногу в мечущуюся по полю толпу. Многие поднимали руки, сдавались в плен. Их тотчас же отводили в тыл. Но общее сопротивление продолжало оставаться яростным. Приходилось артиллерийским огнем уничтожать упорствующих.

Чтобы сломить последнее организованное сопротивление, генерал Конев ввел в бой кавалерию. Она мало применялась в этой войне. Что там ни говори, в век моторов, в каждом из которых заключено множество лошадиных сил, коню в общем-то нечего делать — уж очень он уязвим при современной плотности огня. Но в этой операции конники оказались на высоте, ибо укрепленных, пулеметных гнезд у противника

не было. А на главных направлениях вражеских колонн действовали танкисты.

Сеча продолжалась до утра. Когда рассвело, отдельные немецкие офицеры, сплотив вокруг боевые группы, все еще пытались организованно пробиться к лесу. Действовали они умело, пробивались ожесточенно, но вряд ли многим из них удалось переступить этот «круг смерти», как его называют пленные солдаты. Отдельные (группами конечно) прорвались, но когда уже с рассветом кавалеристы и автоматчики прочесывали этот небольшой лес, там никого не было. К сумеркам вчерашнего дня Корсунь-Шевченковское побоище было закончено.

Происшествие на фронтовой дороге

Танкисты за столом рассказывали мне любопытный случай, очень характерный для генерала Конева, ставшего сейчас героем дня. В разгар битвы, когда Хубе своими танками таранил кольцо, командующий фронтом выехал на угрожаемый участок.

Когда танк командующего остановился в балочке перед ручьем и водитель высунулся из башни, чтобы лучше осмотреть брод, он увидел, что внизу завяз грузенный снарядами вездеход, а за ним в метельной измороси темнели силуэты других машин остановившейся колонны.

Командир колонны, младший лейтенант, бросился навстречу танку и стал просить у пожилого человека в солдатском полушубке, поднявшегося из башни, чтобы тот танком вытащил завязшую машину. Человек отрицательно покачал головой: некогда, торопимся. Лейтенант и подоспевшие к нему водители стали убеждать того, кого они принимали за командира танка: помоги, папаша, и тебе при случае помогут. Кто-то посулил пайку табаку, кто-то многозначительно потряс перед носом танкиста увесистой флягой, где булькала жидкость, — дескать, помоги колонне, твое будет.

И все же человек в полушубке приказал водителю обходить завязшую машину, искать брод.

— Так ведь мы же снаряды на дугу везем. Наши там последнее достреливают. Как ты этого не понимаешь? — в бешенстве закричал лейтенант, вытаскивая пистолет.

Человек в башне будто не заметил угрозы. Танк, урча, стал разворачиваться. Тогда лейтенант бросился перед гусеницами в снег. Шоферы последовали его примеру. Образовался целый заслон из тел, преградивший путь танку. Машина остановилась. Пожилой человек выпрыгнул из башни и отдал приказание перетащить танком машины колонны.

— Давно бы так, папаша, — по-мальчишески сказал лейтенант, отдавая приказ зацепить трос за крюк танка, и протянул папиросы. — Кури, да бери все, не жалко.

Между тем из нижнего люка выбрался маленький щеголеватый подполковник в новенькой штабной шинели. Разъяренный, он подбежал к лейтенанту.

— Вы с ума спятили. Это же командующий фронтом, генерал армии Конев! — закричал он.

— Отставить. Он — прав. Лейтенант, продолжайте работу, — сказал командующий, похаживая по стезе, уже вытопанной им в мокром снегу. Ходил, покуривая, нетерпеливо глядел на часы.

Когда последняя машина была перетащена, он позвал к себе начальника колонны. Лейтенант, бледный, возбужденный, откозырял и представился.

— Правильно действовали, лейтенант. Молодец. От лица службы объявляю вам благодарность. Следуйте.

Командующий пожал лейтенанту руку и легко, по-молодому, вскочил в танк. А сейчас, по словам танкистов, когда последняя из неприятельских групп вышла из лесу, командующий на самолете «У-2» вылетел в штаб.

Торжественный обед кончается в сумерки. Хозяин стола, полковник, не церемонясь, встает, благодарит

гостей. Тьма еще только выступают на улице, но танкисты сгустилась в полночь, и надо хоть немного поспать.

Штабники укладываются в классах школы. Без особых удобств. Тылы еще не подошли, но спать на полу на шинели все давно уже привыкли. Мы с командиром бригады и еще несколькими офицерами располагаемся в учительской, на набитых соломой тюфяках. Офицеры мгновенно засыпают, а ко мне сон не идет. Сажусь в уголке, кладу на стол фонарик и начинаю делать записи. И вдруг без стука, без доклада кто-то врывается в комнату. Этот «кто-то» в темноте. Я его не вижу. Взволнованным девичьим голосом он произносит:

— Товарищ полковник, важное сообщение. Сейчас Москва передает важное сообщение. Цимбалки уже играют «Широка страна моя...»

В соседней комнате включена походная рация. Позывные продолжают торжественно звучать. Потом голос диктора Юрия Левитана на самых глубоких своих нотах отчеканивает приказ Верховного Главнокомандующего, посвященный только что отшумевшей битве. Корсунь-Шевченковское побоище именуется вторым Сталинградом на Днестре. За умелое руководство победоносной операцией генералу армии И. С. Коневу объявляется благодарность. Здорово! Очень здорово!

Можно спать. Но разве после такой вести уснешь? Сидим на своих тюфяках и ведем беседу.

— Удалось ли все-таки каким-то неприятельским частям вырваться из «котла»?

— Частям? — задумчиво переспрашивает полковник. — Частям, пожалуй, нет. Куда тут! Вы же видели, сколько их там лежит. — И, подумав, продолжает: — Частям — нет, но вот те, кто вопреки приказу этого самого Штемермана рассредоточился, кто выбирался группками, — эти наверняка просочились. Пленные уверяют, что проскочило сколько-то там танков и бронетранспортеров и на них будто бы ушли штабники.

— М-да, вот интересное это дело, — вступает в разговор подполковник с большим, медного цвета, лицом, перечеркнутым через бровь и нос багровым шрамом. — Немец в наступлении — сила, в обороне стоит насмерть, но вот если так, как здесь, расстроить управление, — стадо баранов без козла. Мечутся туда, сюда... «Хенде хох!», «Гитлер капут!»... Я вот думаю, доберемся мы до их фатерланда, не будет у них партизанской войны, не сумеют... Настой не тот.

— Фатерланд... Ишь, о чем он думает...

— А что? Пора уж. К тому делу идет... Не сумеют они партизанить... А может, и не станут... А у нас вон в Белоруссии каждая сосна по ним стреляет...

— Подполковник у нас по немцам специалист, два раза из окружения выбирался, — рекомендует мне его хозяин дома.

А я в эту минуту вспоминаю историю знамени полка и горсточку танкистов, сражавшихся в степях под Полтавой.

— Идеи у них нет. Бей, жги, грабь, — разве это идея? — говорит подполковник со шрамом. — А у нас идея — нам есть что защищать.

Потом разговор заходит о раненых. Здесь, в Шендеровке, немцы оставили огромный госпиталь, размещающийся по хатам. Мне не удалось там побывать, но собеседники говорят, что немецкие врачи и сестры остались на своих местах и один из них будто бы даже передал письмо генерала Штемермана, просившего наше командование обращаться с их ранеными гуманно, согласно Женевской конвенции. Будто нас надо об этом просить! А вот в Джурженцах и нескольких других селениях немецкие раненые были найдены с пулями в затылке.

— Вы понимаете, с пулей в затылке, — волнуется подполковник со шрамом. — Ведь это же только волки раненых волков приканчивают. Да и то весною, от голода...

Наши девчата-медики ревели, когда увидели эту картину. Ведь это ж подумать только — у солдата поднимется рука немощного товарища застрелить?!

— Это не солдаты... Этим у них гестаповцы занимаются. Те самые голубчики, что вчера стреляли в поднимавших руки. У меня командир танка говорил — лежат в кустах и садят в своих из пулемета, в своих, что с поднятыми руками. Ну, не стерпело ретивое — он и проутюжил танком весь расчет вместе с пулеметом.

В коридоре опять торопливые шаги. Разговор. Слышу, упоминают мою фамилию.

— Разрешите войти? — произносит во тьме молодой голос.

— Разрешаю, тем более, что вы уже вошли, — ворчливо говорит полковник.

— Корреспондент майор Полевой здесь? Товарищ полковник, разрешите обратиться к майору.

— Обращайтесь, — говорит полковник и по-богатырски зевает.

— Товарищ майор, маршал бронетанковых войск приказал передать вам привет и просит немедленно заехать к нему.

— Простите, кто? — по-штатски переспрашиваю я, ибо, насколько мне известно, такого звания — «маршал бронетанковых войск» — в армии нет.

Танкисты тоже насторожились и удивленно смотрят на офицера.

— Маршал бронетанковых войск Ротмистров.

— Ротмистров? Павел Алексеевич?

— Так точно. По радио передан приказ о присвоении генерал-полковнику Ротмистрову звания маршала бронетанковых войск.

Немая сцена. Все мы смотрим на лейтенанта. А тот, радуясь, что может сообщить нам такую необыкновенную весть, продолжает:

— Не слышали?.. Командующий Вторым Украинским фронтом генерал армии Конев — Маршал Советского Союза.

У нового маршала

Вот новость так новость! Надсадно ревя мотором, удобный немецкий штабной вездеход, в котором еще не выветрился терпкий аромат сигар, месит гусеницами глубокий мокрый снег. В воздухе влажно до духоты. Дорога разбита, машину мотает так, что чувствуешь себя горошиной в погремушке, которую трясет беспокойный ребенок. А перед глазами розовое, очень морозное утро под родным моим городом Калинином, оккупированным немцами. Разбитая церковь у погоста Николы-Малицы, бледный, чисто выбритый полковник с аккуратно подстриженными усиками и красными от бессонницы глазами, хрипло диктующий мне, корреспонденту: «...Третий день веду тяжелый бой на Ленинградском шоссе на отрезке Горбатый мост — село Медное»...

И вот он — маршал бронетанковых войск.

Штаб, как всегда у Ротмистрова, отлично организован. У командующего большая хата, чистая, светлая, с деревянными полами, с печью, расписанной петухами, жар-птицами и яркими цветами, какие не растут на земле.

Сейчас в этой хате душно, тесно. Полно народу. На стене не хватило деревянных колков для полковничьих и генеральских папах, и они лежат на лавке вместе с кожаными ребрастыми танкистскими шлемами и даже ушанками, пропитанными вазелином и соляркой. Адьютант вполголоса поясняет, что маршал собрал сюда самых старых своих сослуживцев — генералов, офицеров и просто танкистов. Из саней доносятся возбужденные голоса и песня, которую по-украински запекает бархатный баритон:

Розпрягайте, хлопцы, кони
Та лягайте спочивать...

И нестройный хор мужских голов ревет с мелодичностью артиллерийского залпа:

А я пиду в сад зеленый,
В сад крыниченьку копать...

Радостный, возбужденный, в расстегнутом кителе, но, как всегда, чисто выбритый, с тщательно подстриженными усиками, П. А. Ротмистров появляется в дверях. Обнимаю, и прежде чем я успеваю произнести положенное случаю поздравление, он говорит:

— А помните, под Калинином?..

Чтобы не мешать этому дружному военному гостеванию, сажусь в уголке и наблюдаю виновника торжества и его боевых друзей. Все это в основном молодые люди, которым в дни Октября было десять-пятнадцать лет. Вряд ли кто-нибудь из них и помнит прежнюю русскую армию. А между тем как-то невольно кажется, что все они настоящая «военная косточка». Чувствуется в них военная культура и даже та особенная, офицерская, подтянутость и, не боюсь употребить этого слова, тот лоск, по которому раньше определяли офицеров, выросших в военных семьях.

В последнее время, в связи со стремительными, огромными по масштабам операциями наших танков, печать союзников уделяет особое внимание командирам советских бронетанковых частей. Пишется немало забавного. Ротмистрова обычно почему-то рисуют уроженцем русской аристократической семьи, будто бы даже учившимся еще в царской академии генерального штаба.

— Лейбгвардии его величества гусар от топора,— шутит маршал, когда заводишь с ним об этом разговор.

В самом деле, «родовитый русский аристократ» — мой земляк, крестьянский сын из лесного Селижаровского района Калининской области. Его прадед, дед и отец — крестьяне-бедняки, работали лесорубами и плотогонами, и он с детства вместе с отцом работал в артели лесорубов. Сперва кипятил чай в артельном котле, потом, когда подрос, валил деревья, сплавлял гонки и сплавливал их по Волге до Твери и Рыбинска. И службу свою

начал красноармейцем в годы гражданской войны.

Да, все эти прославленные теперь командиры-танкисты — люди советской формации, выросшие, а некоторые и родившиеся в Советской стране. Недаром на этой дружеской вечеринке, когда хмель уравнивал звания, так лихо звучат полузабытые теперь комсомольские старые песни о кузнецах, «кующих счастья ключи», о паровозе, летящем вперед к коммуне, и та, что заканчивается рефреном:

Долой, долой, долой
Кровавую войну!
Всех буржуев на ракете
Вышлем на Луну.

И тут же между песнями и чарками идут беседы, которые, ей-богу, могут дать немало тем для военно-теоретического журнала. Все это танкисты, танкисты до мозга костей. Они влюблены в свой род оружия и, может быть, даже преувеличивают его значение. Они убеждены, что в новой войне бог уже не артиллерия, а танки в сочетании с самоходной артиллерией и пехотными десантами.

— ...Чем Гитлер в Западной Европе оглушал противника? Внезапностью нападения и стремительностью танковых бросков,— говорит Ротмистров.— Танки рвались вперед, оставляя позади укрепленные линии и превращая их в паршивые мышеловки. Танки прорывались в глубокие тылы, и без выстрела сдавались огромные города... Они крепко повоевали, эти их танкисты. Но только у нас, только теперь танк нашел настоящего хозяина. Смотрите, хлопцы, что делается! Они не успевают за лопаты взяться, чтобы окопы рыть, а танки уж здесь... В умелых руках танк не знает преграды. Вот увидите, еще реки, озера танком форсировать будем...

В разгар веселья Ротмистров вдруг встает, официальный, в кителе, застегнутом на все пуговицы.

— Товарищи командиры, двенадцать ноль-ноль... Извините, я должен с вами попрощаться.

И как-то сразу, без переходов,

настает тишина. За окном рычат машины, увозя разъезжающихся. В закутке, отгороженном занавеской, маршал и начальник штаба уже склонились над картой, как будто всего несколько минут назад и не звенели дружеские чарки, не слышалась песня. Даже в этом мгновенном переключении от веселья к делу сказывается отличная организованность этого штаба танкистов.

Сейчас маршал бронетанковых войск Ротмистров развернул свои части на юг и вбивает танковые клинья под основание Восьмой немецкой армии генерала Хубе, еще тянувшегося в направлении Корсуни.

Танковый клин начал постепенно как бы обтаивать, он теперь уже не такой острый, и мне сказали, что, отступая, Хубе снова оставил на месте боев большое количество техники.

Неприятный сюрприз

Очень хочется попасть туда, где шли эти бои, но даже на вездеходе не доедешь. Движение возобновилось только на фронтовой магистрали, а сверни чуть в сторону — завяз и жди, пока какой-нибудь сердобольный трактор или танк возьмет тебя на буксир.

Решил лететь на самолете, хотя с воздуха, конечно, всего не рассмотришь. Летчик — опытный воздушный разведчик танкового корпуса. Договариваемся, что он, поднявшись, покружит в местах скопления битой техники. И не низко, а повыше, чтобы можно было окинуть взглядом картину, посчитать машины.

— Слушаюсь, товарищ майор. Слушаюсь... Слушаюсь, — отвечает он.

Это «слушаюсь» мне как-то не нравится. Иваненко, Мерзляков и другие, с которыми мне обычно приходится летать, к подобного рода заданиям, а вернее просьбам, относятся обычно весьма критически, спорят, советуют. Но оба они далеко, а в гостях, как говорится, воля не своя. Именно этот самолет предоставили танкисты.

Сначала все идет хорошо. Самолет поднялся метров на триста, и я принимаюсь добросовестно считать подбитые танки, пушки. Записываю места их расположения. Летаем часа полтора, и вот тут-то и происходит со мной один из самых неприятнейших за всю войну инцидентов.

Наблюдая больше за дорогой, чем за картой, летчик сбивается с пути. Впереди — застрявшая колонна артиллерии на механической тяге. Машины буксуют. Солдаты стараются вытащить их из кюветов. И тут, когда мы на изрядной, правда, высоте, оказываемся над этой колонной, солдаты разбегаются по полю и ложатся в кювет.

Что такое?

Немцы! Мы залетели к немцам. Летчик круто развернул машину и, продолжая набирать высоту, повел ее к лесу, виднеющемуся вдаль, в расчете, что над этим лесом мы уже будем в безопасности.

Нам стреляют, так сказать, в спину. Это видно по беспокойным вспышкам пулеметных огоньков и по искристой паутине трасс, повисающей справа и наверху. Вот теперь-то, впервые за всю войну, и замечаешь, что «У-2» — тихоход. Лес близко. Удрали? И вдруг на опушке в сером лохматом кустарничке зловеще вспыхивают багровые огни. Бьют автоматические зенитки. Где-то выше и впереди появляется рядок красивых, пушистых белых дымков, похожих на распустившиеся коробочки хлопчатника. Промазали?

Но что-то сильное встряхивает в этот момент самолет, бросает меня головой о щиток. На миг все куда-то исчезает, а потом, как в тумане, вижу справа крыло самолета, от которого отдрало изрядный кусок зеленого перкаля, разнесенный вдребезги плексигласовый щиток, затылок летчика без шлема, крепкий, стриженный затылок с атлетической складкой на шее. Волосы уже взмокли от крови. Она струйками стекает на воротник кожанки. Но летчик продолжает вести самолет, который быстро теряет высоту.

Вырываю из планшета индивидуальный пакет, вытягиваю нитку и чувствую, что руки плохо слушаются. В теле какая-то тягостная, связывающая ломота. Пытаюсь забинтовать раненого, но он отрицательно мотает головой. В зеркальце видно бледное лицо, плотно закушенные губы.

Самолет все еще летит, летит какими-то рывками, все время заворачивая вправо. Мысль работает резко, отчетливо. Хорошо еще, что у нас изрядная высота. Что же теперь? Разобьемся? Это не худшее. Хуже сесть у врага. Лес, вероятно, небольшой. В нем не спрячешься, да и мой товарищ, как видно, крепко ранен. Достаяю из кобуры пистолет, досылаю патрон, кладу за пазуху, чтобы был под рукой. Мы уже совсем низко. Верхушки сосен хлестнули по физиоляжу. Мягкий шлепок о снег. Опять на миг все исчезает. Но только на миг. Могу оглядеться. Опушка. Небольшая поляна. В глазах мелькают самоходные пушки. «Фердинанды»? Опускаю предохранитель. В левой руке летчика тоже чернеет пистолет.

Но уже в следующее мгновение видим бегущих к нам людей. Они в серых ушанках, в родных дубленых полушубках.

Наши!.. Очнулся от жжения во рту и резкого запаха. Дюжий рябой сержант, должно быть искренне и не без основания веря, что целительнейшее из лекарств — спирт, раскрыл мне рот и сунул в него горлышко фляги. Откашлявшись, оглядываюсь. Летчик сидит на снегу. Какой-то боец в полушубке перевязывает ему голову с той угловатой неловкостью, с какой крупные, сильные люди делают обычно мелкую, непривычную работу.

Оказывается, мы приземлились в расположении полка самоходных орудий Первого Украинского фронта, всего в нескольких километрах от дороги, по которой отступают части генерала Хубе. У летчика разрывом сорвало шлем и осколком поцарапало затылок. Меня слегка контузило. Зато бедный наш самолет превратился в кучу фанеры и

рваного перкаля, и никакой самый старательный механик уж не вернет его, вероятно, к жизни.

В домике лесника

«С ходу» устанавливаем с самоходчиками, подобравшими нас, самые дружеские отношения. Подполковник, их командир, ведет нас в дом лесника, где, как он выражается, поднят его флаг. Тут неожиданно, точно в старой сказке, к нашим услугам скатерть-самобранка и мягкие постели — даже с перинами.

Все это возникает среди леса точно по волшебству. В довершение волшебства появляется дочь лесника Клава, красивая девушка в расцвете лет. Клавдия и ее мать Анна Ивановна — высокая, дородная и, видно, в молодости тоже красивая женщина, ухаживают за нами, как за родными, приехавшими после долгого отсутствия. Еще бы, только вчера вышибли врага из этого леса!

Хозяйки не знают, как и выразить радость. В домике кроме них еще маленький Юрик — сын Клавы, задумчивый и серьезный карапуз, только что научившийся ходить и знающий всего одно слово «мама».

— А муж где? — спрашивает летчик Клаву, которая неторопливо, но ловко хозяйничает за столом.

— А нема мужа, — говорит она и вдруг краснеет до самых ушей.

— А Юрик?

Клава бросает полотенце, подхватывает мальчугана и убегает в соседнюю комнату. Настает долгая, тягостная пауза. Хозяйничает за столом Анна Ивановна. С чисто украинским гостеприимством предлагает она нам все, что у нее есть.

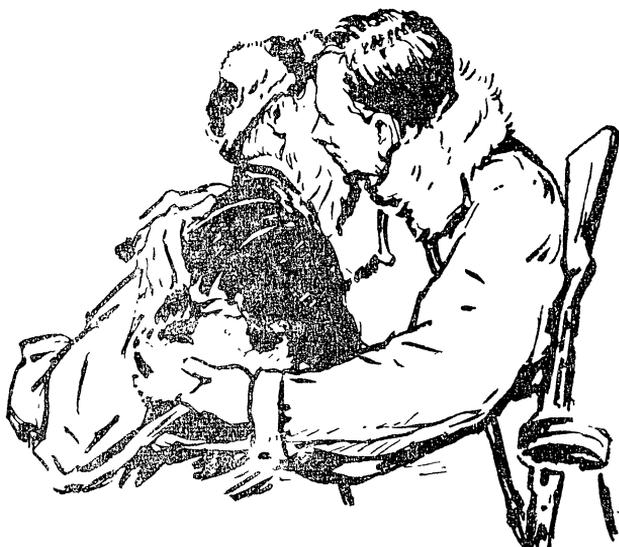
— А где же Клава? — спрашивает летчик, которому девушка явно понравилась.

— А там, — кивает Анна Ивановна за переборку. — Смутили вы ее, товарищ командир.

— Ну чего же тут смущаться? Спросил о малыше, и все. Что же тут для матери стыдного?

— Да нет, девушка она, снимаете? Юрий-то у нее...

Присев к столу, Анна Ивановна



принимается рассказывать нам историю лесной красавицы. Когда в этот край ворвались немцы, Клаве шел шестнадцатый год. Оккупанты вскоре начали мобилизацию молодежи на работы в Германию. По деревням были даны жесткие разверстки. Клава, выросшая в лесу, никогда ничего не боявшаяся, ходившая с отцом на волков, решительно заявила матери — лучше в петлю, чем в неметчину.

До войны лесник жил зажиточно. Хотя сейчас он и его сын в армии и где-то воюют, если живы, хозяйственная Анна Ивановна, перед тем как пришли оккупанты, успела закопать свое добро и попрятать скот в лесном сарайчике, где хранилось сено. Заколов свинью, она отвезла ее в село назначенному немцами старосте: только не трогайте дочь. Староста свинью принял, обещал помочь, что-то там поколдовал со списками, и действительно до осени 1942 года девушку не трогали. Но осенью началась новая мобилизация. Теперь деревни «стригли под гребешок». Партии мобилизованной молодежи под конвоем

гнали по дорогам на Христиновку. Теперь уже не разносили повесток. Специальные отряды приезжали в деревню, блокировали ее, устраивали облаву. Всех схваченных тут же бросали в машину и увозили, не дав даже проститься с родными.

Анна Ивановна отвезла старосте двух барашков. Тот опять благосклонно принял дар, но сказал, что на этот раз помочь он уже не в силах, что сейчас берут без разбору, а Клава — вон какая красавица. У него одна голова, чтобы такую девушку скрывать. Впрочем, он посоветовал сходить в Звенигородку к писарю гебитскомиссара. Сказал, что комиссар не прочь, чтобы ему через этого писаря руку позолотили. Ну они как-нибудь там вычеркнут девушку из списка отправляемых.

Анна Ивановна заколола борова пудов на семь. Отвезла его в Звенигородку. Боров был принят, а на следующий день писарь, он же переводчик, сказал, что вычеркнуть ко-



го-нибудь из списка уже нельзя, что списки посланы куда-то, но дал совет — пусть фрейлейн Клава попробует зарегистрировать брак и ребенка. Тогда будет возможность оставить ее дома.

Среди своих деревенских нашелся хороший человек — инвалид, который дал согласие обвенчаться для формы. В деревне же, по счастью, нашелся трехмесячный малыш, мать которого умерла от тифа. В гевитскомендатуру были представлены свидетельства о браке и метрика ребенка. Но не спасло уже и это. Шнырявший по району мобилизационный отряд нагрянул в лесную сторожку и схватил Клаву. Она отбивалась, кусалась. Ее оглушили прикладом и, бесчувственную, бросили в кузов грузовика.

Несколько месяцев Анна Ивановна оплакивала дочь и нянчила приемного внука. И вот однажды дверь хатки открылась и появилась Клава. Мать не узнала ее, такая она была худая, оборванная, черная.

Оказывается, девушка бежала из эшелона где-то у Бреста. Пешком прошла через Ковель, Шепетовку, Бердичев и добралась до родных.

С тех пор в сторожке завели чуткого кобеля. Он предупреждал, когда приближается кто-нибудь посторонний. И Клава пряталась в лесном сарае. Малый подрост, очень к ней привязался. Зовет мамой. Души в ней не чает, и когда она, такая юная, с чистым девичьим лицом, держа его на руках, играет с ним, она напоминает богоматерь, какой изображали ее сельские иконописцы.

А что, сюжет хоть куда! Для этого стоило плюхнуться с неба, хотя лучше бы, конечно, этого избежать, ибо контузия, даже самая легкая, — штука скверная: руки онемели, дрожат, все тело покалывает, будто его отлежал, а голова нет-нет да и начинает дрожать.

Зимний мираж

В общем-то следовало бы подумывать — записывать это происшествие или нет. Ну ничего, запишу. Рассказывать — так уж все, тем бо-

лее что дневники эти вряд ли когда-нибудь будут опубликованы и в лучшем случае могут послужить сырьем для каких-нибудь моих послевоенных сочинений.

Поэтому останавливаюсь и на этом смешном эпизоде, хотя отлично отдаю себе отчет, что меня он отнюдь не украшает.

В лесной сторожке мы провели лишь сутки. Наутро самоходчики двинулись преследовать противника. Но перед этим они сообщили на наш фронт, в танковую армию, о прискорбном происшествии с самолетом и передали наши координаты. Оттуда поступил по радио приказ: «Ждите». И в полдень у сторожки остановился трофейный вездеход с юрким, веселым лейтенантом и военным фельдшером.

Погрузились в него и с ревом, воем пошли мешать снег с грязью на бесконечных, расползшихся по полям дорогах. Лейтенант оказался человеком запасливым. В чемоданчике у него была неплохая еда, фляжка и даже маленькие трофейные стаканчики, как-то очень ловко вкладывавшиеся один в другой. Словом, двигались с удобствами и прибыли к танкистам без всяких происшествий и в отличном расположении духа.

Зашел в штаб. Сориентировался в обстановке. Все двигалось в южном направлении. Карта была исчерчена и перечерчена. Красные стрелы нацелены на юг, на юго-запад, вклиниваясь уже очень глубоко в расположение немецких дивизий. Но и немцы не оставались в долгу. Они тоже отбили у нас на левом фланге несколько деревень и, как мне сказали, еще пытаются, и довольно энергично, развивать свой контрудар.

Поинтересовался, где штаб фронта.

— Штаб фронта? — равнодушно переспросил оперативник танкистов. — А шут его знает. Кажется, на прежнем еще месте. — И снова стал говорить о неприятельских контратаках, о том, что этот чертов Хубе еще пыжится, но в общем-то все прекрасно, красные стрелы, как

это видно по карте, уходят на юг все дальше и дальше, а это сейчас — главное.

Зашел в школу. Знакомый танкист-полковник был еще там. Мне показалось, что с тех пор как я их покинул, со стола так и не убрали — столько на нем стояло блюд, пустых бутылок. Но на них никто не обращал внимания. Штаб работал напряженно, а в эту комнату, должно быть, никто и не заходил.

Мы с полковником присели, очистив уголок стола. Он уже знал о происшествии с самолетом. На него, боевого офицера, случай этот никакого впечатления не произвел — мало ли что случается на войне. Зато угощал он меня с необыкновенным старанием, то и дело наполняя мой стакан. А сам не пил, и у меня создалось впечатление, что вообще ему не до гостя, что мысли его где-то там, у оперативной карты, а на широком обветренном лице его сквозь доброе радушие, как мне казалось, проглядывало: ну, поел, выпил и ужай, какого черта, не до тебя.

Зато прощался улыбчивый ветеран необыкновенно оживленно, крепко тряс руку, просил не забывать. Он отвез меня за околицу, к уже ожидавшему здесь самолету. Мы с летчиком уточнили место расположения штабной деревни и договорились, что сядет он в поле у западной окраины и, если будет возможно, подрулит к большому, стоявшему на отлете дому агронома, где обитает наш добрый друг секретарь Военного Совета майор Григорий Романчиков. Ну а от него-то я смогу вызвать свою машину.

Недавнее происшествие, должно быть, все-таки подействовало на нервы. Вместо того чтобы тотчас же погрузиться в целительный сон, как это всегда стараюсь делать в пути, я вертелся на сиденье, с опаской смотрел вниз, где по черным, будто тушью вычерченным на ослепительно белом снегу дорогам тянулись войска, глядел наверх, на небо, высокое и совершенно безоблачное. А в голове, что там греха таить, изрядно шумело от только что выпи-

того, и хотя самолет шел совершенно прямо, вдруг начинало казаться, что он проваливается, и сердце подкатывало к горлу холодным комом.

Но сели мы благополучно. Заснеженное поле было безукоризненно ровным, и милый наш «кукурузник», покачивая крыльями, добрался почти до самого домика агронома. Простился с летчиком, помог ему развернуть самолет и бодро направился к знакомому крылечку, мечтая о том, что пока машина придет за мной через большое село, успею подремать на койке у гостеприимного майора.

Вот тут-то и началась чертовщина. Первое, что бросилось в глаза, это отсутствие проводов у плетня и часового у крылечка.

— Да, да,— подтвердила хозяйка, милостивая, не старая еще женщина.— Уехали, все уехали. Сегодня ночью был какой-то звонок, майор вскочил, поднял людей, они тут быстро упаковали бумаги и до рассвета спешно выехали.

Спешно выехали? Что такое? Почему спешно?

— А немцы сюда не придут? — вдруг спросила хозяйка, и на добром лице ее отразилась тревога.— Нет, вы меня не обманывайте, мы ведь, как наши пришли, все из ям выкопали — и посуду и мягкое. Вы уж скажите мне по секрету, а то ведь если придут, все покрадут, ни с чем ведь не растаются... Котел у нас цыганский во дворе вялался, так стали фрицы уходить — увезли. Зачем он им понадобился?.. Вы уж скажите — они прорвали фронт? Да?

Как мог успокоил взволнованную женщину. Возможно спокойнее простился с нею и зашагал через село к месту нашего жительства, находившемуся на другом его конце. Этот большой, в отличие от хат, деревянный дом построил себе до войны знаменитый в здешних краях тракторист. Дом был отведен для нас, корреспондентов, случайно, ибо генерал, которому квартирыеры предназначали его, решил, что ему неудобно жить так далеко от командующего, и перебрался, а мы, к об-

щей зависти, получили это генеральское помещение.

Шагаю, тороплюсь и поражаюсь — всюду следы поспешного отъезда. Провода уже сняты, часовых нет. Ни одного знакомого, вообще ни одного военного. В центре села, в небольшом сыроваренном заводике, размещалась штабная баня. И бани нет. Колхозники несут сюда обратно какие-то сыродельные формы. Глупейшее положение — не подойдешь же к ним и не спросишь — куда, мол, перебрался штаб. Еще за шпиона примут со всеми вытекающими отсюда последствиями. Бывали такие случаи... Ну ничего, приду домой, узнаю. Если Кованов и полковник Лазарев переехали, моя-то машина должна ждать... А тут еще, как на зло, погода переменилась, подул южный ветер, поднимается туман.

До жилья своего я добрался, когда над селом сгущались быстрые февральские сумерки. Подхожу к забору. Что такое? Немецкая речь. Ну это уж мистика! Этого не может быть! Если бы немцы сюда и ворвались, все должно было бы выглядеть по-другому.

Но сквозь сгущающийся туман вижу перед нашим глухим забором две немецкие штабные машины. Ну да, именно немецкие, эдакие четырехугольные железные ящики на колесах, пятнисто покрашенные в цвет щучьей чешуи. Каюсь, душа уходит в пятки. А тут во дворе хлопает дверь, шаги на крыльце. Теперь уже совершенно отчетливо слышу немецкий разговор. Когда-нибудь, вероятно, мне придется за это краснеть, но тут, честно говоря, просто омываюсь потом от страха. Рука как-то сама метнулась к кобуре пистолета, висящего на поясе сзади, но дрожит и никак не может расстегнуть ремешок.

А тем временем калитка распаивается, оттуда выскакивает немецкий лейтенант в полной форме, рывком открывает дверцу машины и застывает возле нее, вытянувшись. А за ним, разговаривая с кем-то, идущим позади, появляется подтянутый, даже, я бы сказал, щеголева-

тый немецкий генерал в начищенных сапогах, в шинели на меху, в фуражке домиком... «Стало быть, немцы», — проносится в моем сознании. И почему-то только удивляюсь, как же они не обращают внимания на советского майора в грязном полушубке, в преглупой, вероятно, позе застывшего около вкопанной перед калиткой скамейки...

Сколько раз я читал в немецких письмах, что немцы поражены, почему советские офицеры, попав к противнику, отстреливаются, пока есть чем стрелять, а последнюю пулю пускают в себя. Ну вот, пришла и моя очередь. Слава богу, кобура расстегнулась. Семь патронов, шесть — в них, один... Все это пролетело в голове в одно мгновение. А в следующее — я уже вижу выходящего из калитки Зуса, продолжающего на ходу беседу с немецким генералом. Он-то сразу заметил меня.

— Ты извини, это председатель Союза немецких офицеров генерал фон Зейдлиц. У тебя самая хорошая хата, ну мы его к тебе и завезли. Ты не в претензии?

Нет, я не в претензии. Но стоять я уже не могу. Ноги не держат. Опускаюсь на скамейку.

— Если до вечера не уедешь, я вас познакомлю. Мы едем на место побоища и скоро вернемся. Интересный, думающий человек...

Обе машины уезжают, а я бреду в дом. Там только хозяйка. Звать ее Лиза. Она выдающаяся самогонщица, первая на все село, и, увы, стала жертвой собственной продукции. «Бедная Лиза» — зовем мы ее. Вот и сейчас она, как говорится, «на взводе» — лицо красное, глаза естественно блестят.

— Что же это такое, товарищ майор? — с ходу набрасывается она на меня. — Почитай два года с немцами маялась. Прогнали, слава богу. Свои пришли, милости просим. Ничего для вас не жаль. Так на, и свои каких-то немцев приволокли... Здравствуйте, пожалуйста... Говорю им, у меня майор стоит. Да какой майор-то! Из центрального органа, из Москвы... Не слушают. А этот, вон, подполковник краснососый, го-

ворит: «Майор мой приятель, он решил. Я,— говорит,— к вам не какого-нибудь зачуханного немца, а генерала фон Задницу какого, что ли, привез». А мне — Задница он или не Задница, наплевать... Так подполковник-то пригрозил. Имеет он такое полное право мирному населению грозить?

Чувствую, что, увы, продукция сегодня у хозяйки удалась на славу. Спорить с ней в таком состоянии бесполезно. Надо переводить разговор. Спрашиваю:

— А где шофер?

— А он в нашем машинном колхозном сарае возится, помогает нам сеялки, что ли, ремонтировать.

— А майор Кованов?

— Большой майор? А он в Москву уехал. И полковник уехал, все уехали. Большой-то майор уж больно не хотел. Он даже телеграмму туда дал — не поеду, дела тут. А они опять ему — выезжай, и никаких разговоров... Очень, очень печалился. Но, должно быть, припугнули его второй-то телеграммой.

Бедная Лиза — умница. Была когда-то участницей Первого съезда колхозников-ударников. Орден имеет, замуж вышла за первого здешнего тракториста. На стене висит фотография: оба они крупные, широколицы, сильные, оба с орденами. Но тракторист ее в первые же дни ушел на войну и пропал без вести, скорее всего был убит в боях за Киев, откуда она получила единственное письмо. А двоих ребят она похоронила в дни оккупации.

По годам она нам сверстница, но относится к нам как-то по-матерински, стирает для нас, попришила все оборвавшиеся пуговицы, иногда поругивает за то, что мы в дом ее, где половицы белым-белы, влезаем в сапогах, заставляет нас разуваться у порога. И продукция ее не переводится на нашем столе, хотя и распределяется в такой пропорции: графинчик — «автору» и графинчик — всем нам, военным.

— Вот вам Большой майор наследство оставил,— говорит она, передавая мне стопку бумаги, пачку карандашей и конверт с запиской.

Из записки узнаю, что Кованова вызвали в ЦК партии, что ждет его большая работа, что он еще не потерял надежды вернуться к нам на фронт. И хотя об этом ни слова в записке нет, по рассказу Лизы угадываю, что корреспондентская душа Большого майора с болью отрывалась от нашего горячего фронта.

Ну что же, прощай, Большой майор! Пустовато будет без тебя у нас. Постараюсь получше использовать оставленные тобою бумаги и карандаши.

За столом с немецким генералом

Беспокойная моя профессия не раз уже сводила меня не только с мертвыми, но и с живыми немецкими генералами. Видел, как, выйдя из подземелья под разрушенным универмагом на одной из площадей Сталинграда, фельдмаршал фон Паулюс отдавал свой пистолет советскому офицеру. Участвовал в допросах немецких генералов.

На этом мое знакомство с немецкими высшими офицерами не кончилось. Однажды мой друг, один из деятелей Комитета «Свободная Германия», немецкий драматург антифашист Фридрих Вольф, познакомил меня с пленным графом фон Эйнзидель, внуком Бисмарка. Мы побеседовали. Молодой граф, которого, впрочем, кроме отсвета славы его деда, ничто не выделяло из общей не очень-то интеллектуальной немецкой офицерской массы, грассируя, сказал:

— Я очень сожалею, что Адольф Гитлер нарушил золотое правило моего деда — не нападать одновременно на Россию и на Запад.

Кроме этой заученной фразы, ничего путного мне из этого потомка выжать не удалось, и я постеснялся передать это интервью даже просто для сведения редакции.

Довелось мне также участвовать и в вечеринке, организованной для генерала фон Зейдлица — председателя Союза немецких офицеров.

О Союзе немецких офицеров, организовавшемся, кажется, в прош-

лому году, уже в дни, когда мы перешагнули Днепр, я мало что знаю. О его главе — тоже. Фон Зейдлиц — фамилия знакомая в связи со Сталинградом. Не тот ли это офицер, который выступил когда-то против приказа Паулюса держаться до последнего и высказался за разумную капитуляцию, когда положение стало там безнадежным. Об этом, помнится, что-то говорили.

— Вот тут вам еще Большой майор оставил,— говорит Лиза, ставя бутылку портвейна.— Проводы ему ваши устроили. Все корреспонденты собрались. Ну а он со стола бутылку взял, мне передал. Это, говорит, для моего друга, другого майора, для вас, стало быть.

Является водитель. Он весь, с головы до ног, в ржавчине. Руки по локти в масле. Веселый, оживленный. Он всегда такой, когда ему удастся вволю поработать, повозиться с механизмами, полежать под машиной. Собственно, по профессии он не шофер, а механик. Механизмы любит больше чем шоферское дело, которое презрительно именует извозничьим, настоящего механика не достойным.

— Ну как, сохранилось там что у нас? — интересуется Лиза, поливая ему над деревянной бадейкой.

— Утильсырье,— отвечает Петрович, густо намыливая руки и

шею.— Но две сеялки из четырех сварганили.

Кроме механизмов у Петровича есть еще одна, очень пагубная для нас страсть — он любит кухарничать и угощать, как он выражается, «понимающих людей». Поэтому часто за один вечер пускает на ветер наши недельные пайки — основные и дополнительные офицерские, и потом приходится грызть сухари или питаться от щедрот хозяек. Эта страсть «угостить» в нем неистребима. Вот и сейчас у него появилась идея шикнуть перед нашим неожиданным соседом — немецким генералом. Ну как же, это ведь диковинка — немецкий генерал-антифашист. Полковник Лазарев и майор Кованов отбыли в Москву, образовался небольшой запасец продуктов. Ну, разве ж Петровича удержит? Он тотчас же берется за дело.

Бедная Лиза — женщина сердечная, добрая, состоящая с Петровичем в самых дружественных отношениях, на этот раз оказывается непреклонной: «Знать не хочу никакого немецкого генерала. Чтоб они пропадали, все немцы! Тонуть будут, пальца не протяну. Хватит, позизмывались!»

— Так он же особенный, он же против Гитлера, как ты этого, Лизанька, не поймешь? — сладчайшим голосом убеждает Петрович.— Он же листовки пишет, давайте, камрады, поскорее, хенде хох!

— Они мово человека вбили? Вбили. Через них дети мои померли? Померли. Они колхоз наш знищили? Знищили... Ничего не дам — и скатерть не дам, и посуду не дам. Не дам — и все.

Под этот спор я и засыпаю на теплой печке, в лежанку которой вмонтирован знаменитый самогонный аппарат.

Появляется порученец полковника Зусмановича, зажигается идея Петровича, они быстро находят общий язык. Сквозь сон слышу, как стучит посуда, которую они выпросили у соседей. Вокруг бутылки портвейна, которого, кстати сказать,



я терпеть не могу и поэтому без всякого сожаления пожертвовал на дипломатические нужды, начинает формироваться пиршественный стол. Сплю беспокойным сном и, проснувшись, никак не могу понять: что же случилось? Запах одеколона, немецкая речь. Тоненько поскрипывают в светелке чьи-то сапоги. Ах да, генерал фон Зейдлиц! Слезаю с печки, критически осматриваю себя в зеркало. Да, видик! Запаршивели мы в этом грандиозном и непрерывном наступлении. Спина и локти у гимнастерки лоснятся. Форменные шаровары давно, как говорят немцы, плюсквамперфектум — разлезлись на коленях и сзади, и я шеголяю в ватных штанах. Только вот сапоги — ничего, да и те трофейные. Впрочем, какого черта, являлся же я в таком виде перед знаменитым маршалом Советского Союза, а тут какой-то немецкий генерал-лейтенант!..

Нас знакомят. Нет, он не такой высокий, как показалось мне со страху там, за калиткой. Среднего роста. Плотный, подтянутый. Руку потряхнул крепко. Четко отрекомендовался:

— Вальтер фон Зейдлиц.

А стол-то! Ну и постарались хлопцы. Не знаю уж, удалось ли убедить непримиримую нашу Лизу помочь им в этом «антифашистском» действе, или они обошлись без нее, только на столе в глиняных мисках румянятся соленые помидоры, аппетитнейшим образом благоухают чесноком и смородиновым листом пупырчатые огурцы, белеют тугими боками соленые грузди, селедка — это фирменное блюдо Петровича — тарашит посредине стола глупые глаза, и изо рта у нее, как сигара у Черчилля, торчит маленький огурчик. Возле — изрядный графин с продукцией Бедной Лизы — отличным свекольным самогоном, который здесь зовут «коньяк Марии Демченко — три буряка».

Фон Зейдлиц сдержан, молчалив. Он отдает дань всем этим яствам. Пьет, но не становится разговорчивей. Оказывается, он ездил сегодня

по дорогам последней битвы. Даже на него, участника Сталинградского сражения, с той, с вражеской, стороны, вид этих полей, загроможденных техникой и еще не везде убранными трупами, действовал угнетающе.

Да, он очень неразговорчив. Только то обстоятельство, что я был в Сталинграде и был свидетелем пленения Паулюса, несколько выводит его из тяжелого молчания.

— О, фельдмаршал — хороший солдат!

— Почему же он не прислушался к разумным советам, которые дали ему вы и генерал Шлемер, и, несмотря на полную безнадежность положения, отверг предложение о капитуляции, отказался вступить с нами в переговоры? Он бы мог сохранить жизнь десяткам тысяч солдат.

— А вы, оказывается, знаете об этих наших советах? — несколько оживляется генерал. — Да, сталинградская трагедия могла бы быть для нас менее ужасной, — говорит он, но и эту тему не развивает.

— У Корсуни-Шевченковской был учтен сталинградский опыт. Группе генерала Штемермана ваша ставка все-таки разрешила в конце концов попытаться выбиться из окружения.

— Это разрешение пришло поздно. Слишком поздно. Генерал Штемерман — тоже хороший солдат. Он отлично знал, что на войне можно, что полезно, что вредно, что нельзя. Все так кончилось, потому что приказ, разрешающий выход из окружения, опоздал.

— А не потому ли, что два фронта Красной Армии зажали группировку в двойное, непробиваемое кольцо?

— Этого могло бы не быть. Наша разведка, как и ваша, работает неплохо. Полагаю, что бедный Вальтер Штемерман был связан по рукам и ногам приказом ставки.

— Гитлера?

— Да, ефрейтора Адольфа Шикльгубера. — На лице генерала

появляется брезгливая гримаса. Появляется и тотчас же исчезает.

Эту тему он тоже не хочет развивать. Ну что ж, его дело. Его, пожалуй, можно понять. Страшная картина, которую он видел в степных балках за Шендеровкой, где погибло столько его земляков, где стоит столько немецкой техники, вряд ли располагает немца к разговорчивости. Скорее, к задумчивости.

Мы превращаемся в пешкоров

Выезжаем на рассвете. Бедная Лиза выходит нас провожать за ворота.

— Бейте уж их там. Лупите в хвост и гриву, а потом, на обратном пути, заезжайте. Осенью кавуны у нас добрые и дыньки «колхозница». Знаете, такие дыньки, они небольшие, но сладкие, как мед. Приезжайте, накормлю... Может, и мой к тому времени отыщется...

Сегодня она «сухая». Синие глаза смотрят умно и печально. Обещаем бить, и лупить, и гнать, и захватить отведать чудесной дыньки. Заедем ли? Вряд ли. Военные дороги всегда ведут только в одном направлении, и редко человек в шинели проходит по знакомым местам.

Боже ж, во что превратились дороги! Движемся со скоростью «девятый день десяту версту». Родилась сейчас на фронте такая пословица, довольно образно определяющая темп продвижения по чудовищно глубокой грязи. Только к вечеру, едва проделав двадцать километров, прибываем в новое расположение штаба. Ориентируемся в обстановке. Грязь. Всюду грязь. Жирная. Непролазная. Прямо-таки фантастическая. А оттепель все нарастает.

Грузовики врастают в грязь по радиатор. Шоферы, уже не пытаюсь даже их вытянуть до прибытия мощных тракторов с тросом, отходят с дороги в поле и располагаются на бивуак.

После Корсуньского разгрома наступление замедлилось, и против-

ник создал в холмистых долинах южнее Звенигородки новый и, по-видимому, довольно сильный в инженерном отношении оборонительный рубеж на речке Гнилой Тикич. Но основную ставку он здесь делает не на жесткую оборону, а все на ту же распутицу, исключаящую, как ему кажется, всякую возможность наступления. Так говорят пленные. Их опять уже довольно много.

Но наши войска наступают и в этих нечеловечески трудных условиях.

Мощным артиллерийским ударом вражеская оборона на Гнилом Тикиче была вчера проломлена сразу в пяти местах. Наши подвижные части, оседлав основные дороги, уже втягиваются в эти бреши. За ними, по дорожкам, протоптанным гусеницами танков и тягачей, движется пехота, а лесками и прямо по полям, целиной, устремляется кавалерия. Этот новый прорыв, совершенный в таких тяжелых условиях, был так внезапен и так силен, что противник до сих пор не смог очухаться. Его дивизии, сидевшие на оборонительной линии по Гнилому Тикичу, расчленены, окружены и выходят из окружения не организовано, а вроссыпь. Вот теперь, пожалуй, уже можно, не впадая в публицистические гиперболы и не выдавая желаемое за сущее, сказать, что немцы сдаются и бегут, бросив в грязи все, что нельзя унести.

Вместе с наступающими частями движемся и мы, корреспонденты. Моя машина с хлопотуном Петровичем, да и не только моя, а все корреспондентские машины засели в грязи где-то за Смелой. Весь корреспондентский корпус, как говорится, спешил, передвигается с наступающими войсками на своих двоих.

Как улитки, мы носим весь наш «дом» — вещевой мешок со склянкой чернил, сменой белья, ножом, ложкой, банкой консервов, сухарями и запасными носовыми платками — у себя на спине. В отличие же от немоторизованной пехоты, наступающей примерно с такой же выкладкой, нам приходится делать

двойные концы: передовые — телеграф — передовые.

Кое-кто из нас разжился трофейными верховыми конями. Но ездят не очень лихо. Конечно, сидеть в седле приятнее, чем месить грязь, таща за спиной вещевой мешок, именуемый «сидором». Но зато к концу перехода наши кавалеристы набивают на очень важном для каждого работника умственного труда месте такие волчки, что не могут садиться и ходить, расставляя ноги, как моряки по палубе. Нет, подальше от соблазна. Я объявил себя принципиальным пешкором: лучше передвигаться на собственных ногах, чем ездить на коне, а потом писать стоя и спать лежа на животе.

Вчера нам предстояло совершить до села Кирилловки — родины Тараса Шевченко — пеший переход в сорок пять километров. Решили выйти на заре. С вечера сложили вещевые мешки, прикрутили телеграфной проволокой отстающие подошвы на давно не высыхающих сапогах и залегли спать пораньше, чтобы подкормить силы. Ночью нас разбудил стук в оконницу. Известинец майор Кудреватых сообщил, что отыскал в нашей деревне двух подводчиков из казачьей части. Они завтра выезжают, и мы сможем совершить на тачанках две трети нашего пути.

С первыми лучами солнца мы были уже у тачанок, запряженных тройками. Кони были отличные, но повозочные вчера, видать, изрядно погостевали у добрых хозяек и имели довольно плачевный вид. На нашей тачанке место на облучке занял поэтому корреспондент Союзрадио капитан Костин, бывший кавалерист-пограничник. Он лихо гикнул на коней, ожег их кнутом, и мы понесли со скоростью... едва ли превышающей пять километров в час.

Последнюю треть пути пришлось двигаться пешком. Вот тут-то и познали мы беспримерный солдатский труд этого нового наступления, о котором много приходилось писать. Путь мы считали не десятками километров, даже не километрами, а

пролетами между телеграфными столбами. По очереди тащили рюкзак выбившегося из сил фоторепортера Миши Бернштейна с аппаратурой и проявителями, а потом и набрякшие влагой шинели тех, кто начинал сдавать.

Но когда наконец добрались до места, то, даже не переобуваясь, отправились «в оперу», как называем мы оперативный отдел, за сведениями, а потом при свете фитилька, опущенного в бачок для проявления, все дружно писали, позабыв дорожные невзгоды и усталость. Утром из штаба фронта в Москву уходил самолет, и можно было послать с ним корреспонденции о начале наступления на Умань.

Маршальская операция

Следующий день мы хотели посвятить ознакомлению с этой исторической деревней, где родился и рос великий украинец. Но до утра даже и спать не пришлось. Ночью мы узнали новость: подвижные наступающие части, быстро двигаясь на юг, разгромили на дальних подступах к Умани несколько танковых дивизий. В треугольнике сел Манькова — Помойники — Дзенгеловка на дорогах захвачено большое количество неприятельских машин, танков, артиллерии. На станции Поташ, как нам сказали, оставила все свое новое оружие, только что полученное из Германии, зловеще знаменитая танковая дивизия СС «Адольф Гитлер».

Из армии поступают сведения о трофеях поистине небывалых. Целый день мы мыкаемся по отделам штаба. Беседуем с только что приведенными пленными офицерами, а вечером договариваемся с капитаном Иваненко о самолете, чтобы утром попробовать вылететь на место.

...Ну вот мы с Рюмкиным и вернулись, побывав на местах последних боев.

Нужно подробнее описать то, что мы видели сегодня, так как этот разгром еще одной мощной вражеской

группировки несомненно будет иметь далеко идущие последствия.

Как только наш самолет поравнялся с вражеской оборонительной линией на Гнилом Тикиче, сразу стало ясно, что речь идет именно о разгроме. На некрутом подъеме, ведущем к селу Маньковка, машины стояли длинной колонной, буквально подпирая друг друга радиаторами. Сплошная очередь целехоньких машин. В Маньковке машинами запружены все довольно широкие улицы: ни проехать, ни пройти. Офицеры, уже ознакомившиеся с обстановкой, показывают нам склады с боеприпасами, продовольствием, амуницией. Все это аккуратнейшим образом разложено на стеллажах в высоких сараях.

Жители рассказывают: когда наши танки ворвались в село, никто из оккупантов ничего не подозревал, водители возились у машин, офицеры отсыпались в хатах после почти трехсуточного отступления. Работала военная пекарня. Молола мельница, снабжавшая мукой войска в этом краю. Директор мельницы, некий Герман Шлипп, бежал из своего кабинета, когда наши танки уже выскочили на сельскую площадь. Нам показали его зеленую шляпу с перышком, брошенный в проходе портфель с бумагами. На столе и сейчас валяется его рабочий комбинезон, а под столом отыскали несколько посылок с адресом, выведенным чернильным карандашом: «Дрезден. Кайзерштрассе, 12/8, Кларе Шлипп». В посылках аккуратные бруски свиного сала.

Все это очень наглядно показывает стиль «маршальской операции», как называют этот новый могучий рывок войск Второго Украинского фронта, сделанный после того, как командующий фронтом И. С. Конев получил звание Маршала Советского Союза.

За Маньковкой все три дороги, ведущие на Поташ, на Помойники и на Дзенгеловку, запружены машинами. Здесь машины стоят в две шеренги. Скопища их застыли в лощинах, в низинных местах, а на

большаке Помойники — Умань, где бегство немцев приняло уже характер настоящей паники, брошенная техника стоит в четыре ряда. Такое мне доводилось видеть разве что в степях за Сталинградом.

И все же не это главное. Главное — танки. Вокруг станции, на улицах поселка, на северной и южной его окраинах стоят новые, еще даже не обкатанные «тигры», «пантеры», «Т-4» — «кошки», самоходки «фердинанды» и маленькие автоматические пушки «максы». На башнях вензеля «АГ» — тавро знаменитой своими разбоями в Европе и у нас дивизии «Адольф Гитлер». Ее привезли сюда поездами — полнокровную, пополненную, с задачей, как рассказывали вчера пленные офицеры из этой дивизии, ударить по нашим войскам, рвущимся к Умани. Дивизия сошла с платформ и с ходу начала развертываться веером на север. А удар она получила с тыла, с юга, от повернувшей в сторону от Помойников группы танковых войск генерала Богданова. Большинство брошенных немцами машин так и осталось стоять стволами на север, и только несколько десятков успели, видимо в последнюю минуту, развернуться.

Любопытно, что многие орудия, как показывает произведенный нами осмотр стволов, не сделали здесь ни одного выстрела.

На обратном пути мы все время обгоняем колонны пленных, месящих грязь куда-то по направлению к Корсуню.

В Умани

Умань взята! Это событие первой важности. Теперь нам открыты основные дороги на Южный Буг.

Умань — старинный украинский город, где жили и прославились бойцы за независимость украинского народа Гонта и Железняк, увековеченные Тарасом Шевченко, чудесный город, известный своими зелеными улицами, садами, редчайшим Софийским парком и старейшим на Украине сельскохозяйствен-

ным институтом. Этот город встретил нас в траурной рамке дымов.

Все улицы — от центра к югу — напоминают выставку трофейного вооружения, подобно той, какую я видел в один из приездов в Москву в Центральном парке культуры и отдыха. Здесь можно, вероятно, увидеть все виды последней немецкой техники — от огромного «тигра», проткнувшего своей пушкой маленький домик в переулке да так там и застрявшего, до «кошек», целая стая которых притаилась в враге у речки; от семитонного «демага», на котором смонтирована целая походная мастерская, до крохотных, напоминающих жучков малолитражек «школа»; от скромной противотанковой пушечки до похожей на гигантскую жабу гаубицы, застрявшей на косогоре вместе со всеми тремя платформами, на которых ее везли: от пресловутого фауст-патрона, целые ящики которых так и лежат в брошенных машинах, до шестиствольных минометов, получивших в наших войсках ироническое название, не предназначенное для женского уха.

А на аэродроме целая стая самолетов — и целых, и подбитых, и сожженных. Тут и старые знакомые «Ю-87», «Ю-88» и двухфюзеляжный

разведчик, именуемый в наших войсках «Фрицем с оглоблями», и даже металлический остов какого-то сгоревшего транспортного гиганта, каких мне не доводилось еще видеть. Этот остов сам похож на ангар.

Все это, как и тела убитых, еще валяющиеся на улицах, — признак того, что здесь, на рубеже Умань — Христиновка, немцы предприняли еще одну отчаянную попытку задержаться. И опять, как это в последнее время мы наблюдали уже не раз на пути от Харькова, части Второго Украинского фронта, обойдя город, зажали его в клещи, и врагу оставалось только бежать по единственной, еще свободной дороге.

Решил провести в Умани несколько дней.

Здесь базируется теперь тот самый легкобомбардировочный комсомольский полк, который в ночь Корсуньского побоища бомбил в буран Шендеровку. Чудесные ребята, а ведь с ними я еще как следует не познакомился. И есть у меня еще одна тайная задумка. Встреча с безногим летчиком под Орлом не дает мне покоя. Ведь в «Правде» ни строки о нем так и не появилось, только Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза. Засяду вот в Умани на несколько дней и набросаю план брошюры об удивительном этом парне, пока не выветрились из головы подробности его рассказа, благо тетрадка, в которой я все записал, все еще лежит у меня в сумке.

И чтобы дисциплинировать себя, положил я на стол лист бумаги и написал на нем заглавие брошюры: «Русский воин Алексей Маресьев».

Ночевать пришлось в комендатуре, в просторном помещении, где несколько дней назад находилась какая-то канцелярия германского министерства пропаганды. Спать расположился на полу, на пачках немецких листовок. Вероятно поэтому стоило лишь сомкнуть глаза, как сразу мне пачинала сниться какая-то несусветная чушь и глаза сами раскрывались.



В кабинете коменданта, что находится по соседству, происходит что-то интересное. Невольно прислушиваюсь.

Вот несколько женщин, судя по голосам, молодых, притащили прятавшегося в дровах передетого немецкого офицера. Они стрекочут, как сороки, а офицер бормочет, как заведенный: «Кригс ниht гут...», «Гитлер капут», полагая, вероятно, что эти две фразы спасут его от коготков голосистых украинских женок.

Затем явилась какая-то, судя по голосу, старушка. Громким шепотом она сообщает коменданту, что в подвале ее дома уже пятый день сидят несколько «чи немцев, чи румынцев, пес их разберет. Только все чернявые». Хотят сдать и боятся выходить. А люди вроде ничего, забрались в погреб, чтобы их свои с собой не уволокли, а теперь боятся, как бы наши, приняв за шпионов, не подстрелили. Вот старушку и послали в качестве парламентаря к «главному офицеру».

Приходит какой-то гражданин. В его квартире жили немцы. Сейчас он вернулся и обнаружил там целый склад награбленных вещей: пальто, платья, костюмы, белье. Как быть? Куда девать? Боятся — не подумали бы на него и не пошла бы о нем дурная слава...

Только под утро я ненадолго задремал. Разбудил порученец коменданта, пригласил пить чай.

Первое свободное утро поднялось над Уманью. Пожары погасли, свежим снегом прикрыло копать и гарь. На улицах много жителей. Они еще робко, с оглядкой, стараясь быть тише и незаметней, идут по тротуарам. Военных почти не видно. Фронт ушел уже так далеко, что в городе не слышно канонады.

Весь день провел в комсомольском полку у летчиков. Преотличные ребята. А вечером сидели с комендантом в комнатке за его кабинетом и предавались его любимому занятию: пили чай.

Комендант — пожилой человек, сибиряк, из партийных работников. Он

молчалив как камень и любит пить чай. Пьет его, ей-богу, стаканов по десять. Пьет с блюда, в которое дует, чтобы чай остыл. Пьет вприкуску, сладкий чай презирает: бурда.

Ох, и канительная это служба — быть комендантом. Он еле держится на ногах, стоит разговору на мгновение оборваться, как он засыпает. Столько больших и малых дел свалилось на его голову! В особенности пленные. Их приводят все больше и больше, выуживают из подвалов, ловят на чердаках. Они выходят из леса. Кстати, одного эсэсовца-офицера вытащили даже из выгребной ямы, где он чуть не задохнулся, и приволокли в комендатуру в совершенно «очаровательном» виде.

Всех надо взять на довольствие, законвоировать. А с передовой прибывают новые и новые партии. Конвойных не хватает. На улице я видел картинку, знакомую по дням Сталинграда. Тянется колонна немецких пленных, а впереди бодро шагает пленный же румынский офицер, назначенный ответственным за этап. Сзади бредет пожилой солдат в шинели третьего срока. Идет, покуривая, как пастух за стадом.

У коменданта забота — транспортировать всю эту ораву.

— Хорошо, гитлеровцы это дело будто предусмотрели. Богато побросали продовольствия. А то бы мне совсем капут, — дуя в блюдо, серьезно говорит комендант.

А у меня в голове назревает тема: «Столько-то дней в военной комендатуре». Кажется, на эту тему никто не писал. А как тут интересно! Какие картины открываются перед тобой!

Нет, теперь уже твердо — живу у сибиряка несколько дней, вымоюсь в бане, перемену белье. Почувствую себя человеком. Будет время понаблюдать, подумать. Ведь есть же, есть над чем думать: и враг уже не тот, и мы не прежние. В этом наступлении даже у самых смиренных солдатиков будто крылья вырастают, и другой, совсем другой становится война.

Через Буг

Пожил? Понаблюдал? Подумал? Черта лысого! На рассвете разбудил меня милейший сибиряк. Подал телеграмму из штаба фронта: «Наши форсируют Южный Буг. Не зевайте. Капитан Костин».

Буг! Мать честная! Уже Буг! Да, это прозевать нельзя. Спасибо капитану Костину.

Скомкав все свои планы, прошу сибиряка снарядить на Буг вездеход. Долго упрашивать не приходится. Весь город — гараж трофейных машин. Выбирай, какая нравится. Вот только как с водителем?.. Но и водитель находится, местный, уманьский, тракторист и шофер МТС. Он только что мобилизован, еще как следует не обмундировался, но машину несомненно знает и даже, как я потом убедился, мастер своего дела.

Карта моя кончилась — мы едва успеваем сейчас менять карты, — но комендант временно дает свою. Вместе с шофером наносим маршрут и едем. По дороге я достаю из сумки немецкую военную газету «Ди вохе», из которой вчера переводчик комендатуры, младший лейтенант, мобилизованный из студентов, умный и милый парень, будто предвидя события, перевел одну статейку. Перевел и говорит: скоро пригодится.

Газета от 2 марта. Она вышла за два дня до бегства неприятеля из Умани. Передовая, подписанная «лейтенант Лютце», посвящена немецкому драпу, который вежливо именуется «событиями последних дней».

«...Даже среди людей, носящих военные мундиры германской армии, есть такие, которые пытаются в силу своей трусости неправильно истолковать события последних дней... В соответствии с приказом командования мы оставляем некоторые, не имеющие для нас значения территории и спрямляем линию фронта... С точки зрения наших больших интересов эта перегруппировка ничего не значит. Впереди у

нас Буг, сильнейший водный рубеж, который мы укрепили, о который разобьются русские армии. Мы прочно встанем на Буге, и когда штурмующие нас истекут кровью, мы нанесем им еще один неповторимый удар, какими богата для нас эта война».

Ну вот, господин лейтенант Лютце, и встали вы уже «прочно».

Сердце сжимается, когда едешь по этой дороге на юг, к Бугу. Время немецкого хозяйничанья было для изобильного края как бы временем непрерывной тяжелой болезни. Мы уже знаем, что Южный Буг являлся «границей немецких интересов». Забужье Гитлер отдал на разграбление своему дружку, румынскому диктатору Иону Антонеску. А тот, чтобы легче проглотить этот лакомый кусок, поторопился объявить его румынской провинцией. По обе стороны реки были установлены пограничные посты. Впрочем, не в постах дело. И немецкие нацисты, и румынские железогвардейцы с одинаковой жадностью грабили Прибужье, высасывали из него соки, вывозили оттуда все, что можно было вывезти, до последнего зерна, до последнего куска сала, до последнего барана. И вот теперь там, где, по рассказам моего водителя, закрома и клуни ломились когда-то от запасов, мы встречаем тихо бредущих людей, спотыкающихся от голода.

Немного подсохло. Вездеход — громоздкая, неуклюжая и почему-то очень шумная машина, — раскидывая гусеницами комья грязи, несет нас точно на юг. Это тоже дорога немецкого отступления, но на ней почти не видно застрявших машин и увязших в грязи танков. Здесь неприятель бежал «в пешем строю». Там, где вспыхивал бой, валяются на поле каски, противогазы и даже ранцы, с которыми солдаты почти никогда не расстаются.

Должно быть, у отступавших начал уже развиваться психоз преследования. Нам говорили, что в одной деревне, желая спасти корову, крестьянин закричал: «Рус, рус идет!», и группа вооруженных бро-

сила добычу и побежала. Конечно, неправильно изображать путь вражеского отступления за Уманью как сплошное бегство. Судя по всему, немецкому командованию удалось все-таки сколотить сильные арьергардные группы, которые бросались в контратаки. Но инерция нашего наступления была уже так сильна, что заслоны эти после короткого боя сбивались без особого труда и, видимо, без больших потерь.

Проезжаем большое село. Сады охвачены торжественной предвесенней тишиной. Село уцелело, в хлевах мычат коровы, голосисто перекликаются петухи.

Машина поднимается в верхнюю часть села, и вот перед нами развевается ослепительно сверкающая на солнце голубоватая лента. Здравствуй, Буг! Здравствуй, река изобилия и плодородия! Никогда не будешь ты чужой рекой, и воды твои всегда будут орошать поля Советской Украины.

Все, все в движении. Не найти ни одного штаба, чтобы ориентироваться в событиях. У самого Буга, на переправе, — следы схватки, тела убитых еще темнеют на песчаной косе.

Дороги стали проходимы, войска, преследуя противника, идут основными магистралями. Сверни чуть в сторону, и не встретишь ни одного солдата.

Заезжаем в большое село Александровку. Кавалеристы, освободившие его утром, ушли вперед. На улице нашу машину останавливает пожилой, интеллигентного вида мужчина с красной повязкой на рукаве. При нашем приближении он срывает с плеча винтовку и, нацеливая ее прямо мне в лоб, неистово кричит: «Стойте, стрелять буду!»

Опасаясь, что этот старательный патрульный влепит пулю прежде чем выяснит, кто мы такие, останавливаем машину. Оказывается, войска прошли, а гражданские власти еще не прибыли. Партизаны, собрав сельский актив, назначили людей, которым поручили временно охрану

порядка. Столь горячий прием объясняется тем, что мы ввалились в село на трофейной машине, на которой сохранился и войсковой номер вермахта, и изображенная почему-то кошачья морда. Нас приняли за переодетых немцев. Что ж, хорошее предупреждение. Пока я разговариваю с патрульным, шофер сдирает номер и грязью замазывает на борту машины усатого кота.

Узнав, кто мы, патрульный оттаивает не сразу. Он долго изучает мои документы, смотрит на фотографию, на оригинал, снова на фотографию и, наконец убедившись, что все в порядке, берет под мышку винтовку и вдруг говорит:

— Разрешите вас обнять, товарищ.

Номер «Правды» пятидневной давности, случайно оказавшийся у меня в кармане, окончательно делает нас друзьями. Патрульный — врач, Георгий Алексеевич Коваль. Он берет, нет, не берет, а выхватывает «Правду». Для него это не старый номер газеты, а как бы символ возвращения того, о чем все это время, два с половиной года, он не переставал мечтать. Он приглашает нас к себе в дом, и тут я узнаю, что я в... Транснистрии.

— Вы не понимаете этого слова? — спрашивает врач. — Я тоже не понимаю. Его нельзя понять. Это нонсенс. Это слово придумал Антонеску. Сей грабитель назвал так область Украины, расположенную в междуречье Буга и Днестра. — Врач бросает на стол книжку. — Вот полюбуйтесь. Можете взять себе. Вы поймете, это на русском языке. Это для Транснистрии.

В руках у меня букварь. «Настоящий букварь напечатан заботами господина профессора Алексяну, первого губернатора Транснистрии при короле Михеа Первом и при вожде Румынского государства Ионе Антонеску, в год от Р. Х. 1942».

Бегло перелистываю этот букварь, предназначенный для обучения детей грамоте. В нем рука врача мстительно подчеркнула сорок восемь грамматических ошибок и не-

счетное количество смысловых и стилистических нелепостей.

Врач рассказывает, как румынские оккупанты все последние дни дрожали от страха. Стоило грохнуть случайному выстрелу, как открывали дикую стрельбу. Отступая из деревни, командир стоявшей здесь стрелковой роты явился к местному учителю и, пригрозив ему пистолетом, заставил написать расписку в том, что его отряд, находясь на постое, ничего не крал, не жег, никого не обижал и все сельское хозяйство оставил в полном порядке. Расписку он потребовал заверить школьной печатью. Невероятно, но факт.

Георгий Алексеевич рассказывает о последних днях бегства немецко-фашистских частей через Забужье. Среди отступавших вдруг распространился слух, что дорога на Бершадь перерезана советским воздушным десантом. Даже не проверив этого известия, весь поток отступающих свернул на другую малоезжую дорогу, идущую как раз через это село. Солдаты брели пешком, опираясь на палки. К одной лошади пристраивались трое: один счастливчик ехал в седле, а двое других брели сзади, держась за конский хвост. Какой-то генерал, по словам врача, ехал на колесном тракторе. У него было очень надменное небритое лицо, и потому выглядел он особенно курьезно.

В этот день мне здорово повезло. В чистенькой квартире Георгия Алексеевича я одним духом написал корреспонденцию «Здравствуй, Буг!». Выбежав в поле на звук самолетного мотора, я застал там знакомого летчика из штаба фронта, готовящегося к взлету. Помог ему развернуть машину, раскрутить винт. Он дал мне слово, что сейчас же передаст корреспонденцию на телеграф.

Вечером, сидя у танкистов и слушая по радию московский салют в честь форсирования Южного Буга, я убедился, что летчик выполнил свое слово. После салюта эту корреспонденцию из завтрашнего номера читали по радио.

Избавление от «прокола»

Войска наступают таким темпом, что за ними не поспеть и корреспонденту.

Вчера вечером узнал у танкистов, что правый фланг фронта, осуществив стремительный рывок, придвинулся вплотную к Новоукраинке и Помошной. Это важные в тактическом отношении, да и не маленькие города, тоже достойные московского салюта. А может ли быть для военного корреспондента более тягостный «прокол», чем прозевать салют и не прокомментировать его хотя бы небольшой заметкой.

Посмотрел на карту. До этих городов словно бы и не очень далеко — километров сто пятьдесят. Но выполняя слово, данное уманьскому коменданту, вездеход его я отправил обратно. Все в движении. Все движется на юг. Мало, очень мало шансов разжиться машиной в обратном направлении.

И все-таки с рассветом я отправился, понадеявшись на корреспондентское счастье. Сначала ехал на коне с транспортом артиллерийских лошадей, которых перегоняли в тыл. Потом на пустом бензозаправщике. Потом, подобно отступающему немецкому генералу, — на каком-то тракторе, тащившем в тыл две трофейные «скрипухи» неизвестной конструкции. И, наконец, — в санитарной машине с ранеными. Только к вечеру, совершенно измученный, добрался до штаба большого танкового соединения. И тут узнал, что Новоукраинка взята и Москва в ее честь салютовала.

Я легко представил себе, как строгий полковник Лазарев хмурит брови, сердито покашливает и какими именно словами поминают меня сейчас в редакции. Нехорошо. Так промазать! Но после драки кулаками не машут. Сделал лучшее, что мог: лег спать. А утром командир, оказавший гостеприимство, пригласил к радию послушать московское радио. Рядом с хатой, под развесистой грушей, в кроне которой неистово орали грачи, стоял командирский танк. Рация была включена

на репродуктор, и группа бойцов, несколько женщин и какой-то лысый дед слушали знакомые дикторские голоса, исходящие из чрева танка. Шел как раз обзор утренних газет, и я вдруг услышал, как мелодичный голос Ольги Высоцкой совершенно отчетливо произнес:

— Передаем напечатанную сегодня в «Правде» корреспонденцию Бориса Полевого о том, как была взята Новоукраинка.

У меня даже дух перехватило. Что такое? Не писал, не передавал я такой корреспонденции. И в то же время ее уже читают. Больше того, мне казалось, что в тексте я узнаю какие-то свои обычные словца, обороты, свою манеру, за которую меня не раз критиковали на редакционных летучках.

Откуда же она взялась, эта корреспонденция? В «Правде» нравы строгие. Нельзя даже допустить, чтобы кто-нибудь там мог сфабриковать по тассовским сообщениям заметку за осрамившегося корреспондента. Но ведь ее же читают, черт возьми!

За спиной стоял танкист, только что искренне, простодушно утешавший меня и доказывавший, что зевок мой — не беда, что впереди нас ждет еще столько салютов. Теперь он смотрел на меня как на обманщика.

Как же, в самом деле, это могло произойти?

Только через сутки, добравшись до квартиры, я разгадал эту загадку. Оказывается, узнав, что я где-то застрял, и поняв, что у меня назревает «прокол», капитан Костин, успевший побывать в освобожденном городе и передать об этом в свое Союзрадио, решил выручить товарища. Он написал корреспонденцию и вместе с Леонидом Кудреватых «подправил» ее «под Полевого»: они вставили какие-то мои любимые словечки и обороты и сидели на телеграфе, пока не убеди-



лись, что Москва получила это сообщение.

Вот дух, каким живет наш корреспондентский корпус! Когда я, очень всем этим растроганный, стал благодарить друзей, они даже удивленно посмотрели на меня.

— Ну а ты, что же, не сделал бы этого, оказавшись на нашем месте?

Заморский гость

Утром я был вызван начальником штаба фронта генерал-полковником Матвеем Васильевичем Захаровым. Образованный, широко эрудированный военачальник, великолепный организатор и выдающийся начальник штаба, он страдает, по моему мнению, одним существенным недостатком; не любит нашего брата корреспондента. Не то чтобы не любит в житейском смысле. Он человек вежливый, слова грубого никто из нас от него не слышал, но когда с ним беседуешь, все время кажется, что где-то в глубине его глаз живет эдакая усмешечка — дескать, не знаю я такого рода войск — военные корреспонденты и говорить мне с вами некогда, да и не о чем.

Впрочем, может быть, я и ошибаюсь, но так или иначе, а генерала этого я, честно говоря, побаиваюсь. Так вот перед ним я и предстал.

— Вот что, товарищ майор, — сказал он, катая пальцем по карте цветной карандаш. — Из Москвы телеграмма. — Он поднял лежавший на столе листок и поднес его к глазам. — К нам вылетел президент

Англо-Американской ассоциации журналистов Александр Верт. Просят помочь ему посмотреть освобожденные города правобережья Днепра, рассказать обстановку. Что вы на это скажете?

Я пожал плечами. Что тут можно сказать — едет так едет.

— Что бы вы ему показали? Что может быть особенно интересно вашему брату корреспонденту?

— Ну, по-моему, прежде всего сам плацдарм Корсунь-Шевченковского побоища. Поташ, Умань... Умань обязательно.

— Отлично. Вот вы все это ему и покажете.

— Я?

— Именно вы.

— Но я корреспондент «Правды».

— И майор Красной Армии... Кстати, у вас двойная фамилия. Ну вот и будет ему все показывать и объяснять не корреспондент «Правды» Борис Полевой, а майор Кампов.

Генерал встал. У него это здорово получается. Встал, значит все, разговор окончен. Он критически оглядел мое обмундирование.

— М-да... У вас, что же, лучше ничего и нету?

Я попробовал пошутить.

— Смокинг и крахмальный пластрон остались в Москве.

— М-да... — еще раз протянул генерал. — Ну да ладно, сойдет. Знает ведь, что не легко воюем... Если что будет нужно, сообщайте. К вам для связи прикомандируем лейтенанта.

И вот вместо Забужья лечу назад, в далекую уже Ротмистровку. За нашим самолетом, в кильватере, летит самолет с крохотным салончиком. Это для президента или, как его там, словом, для гостей. Разные, очень разные доводилось мне за войну выполнять военные задания помимо моей прямой корреспондентской работы, но такое... Успокаиваю себя воспоминаниями — ездил же Илья Эренбург к нам на Калининский фронт под Ржев с каким-то американцем. Но то Эренбург, столько лет проживший за гра-

ницей, разговаривающий по-французски как по-русски, а я до войны из своего города Калинина и в Москву-то не часто выезжал. К тому же наступление-то развертывается. Ох-хо-хо!

Приземляемся на знакомом аэродроме. Гостей еще нет, но летчики о них уже знают. Ждут. В офицерской столовой остывает специально приготовленный обед. Разговариваем о госте. Отношение к британским союзникам у нас сейчас, честно говоря, прохладное. Уж больно долго они там «пришивают эту последнюю пуговицу». Где он, их второй фронт? Война в Африке?.. Итальянские события? Да что это по сравнению хотя бы с Корсунь-Шевченковским побоищем, не говоря уже о Сталинграде и Курской дуге.

И какой он, этот Александр Верт? Я ведь иностранных коллег видел только в кинофильмах. Явится какой-нибудь дядя с секретаршей и с претензиями, возись с ним...

Наконец появляется самолет. Делает круги, садится, бежит по полю. Откидывается плексигласовый верх. Оттуда вылезает плотный брюнет в серой папаше и форме Министрства иностранных дел, за ним какой-то высокий дядя неброского вида, да к тому же еще хромой.

Здороваемся. Представляюсь. Вопросительно посматриваю в черные глаза дипломата.

— Здравствуйте, майор. Александр Верт, — говорит хромой, да на таком хорошем, чистом русском языке, что мне ничего не остается, как смущенно покраснеть и сунуть ему руку.

Все мои представления об иностранных корреспондентах летят кувырком. Мы, выражаясь военным языком, с ходу входим в контакт.

— Что бы вы хотели видеть? — спрашиваю я его за столом. — У меня приказ показать вам все, что вас интересует.

— Ах вот как, такой приказ? Ну так я желаю посмотреть все, что вы считаете нужным показать.

Прослушав мои предложения, он согласно кивает головой. О, он слышал о Корсунь-Шевченковской опе-

рации. Если возможно, охотно посмотрит и Умань. Может быть, можно будет съездить и по направлению к Бугу?

— Можно и за Буг.

— То есть, позвольте, как это за Буг?

— Очень просто. Я был там не дальше как вчера.

Немая сцена. Гость отодвигает столовый прибор, раскрывает блокнот, но тотчас же сует его обратно в карман. Просит показать карту. Быстренько освобождаем стол от сды и с полчаса ползаем по карте. Причем гость обнаруживает великолепную осведомленность в военных делах и знание многих деталей операций.

В первый же день вечером, когда я, вдоволь налетавшись, наездившись на вездеходах, нашагавшись пешком, валюсь с ног на ночлеге, заморский гость, которому из-за хромоты двигаться куда труднее, садится в соседней комнате за машинку, и я засыпаю под ее треск.

М-да, черт возьми, неплохая школа. А главное — словам не верит. Все просит показать. Не ленится подсчитывать трофейную технику, немецкие самолеты, захваченные на аэродроме, сожженные и целые, и все записывает, записывает...

Насздившись по дорогам Корсунь-Шевченковской битвы, мы прилетели в Умань, где мне мечталось пожить, подумать и даже начать книгу про моего безногого летчика.

Здесь мало что изменилось. Мой друг сибиряк отвел под наш постой дом, в котором жил сам гитлеровский гебитскомиссар. Гитлеровец набил в небольшой особнячок массу ценной мебели, которую, должно быть, натаскали для него из квартир всего города. Здесь было даже великолепное пианино без крышки. Заморский гость, увидев его, присел на стульчик и отгрохал нам какую-то лихую полечку.

За ужином разговорились и выяснилось, что он — яростный антифашист, что жена и ребенок его остались в оккупированной немцами Праге, и он за них теперь очень боится...

Нет, в самом деле, славный парень, этот английский коллега. Не нравится одно. Возьмет за рукав своей худой рукой и, глядя в глаза, спрашивает:

— Майор, только честно: вы очень злитесь на нас за то, что мы так волим со вторым фронтом?

Или:

— Очень лихо было в Сталинграде?

Или:

— Я, конечно, знаю, что все вы интернационалисты. Ваши символы веры мне известны. Но вот вы, лично вы, неужели вы не ненавидите немцев как нацию? Вы говорите, что у вас убит брат, погибло два брата вашей жены, и вы сейчас так вот спокойно смотрите на всех этих пленных фрицев?

Или:

— А Черчилль вас очень раздражает? Старый лис, не правда ли? Говорите, говорите, не стесняйтесь!.. Я об этом писать не буду.

Такие вопросы он задает не только мне, но и другим офицерам и солдатам, с которыми знакомится. Не скрою, они смущают, иногда настораживают, даже раздражают. Но, думается мне, ничего дурного в них нет. Просто, вероятно, ему хочется, кроме цифр и зримых картин этого нашего наступления, познать душу советского солдата, стать на его точку зрения, его глазами посмотреть на войну, на ход событий. Он даже спросил меня как-то:

— Вот вы говорите: выходили из окружения под Ржевом, воевали среди партизан. Неужели у вас ни разу не появлялось там ощущение, что все кончено, что немцев не сломить, что это сила, которую не оставишь, и не возникало желание приспособиться? А?

— Мистер Верт,— спрашиваю я его, переходя в контратаку.— А у вас, у англичан, нет теперь опасения, что мы в одиночку справимся с Гитлером и его компанией и сами освободим оккупированные страны? Гость смеется.

— Такая мысль сейчас появляется,— говорит он.— И кое-кого

на Западе она уже беспокоит. А что вы сами об этом думаете?

Что думает об этом майор Кампов? Ну что ж, говорить так говорить.

— Конечно, мы очень благодарны нашим союзникам за лендлизы, за самолеты, машины, алюминий, за свиную тушенку, за дела в Африке, Италии, но...— говорю я с убеждением, которое укрепились во мне за эти последние месяцы наступления,— ...но если второго фронта не будет, все будет решено на первом. В этом я не сомневаюсь. Не сомневался и раньше, а теперь уже для сомнений нет никаких оснований.

Уманский журфикс

Мой друг комендант-сибиряк просто умница. За эти несколько дней комендатура его уже обросла гражданским активом из местной интеллигенции. Он многих знает, и все знают его. Сегодня, когда наш заморский гость изъявил желание познакомиться и поговорить по душам с интеллигенцией города, комендант без труда помог собрать интересных людей.

Решено было встретиться за обедом. Обед получился на славу. Трофеев много. Повар местного ресторана, участвовавший, как оказывается, в городской подпольной группе, стосковался по своему делу. Ему не терпелось взяться за работу, и он принялся так яростно жарить и парить, что, когда мы вернулись из очередной поездки, весь дом был насыщен вкусными ароматами. Сам комендант на беседу прийти отказался: к чему, какая же я местная интеллигенция? Вы уж тут хлебосольствуйте, а я в одиночку чайку пополью.

Собралось человек десять. Среди гостей — председатель уманского горсовета, которого пока, до выборов, назначил комендант. Он — бывший банковский работник из Молдавии, прославившийся в этом краю как партизан «дядя Митя», обладатель огромной курчавой бороды. Бороду теперь он сбрил. Одет в

обычную пиджачную тройку, явно не на него шитую,— тройка эта буквально трещит по швам. Там, где была борода, кожа выделяется белой и очень контрастирует с бронзово-загорелой частью лица. Пришла учительница английского языка, болезненная женщина с грустными глазами, в которых еще живет испуг. Пришел врач с маленькой чеховской бородкой, тихий человек, спасший, оказывается, жизнь несколькими ранеными партизанам.

Самая колоритная фигура за столом — архиерей Таганрогский, красивый, породный мужчина с румяным лицом, обрамленным светлой курчавой бородой, которую он все время поглаживает и холит своей полной женственной рукой.

Все они, и особенно председатель горсовета — человек, много повидавший и переживший, рассказывают о днях оккупации, о борьбе партизан, о немецких зверствах, грабежах, угоне населения. Англичанин засыпает их вопросами и записывает ответы, как мне кажется, с протокольной точностью.

В середине беседы мы с мидовцем покидаем стол, выходим на улицу. Пусть их поговорят, тем более что гость отлично владеет русским и в переводчиках не нуждается.

Когда мы вернулись, я понял, что совершил оплошность. Наш таганрогский архиерей, как говорится, явно «перебрал». Глазки его светятся, говорит он один, не давая никому раскрыть рта. Учительница, врач и бывший «дядя Митя» осуждающе смотрят на него. Дядя Митя как глава гражданской администрации пробует даже остановить поток его красноречия. Куда там! Но при всем при том, по свидетельству подпольщиков, сей архиерей вел себя при немцах вполне прилично, помогал чем мог партизанам, и местному гебитскомиссару так и не удалось ни кнутом, ни пряником уломать его служить молебен за победу германского воинства и признать какого-то там берлинского митрополита Серафима, проходившего, по-видимому, по ведомству доктора Геббельса.

Потом наш гость захотел встретиться с «остарбайтер», то есть с людьми, которых гитлеровцы силой угоняли в рабство и которым разными способами удалось вырваться и бежать домой. В Умани, как и в любом другом освобожденном нами украинском городе, такие люди есть. Председатель горсовета представил нам несколько девушек, вернувшихся из неметчины, и молодую женщину, очень хорошенькую и очень болезненную.

Оставив Верта с ними, я уехал смотреть знаменитый Софийский парк, который, к счастью, сохранился, а когда вернулся, Верт уже стучал на машинке.

— Ну как, интересные были беседы?

— Ужасные... Нет, конечно, интересные, но рассказывали такие вещи...— английский коллега махнул рукой. Машинка его молчала. Он думал, рассеянно водя тонким пальцем по клавишам.— Нацизм... Как он мог появиться, нацизм?!

За колючей проволокой

С заморским гостем мы расстаемся друзьями. Помахав вслед его самолету, я лечу на запад, в Бершадь, маленький городок, куда перебазировался наш штаб. Возле этого городка находился большой концентрационный лагерь. Взят он был нами, так сказать, с ходу: никого не успели ни убить, ни вывезти.

Это первый концентрационный лагерь на пути нашего наступления, в котором сохранились живые жертвы фашизма.

Без меня Костин поселился в избе крестьянина-старовера. Он русский. Изба у него русская, сложенная из бревен, с деревянным тесаным полом, со светелкой, с огромной печью, на которой и спит сейчас корреспондентская братия.

Хозяин — огромный пожилой человек. Руки, как грабли, борода лопатой. Ему под стать хозяйка, такая же массивная и сильная. И дочери высокие, статные, русоволосые, все в отца. В этой избе все большое,

крепкое, прочное. И бревна, из которых она срублена, и лавки, на которых можно спать без риска свалиться, и громадные черноликие иконы, и лампадка красного стекла, размером с миску, подвешенная на толстых цепочках.

В этом доме у каждого своя чашка, своя ложка, и когда один из нас случайно воспользовался чем-то хозяйским, вся посуда исчезла из шкафа. Ее стали прятать.

Угостив нас отличной русской баней, из которой мы выбрались еле живы, малоречивый хозяин наш за чайным столом стал рассказывать историю этого концентрационного лагеря. Страшную, но в общем-то знакомую историю.

За ручьем с давних времен было несколько улиц, на которых по традиции жило еврейское население города. Этот район оккупанты окольцевали стеной из колючей проволоки и в дополнение к уже жившим там евреям привезли из Черновиц и замкнули там множество еврейских семей, предоставив им возможность постепенно умирать от голода и болезней.

У выходов стояли часовые с пулеметами, никого из-за проволоки не пропускали. Русским, украинцам было строжайше запрещено общаться с обитателями этого гетто. Разбитная администрация лагеря развела там небезвыгодную коммерцию. Заключенным втридорога продавали продукты, разную гниль и заваль и брали за нее советскими рублями, и румынскими леями, и немецкими марками, и польскими злотыми, выменивали продукты на одежду, обувь и особенно охотно — на драгоценности и золотые вещи.

Те, у кого было на что покупать и менять, первое время еще жили сносно, но беднота — а она-то и составляла основную массу лагеря — просто вымирала. Каждый день раскрывались решетчатые ворота и оттуда выезжали фуры с мертвыми. Их хоронили в общих могилах.

— Дети там, как та травиночка. Одни косточки да еще глаза,— рассказывает хозяйка.

— Ну а вы что ж, так им и не

помогали? — несколько наивно спрашивает один из нас.

— А как им можешь? К проволоке и близко подходить запрещалось. Чуть подойдешь, а часовой в тебя с вышки целит: назад... Помогали однако. Люди ж. По праздникам и в туманные дни через проволоку кое-чего кидали. У нас тут двоих через это часовые подстрелили. Девчонку подранили, а отрока — насмерть. И еще одну тетку судить хотели, но откупились, барашком откупились... С этими румынцами можно, это не немцы. С ними дотолкаться весьма возможно.

Сегодня мы, корреспонденты, коллективно отправились за ручей. Страшное это место. Меж нормальными домиками прежней постройки, будто груды каких-то грязных кристаллов, теснятся целые массивы развалюх, кое-как сколоченных из фанеры, старых досок, железных листов и бог знает еще из чего. Хибары лепятся одна к другой, местами сплошняком, и все они буквально набиты людьми, истощенными до крайней степени.

Вспоминаются слова староверки: «одни косточки да еще глаза». Это она про детей сказала, а ведь и все тут такие. Тени людей, облаченные в лохмотья, в отрепья некогда добротной и недешевой одежды. Передвигаются осторожно, точно по скользкому льду. В огромных черных глазах застыла тоска.

У афиши, возвещающей на украинском и еврейском языках о том, что сегодня с наступлением темноты на площади перед синагогой будет демонстрироваться историко-революционный фильм «Ленин в Октябре», большая молчаливая толпа. До темноты еще далеко, но стоят, смотрят на афишу и не расходятся. Мне думается, что после всего перенесенного само созерцание этой афиши, любовно написанной на куске обоев, доставляет им удовольствие.

Командование перебросило сюда большую группу военных врачей. Организовано шесть медицинских пунктов. На перекрестках дымят не-

сколько трофейных автокухонь. Перед ними очереди людей с бидончиками, с мисками, с консервными банками на веревочках. На пустырях раскинута улицы трофейных палаток. Сюда переселили особо бедствующие семьи.

Мне кажется, что несчастные еще не пришли в себя, еще не до конца поверили в свое освобождение. Любая беседа, о чем ни заговоришь, со стариком или юношей, даже с ребенком, — непременно закончится робким вопросом:

— Думаете, мы не верим в силы Красной Армии? Видит бог, мы верим. Доблестная Красная Армия, она так гонит врагов... Но все-таки они не смогут вернуться, они не придут?..

Не существует уже оплетенных колючей проволокой ворот. Сторожевые будки свалены, распилены и пошли на топливо. Каждый может идти, куда хочет. Об этом говорят объявления, это разъясняют военные, а вот не уходят. Только юноши и мужчины призывного возраста гурьбой пошли на призывной пункт. В армию приняли немногих. Остальные были взяты на учет и отправлены восвояси. У них сильная дистрофия, нервное истощение и всякие иные недуги. Когда же те, кого приняли, через день явились прощаться в новом обмундировании, за ними ходили люди, всем хотелось посмотреть на своих красноармейцев.

Начальник одного из действующих здесь медпунктов, майор медицинской женщины-врач, рассказывала, что ей пришлось переодеться в штатское, ибо при виде ее собиравались толпы, часами теснились возле палатки, где она вела прием. Дожидались, чтобы только посмотреть на еврейку в майорских погонах.

...Покидали мы этот лагерь под вечер. Горласто переключались пелухи. По улицам бродили люди-тени. Среди них попадались колоритные фигуры в черных длинных пальто, в ермолках, из-под которых на щеки выбивались вьющиеся пряди волос, и хотя вечер был ясный, в руках у этих людей были почему-то туго свернутые зонтики.

Лейтенант и две молоденькие девушки раздавали маленькую газетку на еврейском языке, изданную политотделом какой-то части. Рядом с автокухней выдавали лапшу. Протянулись две очереди, а между ними медленно движется дроги. На них — гроб, за гробом идут родственники и знакомые, одетые в траур... Несмотря на принятые меры, трудно поднять на ноги тех, кто одной ногой стоит уже в могиле. Люди здесь продолжают умирать.

Так вот, когда покойника везли между этими двумя очередями, все родственники попристали — к одной или другой. Покойник продолжал путь на кладбище, сопровождаемый лишь ветхой старушкой да маленькой девочкой, которую та вела за руку.

Словом, жизнь есть жизнь.

Путь на Днестр

События на фронте продолжают развертываться так быстро, что нам, журналистам, приходится их догонять в буквальном смысле слова. Пешком за наступающими частями не поспеть. Машины наши все еще торчат в грязи в нескольких сотнях километров позади нас. Самолет сейчас, когда на аэродромах горючее отмеряется чуть ли не на граммы, выпросить трудно. Мы с капитаном Костиным решаем двигаться дальше посредством «голосования».

Вышли на дорогу, стали на видном месте и, подняв руки, остановили первый же «студебеккер», направлявшийся к Днестру с грузом сухарей. Куда он идет, мы даже не спросили. Опыт подсказывал, что поток машин чаще всего выносит к наиболее активным участкам наступлений. Так и вышло. Машина шла на Ямполь — городок на самом берегу Днестра.

Медленно тянулась раскисшая дорога. Огромный, похожий на слона грузовик напрягал все свои могучие силы. Когда какая-нибудь из машин колонны застревала в грязи, все шоферы и случайные пассажиры, сидевшие в кузовах, сыривали в

грязь и еообща кое-как выталкивали ее.

В кузове нашей машины на мешках с сухарями, кроме нас с капитаном, сидело еще четверо — молодой парнишка-казак, возвращавшийся из госпиталя, сержант средних лет, по всему виду, бывалый, разбитной, с небольшой трофейной гармошкой, и две девушки — Настя и Оля — санинструкторы, бывшие «на гражданке» ткачихами в городе Шуя. Обе они отчаянно кокетничали с казаком, а тот солидно отмалчивался, отделяваясь короткими фразами, явно изображая из себя рубаку-фронтовика, которому, так сказать, не до баб. Зато сержант с гармошкой из кожи лез, чтобы завладеть вниманием девушек. Он все время, и притом действительно хорошо, играл на гармошке и небольшим сипловатым, сорванным голосом пел песни, которых знал много.

Сначала наши спутники стеснялись нас как начальства, но после того, как на одной из стоянок мы устроили общий завтрак, а сержант, испросив разрешения, достал трофейную флягу, все оживилось, повеселели, и мы, право же, не пожалели, что распутица заставила нас вместо «эмки» взгромоздиться на этого автослона.

Пели хором, пели дуэтом, трио. Пели русские, украинские и сибирские песни. Сержант, который до войны исколесил страну и перепробовал не одну профессию — от коллатора изыскательской партии геологов до колхозного парикмахера, — пел и соло. Девушки обратили наконец на него благосклонное внимание и стали заказывать. И сначала, конечно, заказали «Катюшу», а потом «Землянку».

Впрочем, «Землянку» допели уже все вместе. Поэт Алексей Сурков написал ее еще в самую тяжелую пору войны, в дни нашего отступления. Стихи напечатала «Правда», но, кажется, еще до того, как они были опубликованы, изустная молва разнесла их буквально по всем фронтам. Солдаты пели песню всюду, как говорится, от Белого до Черного моря. С тех пор не помню

ни одной фронтовой вечеринки и ни одного офицерского «выпивона», где бы не звучала «Землянка». Должно быть, что-то очень близкое, дорогое каждому советскому человеку в шинели заключено в ее простых, бесхитростных словах.

Поют, и каждый думает о своем, о своей, вспоминает и мечтает... Да, обязательно мечтает. И хотя до смерти порой действительно четыре шага, человек ведь всегда думает о лучшем. Вот и сейчас и шуئیские девчата, и казачок, и разбитной сержант, и капитан Костин, которого бог, наградив всеми человеческими достоинствами — и мужеством, и трудолюбием, и чувством товарищества, — совершенно обидел по части голоса и слуха, все поют протяжно, задумчиво под надрывный вой буксующих грузовиков. И каждый думает о своем. У каждого своя мечта...

Я дремлю, прикрывшись рогожей, если вообще возможно дремать, когда тебя одновременно и толкает, и подбрасывает, и трясет. И сквозь дрему думаю: если бы Сурков, этот славный поэт-солдат, написал бы только одну эту коротенькую песню, то и тогда он остался бы в русской поэзии как один из ее мастеров.

Холодная, набухшая весенней влагой степь медленно проползает мимо. На высокой ноте поют моторы. Плещется под колесами жидкая грязь. Стаи небольших каких-то птиц ходят кругами в похолодевшем, уже синеем небе. Серые кобчики с сенаторскими бакенбардами сидят на проводах и большими круглыми глазами надменно следят за проходящими машинами.

В одном месте мы обгоняем интересную процессию, движущуюся по обочинам дороги. По тропам, проторенным прямо через изумрудную озимь, гуськом движутся две длинные вереницы людей с мешками, перекинутыми через плечо. Впереди, опираясь на палку, шагает старик. За ним тянутся женщины, подростки. Из мешков торчат головки снарядов. Это какое-то село помогает наступающим частям.

Часто видишь, когда, так вот без зова, без всякой организации, освобожденное население приходит на помощь Красной Армии. Уманский комендант рассказывал мне, как жители этого города по собственному почину за один день сами восстановили два взорванных моста. Железнодорожники станции Христиновка в день прихода Красной Армии устроили митинг и призвали желающих, не дожидаясь железнодорожных частей, своими силами восстановить этот важный узел. Шесть тысяч человек работали день и ночь. Когда командованию сообщили, что узел готов принять поезда, этому даже не сразу поверили.

К ночи стало пробираться до костей. Примолкшие девушки свернулись калачиком на дне машины, прижались друг к другу и заснули. Мы прикрыли их рогожами, а сами всю ночь клевали носами на сухарях, слыша сквозь сон хлюпанье грязи и напряженное урчание моторов.

Рассвело как-то сразу или, может быть, мы просто проспали рассвет. Наш автослон быстро бежал по ровной дороге, мимо мелькали чистенькие, крепенькие домики, очень отличающиеся по своему облику от беленьких приземистых хаток Украины. Эти домики были длиннее, с входом посередине и с некоторым подобием терраски вдоль фасада вместо наших русских или украинских крылечек. А на балаясинках террасок висели гроздья кукурузных початков — желтых, красноватых и вовсе красных. Стены были окрашены в рыжий, серый, синий цвета и кое-где украшены простеньким орнаментом в виде выпуклых каемок, а то и барельефов из звездочек и кружков.

Но особенно бросалось в глаза обилие самых разнообразных надписей на этих стенах. Этот вид «литературы» стал появляться на дорогах примерно за Уманью, где наше наступление развивалось бурно. Тылы отстают от наступающих частей, найти кого-нибудь в этом непрерывном перемещении чрезвычай-

но трудно. Вот и пишут на стенах. Здесь эта «литература», как видно, достигла полного расцвета.

«Кучеренко! Мы в Ямполье. Въезжай скорей, хозяин ругается».

«Сидоров и Зубков! Мы здесь, в третьей хате у колодца».

«Савин с сыновьями у Днестра! Торопитесь, черти!..»

«Роза и Деготь в селе Березовке, сворачивайте направо!»

«Везущие огурцы! Зайдите в крайнюю хату на выезде».

Наконец на самом крайнем доме углем:

«Кучеренко, черт, сколько можно ждать? Майор тебе всыплет».

В Молдавии

Миную Ямполь. Маленький, раскинутый по берегам скалистых оврагов городок, который еще горит в нескольких местах в безветренной тишине прохладного весеннего утра. Вероятно, он был красивым. Сейчас в нем пусто и как-то тягостно. По некоторым улицам из-за пожаров нельзя проехать, регулировщицы заворачивают наши грузовики на окраину.

И вот из-за черных дымов, будто выхваченная из ножен шашка, сверкнул на солнце Днестр. Вторая большая река, берегов которой мы достигли за эти знаменательные десять дней.

За Днестром серые высокие скалы, зеленые холмы, и среди них беллет чистенький город Сороки. Там уже Бессарабия. Не терпится скорее туда. Но переправа разбомблена ковровым налетом, продолжавшимся, как говорят, больше часу.

На днестровской круче, где военная дорога, петляя между серыми скалами, осторожно сползает к реке, где колонны грузовиков сворачивают в целях маскировки в прибрежный лесок, я услышал у костра, в ожидании своей очереди на переправе, интересный солдатский разговор. К костру, на котором солдаты маршевой роты жарили по местному обычаю куски холодной мамалыги, подошли двое раненых. Один — вы-

сокий, загорелый, пожилой и уса-тый, с забинтованным плечом, другой — с перевязанной рукой, тоже высокий, но стройный, тонкий. Явно кавалерист. Чуб пшеничного цвета лихо выпущен у него на лоб из-под кубанки. Раненым, как водится, уступили место у костра с наветренной стороны, чтобы дым не ел им глаза, угостили их мамалыжкой, этим новым для нас блюдом, изготовление которого тут только что начало осваиваться. Для парня с раненой рукой чьи-то пальцы ловко скрутили толстую сигарку.

— Где ранены, ребята? — завел разговор сержант из маршевой роты.

— А вон там, за Днестром, — ответил чубатый. — Ох, и всыпали мы там ему. Он было уперся, ну как же, неохота ему, сукину сыну, такие земли отдавать. Ну мы ему и показали, почем сотня гребешков... Так дали, что пока жив, помнить будет.

— М-да, всыпали изрядно, — подтверждает скупой на слова усач, жадно глотая махорочный дым. — Только вот досада — ранило, так сказать, на самом интересном месте. Ведь только-только наступать разогнались.

— Ну, а что там за народ, за Днестром? Какие они, эти молдаванцы? — спрашивает сержант, хозяйничающий у костра.

И по тому, как сдвинулись бойцы, как наклонились головы, стало ясно, что вопрос этот интересует всех, что бойцам маршевой роты,двигающейся на пополнение частей, сражающихся за Днестром, хочется поскорее узнать о Молдавии и молдаванах.

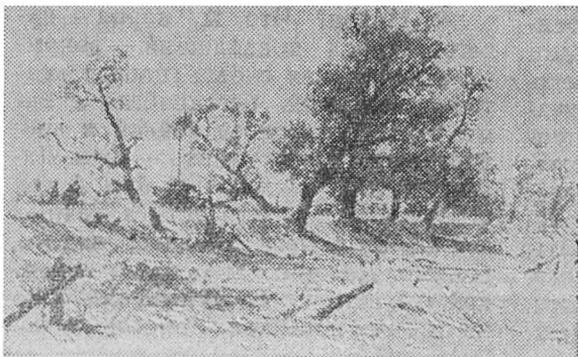
— Народ? Что ж, народ — ничего. Народ подходящий, — задумчиво взвешивая слова, говорит уса-тый. — Они ведь, бессарабцы, с нами только год перед войной и прожили, а по всему видать — свои. Даром что по-русски ни бум-бум. А как встречают! Все, что есть в печи, — все на стол мечи. Только, видать, бедные. Должно быть, не то немецкий фашист, не то румынский бояр из них все повыжал. Сапогов на но-

гах не увидишь, тапки какие-то из сыромятины, а то и вовсе босиком. И одежонка — в каких-то подштанниках из домотканины ходят — ей-бо! А добры — последний кусок пополам переломит, и на тебе — ешь. Не возьмешь, обижаются.

— А ты что ж, так и не брал, так и отказывался? — острит кто-то.

— Ну и что, и отказывался. Вот увидите, как их немец облупил. Ковры, вон, со стен даже поободрали. Тут, брат, за их стол садиться-то оглянешься. Политику нужно соблюдать.

— Когда наш полк Днестр форсировал, вон там недалечко, направо, — начинает рассказывать молодой, — они ведь что сделали? Еще бой идет, положение, можно сказать, неопределенное, врага-то только от берега отшибли, а он по нас с высотки из артиллерии шпарит, а у нас артиллерия еще на переправе, откликаться нечем... Да, а они, эти бессарабцы, нам навстречу идут к берегу — бабы, ребятишки, старики, а впереди поп с какими-то там ихними божьими знаменами. А враг — что? Видит, конечно, что это мирные. Но ведь досадно ему, что нас так встречают, так он, гад, сверху по толпе осколочными. Ну тут которых, конечно, и поубивало. Наш эскадронный не стерпел, кровь у него загорелась, шашку вырвал, на стременах встал. «За убитых, — кричит, — за баб, за ребятишек малых!» Ну и дернули мы ложиной. Холм тот на рысях обошли, да с тыла на батарею, как град с неба: «Ура!» Ну и которые были при батарее — всех в капусту.



Усач смолкает, морщится. Большой рукой тихонько вытирает повлажневшие глаза, делая вид, что подавился махорочным дымом.

У костра становится тихо. Чубатый хлопец достал из кармана гимнастерки вышитый платочек, завернутый в бумагу.

— А вот мне там одна подарила. Молдаваночка. Марой звать. Имя-то какое — Мара.

— Эй, раненые, машина на Умань, — кричит с дороги регулировщица.

Раненые поднимаются, торопливо прощаются.

— Спасибо за компанию.

У костра некоторое время молчат, наблюдая, как они лезут в кузов. Грузовик подрагивает, тяжело переваливаясь, медленно везет их в тыл...

Под впечатлением рассказа раненых, который мне удастся записать почти дословно, особенно захотелось поскорее попасть за Днестр. Но переправа повреждена серьезно. Раньше полудня ее поправить не обещают. Начальник переправы снисходит к нашему нетерпению и предлагает маленькую трофейную надувную лодочку.

Ну что ж, лодка так лодка. Лишь бы поскорее. Но с лодкой выходит неприятность. Оба гребца отвезены в госпиталь. Нас везут неопытные новички. Бурная, клокочущая водоворотами река на стремнине подхватывает нашу легкую посудину и несет ее вниз по течению все дальше и дальше от Ямполья, который вскоре и скрывается за скалистым обрывом. Несет, судя по всему, прямо к немцам. Изю всех сил помогаем грести руками, досками сидений. Наконец, вырвавшись из стремнины, пристаем к подножию какого-то старинного средневекового замка, угрюмо нависающего над Днестром.

Первые, кого мы встречаем, вступив на берег, — несколько парней из партизанского патруля, помогающего нашему коменданту наводить порядок. Про-

стодушнейшие ребята в высоких барашковых шапках со старыми охотничьими ружьями.

По обветшалым, полуразрушенным лестницам, как бы врубленным в толщу громадных стен, мы поднимаемся наверх, в одну из круглых тяжелых башен замка. Размятый дождями известняк сыплется из-под ног, комьями катится вниз. Летучие мыши, гроздьями висящие в темных углах, вспархивают от шума обвалов. Проход делается все уже, мы нагибаемся, потом чуть ли не становимся на четвереньки, и вот в отверстие наверху проглядывает кусочек голубого неба, и свежий речной ветер побеждает вековую затхлость. Еще усилие, и мы на башне замка, высоко над Днестром.

На мгновение невольно застываешь — так хорош открывшийся вид, так прекрасен Днестр, огибающий замок величавой извилиной, и так чисто голубое весеннее небо...

Среди партизан, что встретили нас на берегу, — учитель сорокской средней школы, звать его Андрей. С учительской старательностью он рассказывает нам историю этого старого замка, сыгравшего, оказывается, роль и в этой войне. Его построил один из героев молдавского народа, звавшийся Стефаном Великим. Этот воин и государственный муж, прошедший свою жизнь в походах против турок и татар, хорошо знал, оказывается, в чем счастье его народа, и старался упрочить связи Молдавии с Россией, укрепить дружбу с великим северным соседом.

Интересно, что этот замок, задуманный и построенный как бастион для защиты верховьев Днестра от татарских набегов и от турецких захватчиков, в последние годы служил убежищем молдавских партизан. Отлично зная расположение замковых помещений, его малоизвестные ходы и тайники, партизаны держали в нем оружие, устраивали здесь иногда свои сборы и тут же скрывались от преследования. Военная история замка была, таким образом, дополнена, в нее вписаны новые интересные страницы.

Нас ведут в полуразвалившийся

сводчатый погреб. Не зная плана замка, по-моему, почти невозможно найти сюда вход. В этом погребе хранилось оружие и боеприпасы партизанского отряда, здесь одно время был даже госпиталь, где отлеживались партизаны, раненные при нападении на обозы румынских оккупантов. На башне, где мы стояли, помещался партизанский секрет. И все это недалеко от большого города, где хозяйничала жандармерия оккупантов.

— Неужели вас здесь ни разу не накрыли?

Учитель усмехается. На обветренном, исхудавшем лице ослепительно сверкают зубы.

— Во-первых, мы здесь бывали не всегда. Только тогда, когда это вызывалось необходимостью. Во-вторых, среди молдаван не нашлось, по-видимому, предателя, который бы нас выдал, а даже если кто-нибудь захотел бы выдать, он бы побоялся это сделать, ибо знал, что с нами шутки плохи. В-третьих, у нас было столько доброжелателей, что нас обычно предупреждали обо всех намерениях румынских жандармов. А в четвертых... — Тут учитель делает изрядную паузу, как бы взвешивая, стоит ли говорить об этом советским офицерам, но наконец решается: — Ну, а в-четвертых, не очень хотелось им, румынам, рисковать головой в этой немецкой войне.

— Немецкой войне?

— Ну так некоторые из них говорили. Те, что пооткровенней. Они ведь миролюбивый народ — румыны. У них к нам зла не было.

Потом партизаны наперебой рассказывают, а учитель едва успевает переводить, как велик был страх оккупантов перед молдавскими партизанами. Были районы, где они приказывали возле дорог вырубать лес, сводить сады, запрещали сеять даже кукурузу, чтобы не давать партизанам возможности приближаться к дороге. Были селения, в которых фашисты решались показываться лишь днем...

— Весна! — говорит учитель, задумчиво смотря на разлив мутного Днестра, на сады, уже розовеющие

зацветающими абрикосами, на ласточек, с писком ремонтирующих свои гнезда в массивных стенах замка. Для них это особая весна, весна возвращения к жизни.

Половодье

Одно из самых больших зданий города — румынские военные казармы — отведено сейчас под лагерь военнопленных. Казармы уже оказались тесными, столько сдалось на этом участке. А прибывают все новые партии. Комендант лагеря, массивный украинец, хватается за голову:

— Хоть бы пообождали сдаваться, черти, куда я их дену!

И тут мне вспоминаются слова учителя-партизана, должно быть, точно определившего, что румыны не хотят участвовать в этой чужой, немецкой, а точнее говоря, гитлеровской войне.

Войска нашего фронта продвинулись далеко в глубь Молдавии, взяли город Флорешты, крупнейший в Бессарабии железнодорожный узел Бельцы и широким фронтом рвутся к Пруту.

— Почему даже здесь, на Днестре, где огромные скалы берега — естественная и действительно неприступная крепость, вы даже не пытались всерьез сдержать наше наступление? — спрашиваю я взятого в плен тут, в Сороках, капитана румынской армии — стройного молодого человека с подбритыми бровями и с черными, загрязненными ногтями, носящими, однако, следы маникюра. У него открытое, почти мальчишеское лицо, и если бы не эти подбритые брови и не следы маникюра, он выглядел бы, ей-богу, очень симпатичным малым.

— После того, как остатки немецких дивизий покатались с Украины в Транснистрию, виноват, в Молдавию, наш полк, стоявший на границе Трансильвании, спешно перебросили в этот район, — охотно рассказывает он, будто докладывая начальству о ходе передислокации. — Наша дивизия была сильная,

хорошо укомплектованная, но, выдвинутые на водный рубеж, мы увидели столько немцев без оружия в беспорядке переправляющихся через реку, что всем стало ясно: война проиграна. У нас в Румынии есть пословица: «Человеку не дано остановить половодье». Глупо было бы пытаться делать это. Наши солдаты — храбрые солдаты, это всем известно, и наши офицеры — храбрые офицеры, это тоже всем известно. Но скажите, зачем и во имя чего мы стали бы спасать этих бегущих немцев? Мы все всегда любили прекрасную Францию. Наш Бухарест — это маленький Париж. Но немцы — фу, немцы никогда не были нам по душе.

Мы ночуем в большом селе Иленка, недалеко от Прута.

Хозяин, пожилой, сивоусый молдавский крестьянин, принял нас с величайшим радушием, вообще, кажется, действительно свойственным людям этого края. Войска уже прошли к Пруту. В селе не осталось даже коменданта. Мы двое — единственные советские военные, — и вечером к терраске нашего домика сходится чуть ли не все мужское население села. Присаживаемся на ступеньках. Ведем разговор, сначала только жестами, выражающими взаимную приязнь.

Хозяин куда-то исчезает и возвращается в сопровождении бордатого старика в такой же, как у всех здесь, высокой барашковой шапке и в такой же, как у большинства, коричневой свитке. Но старик этот отличается своей бравой выправкой и какой-то молодцеватостью. Поверх свитки у него на груди на георгиевской ленте висит медаль, царская русская медаль.

Подойдя к терраске, он снимает шапку, прижимает ее к себе левой согнутой рукой, весь подтягивается, подбирается.

— Григорий Жуляй, отставной рядовой Тверского драгунского полка, — четко, на чистейшем русском языке рубит он, даже пристукнув ногой об ногу. Он — участник первой мировой войны. Сейчас, на склоне лет, в дни немецко-румын-

ской оккупации, он не сидел сложа руки. У него на хуторке, вдали от дорог, прятались партизаны. В часы нашего наступления он подбил все село выйти навстречу Красной Армии и сам, нацепив старинную свою медаль, бог знает сколько времени пролежавшую на дне сундука, преподнес командиру головного танка хлеб-соль при въезде в деревню. Три его сына — Ион, Григорий и Степан — уже ушли в Красную Армию. Комендант села посоветовал старому молдаванину активно налаживать в селе жизнь. Сейчас он со своей медалью ходит по селу и дает всем «руководящие указания». Догадываюсь, что их, эти указания, не очень-то всерьез принимают. Но дела в селе, судя по всему, идут неплохо, большинство крестьян уже вышло на яровой сев.

Старый солдат служит нам переводчиком. Через него мы узнаем от крестьян много интересного и поучительного. До воссоединения Бессарабии с Молдавией вся земля в окрестности находилась в руках некоего полурусского-полурумына Сергея Поповича. У него было около тысячи гектаров. Средний крестьянский надел был гектар. У многих земли вовсе не было, только домик.

Попович вел хозяйство на широкую ногу. Он отдавал крестьянам землю в аренду, исполу. Крестьянин мог пользоваться хозяйскими машинами, но за это он тоже платил деньгами или натурой из своей доли. После воссоединения земли Поповича были поделены между крестьянами, а недалеко от села была создана МТС. Появились советские тракторы и машины.

Когда из-за Прута пришли оккупанты, в их обозе приехал и Сергей Попович. Земля, уже засеянная крестьянами, вновь перешла к нему. Советские тракторы и машины угнали куда-то в Румынию. Попович так ограбил село, что в этом, прежде изобильном крае несколько семей вынуждены были заколотить свои домики, сняться и уйти, чтобы не умереть с голоду.

Когда во время разговора зву-

чит имя Поповича, загорелые, обветренные лица крестьян каменеют. Они не вспоминают его имени без ругательств. Сейчас Попович бежал за Прут, земли его вновь поделены, и, если удастся раздобыть горючее, будут работать и брошенные Поповичем машины.

Вечером крестьяне показывают нам свое хозяйство, конюшни, машины. Все в порядке. В порядке и старый помещичий дом, приземистый и мрачноватый. Мы ходим по голким комнатам с невысокими потолками. Интересно, что даже личных вещей бежавшего помещика никто не тронул. Его халат валяется на пианино, под вешалкой стоят болотные сапоги.

— Вот бережем дом. Школу здесь думаем открыть, а не то клуб, по вашему примеру, — хозяйственно говорит старый солдат и озабоченно осведомляется: — Разрешат, как вы думаете?

Окна раскрыты настежь, за деревьями, на которых набухают почки, серебрится пруд, в воздухе и на земле чувствуется весна, южная, буйная весна.

Нам снова повезло, в штабе танкового соединения я встретил знакомого штабного офицера связи. Он отправлял порожний самолет назад, в штаб фронта. В нем мы летим домой, к телеграфу. Я лечу с твердым решением не задерживаться в штабе, отписаться как можно скорее, передать корреспонденции в «Правду» и возвращаться сюда. Не сегодня-завтра наши войска выйдут на Прут — на государственную границу Советского Союза.

Через границу

Раздобыть самолет в собственное пользование не удастся. Но капитан Иваненко говорит, что завтра одна машина занаряжена за офицером разведки. Если я договорюсь с ним и мы оба втиснемся на одно заднее сиденье, то он не возражает перебросить в армию генерала Богданова лишнего пассажира. Знакомлюсь с этим офицером. Жизне-

радостный человек, одессит со всеми вытекающими свойствами. Одна беда — толстоват. Как мы с ним уместимся на заднем сиденье — не знаю. Но он, как истый гражданин своего веселого города, оптимистически переиначивает известную евангельскую поговорку: «Там, где верблюд не пройдет через игольное ушко, одессит проскочит». С тем и расстаемся до утра.

А утром действительно, оказывается, ухитряемся втиснуться в открытую кабину, предназначенную для одного человека. Вылетаем с рассветом. Поднявшись, пилот делает прощальный круг над могилой летчика Алеша Мерзлякова, о котором я уже писал. Красиво погиб на днях этот храбрый парень, выполняющая боевое задание уже тут, в Бессарабии. Раненный с «мессера» пулей навывлет, он все же сумел посадить самолет и этим спас жизнь своего пассажира, офицера связи. А когда тот выскочил из кабины, Алеша был уже мертв. Его похоронили на вершине зеленого, оплетенного виноградником холма. И установился в полку обычай: вылетая на боевое задание, летчики делают над этой могилой круг.

Могила хорошо видна сверху. Рядом с пропеллером, воткнутом в продолговатый холмик, кто-то, наверное крестьяне, поставили небольшой крест. Я вспомнил, как мы с Алешей, прощаясь, облетели у Днепра могилу старого лирника деда Левко, вспомнил, как удирали от «мессеров», вспомнил выразительное словечко, которое он мне передал по буквам из своей кабины. Много вспомнил и сказал вслух, будто бы он мог меня слышать:

— Прощай, Алеша. Прощай, хороший советский парень!

Летим. Мой сосед-одессит напевает какую-то не известную еще мне песенку о развеселом своем городе. Я сквозь гарахтенье мотора различаю слова: «Поговорим над берегом твоим, любимая моя Одесса-мама»... Все идет отлично в этот ясный весенний день, и даже в голову не приходит, что скоро повторится все,

что случилось с лейтенантом Мерзляковым.

Наш самолет ведет незнакомый летчик, только что переведенный на связь из комсомольского полка, веселый и, видимо, озорной паренек. Должно быть, испытывая нас, он как бы невзначай делает горки и виражи, но, честно говоря, мне не до фокусов. Лишь бы долететь скорее. Лишь бы не опоздать к такому великому событию, как форсирование Прута и переход через государственную границу.

Когда перелетаем через Днестр, я снова вспоминаю о том, как с Мерзляковым рассматривали мы с воздуха преодоленные днепровские укрепления Восточного вала. Тут все открыто наспех: нечеткие линии окопов, да пулеметные гнезда, редко разбросанные по речной пойме, да несколько несерьезных дзотов, плохо замаскированных в прибрежных скалах. В отличие от Восточного вала укрепленная линия идет здесь по обоим берегам — пойменному и крутому. Но и она оказалась бессильной хоть сколько-нибудь задержать советские войска. Невольно вспоминаются слова маршала Конева, сказанные где-то в начале этого нашего наступления: «Для храбрых и умелых солдат непреодолимых укреплений не существует». Теперь хочется только немного дополнить: «Для храбрых, умелых солдат, руководимых смелыми, талантливими, предусмотрительными полководцами».

Потом мы летим над пологими холмами Молдавии, и нам не нравится, что идем мы слишком высоко. На фронте осторожность дело не портит, и сила нашего маленького «кукурузничка» именно в том, что он может летать, чуть ли не касаясь колесами травы. Но такой уж, по-видимому, темперамент у этого сорванца из комсомольского полка.

Вскоре опасения наши оправдываются. Где-то, судя по карте, уже недалеко от Прута, мы видим двух немецких воздушных охотников. Мы высоко. Не заметить наш самолет они просто не могут. И они замечают. И начинают заходить нам в лоб.

Летчик снижается. Он бросает машину в пике, но уже поздно, они несутся навстречу, строча из всех пулеметов. Вот тут надо отдать должное нашему сорванцу. Влипнув в скверную историю, он не теряется. Самолет круто разворачивается, и все же пулеметная очередь рассекла хвостовое оперение и, как выясняется впоследствии, перебила шасси. Но мы еще летим, самолет жив, а это главное.



Но и «мессера» не дураки, чтобы так легко упустить безобидный «кукурузничек». Ну да, вон они пошли на новый заход. Летчик резко снижает машину, и мы почти падаем в балочку. Трещит подламывающееся шасси, и наш «кукурузник», застыв, задирает хвост и, сунувшись в грязь винтом, остается торчать в этой глупой позе. Мы с одесситом, как мешки с картошкой, вываливаемся из кабины и шлепаемся в болото. Но летчик почему-то не вылез, хотя ему, вероятно, чертовски трудно сидеть, вернее лежать грудью на приборах в самолете, торчащем почти вертикально.

Ранен? Убит? Бросаемся к машине. Вытаскиваем летчика из кабины. Торопливо относим его, неподвижного, в сторону, в виноградник. И вовремя. Ревя моторамн, проносятся один за другим «мессера». Нестрашно, будто швейные машины, трещат их пулеметы.

В следующее мгновение самолет вспыхивает ярким пламенем. С третьего захода «мессера» угодил-таки в бензобаки несчастной машины.

Скверно очутиться вот эдак в пешем строю в незнакомом месте, с раненым на руках. Да еще неизвестно где, потому что, удирая от охотников, летчик, разумеется, перестал следить за картой.

Майор-одессит, как истый раз-

ведчик, первый оценивает плачевную эту ситуацию. Он поручает мне летчика, а сам бегом отправляется за помощью. Стаскиваю с летчика комбинезон. Осматриваю, ощупываю. Что за черт — ран нет. Почему же он без сознания? Догадываюсь: вероятно, контужен. Как его привести в чувство — не знаю и поэтому прибегаю к испытанному мальчишескому средству, начинаю крепко тереть ему ладонями уши. И что же — приходит в себя.

Одессит оказывается молодцом. Он появляется в сопровождении женщины-врача и двух санитарок с носилками. Оказывается, тут недалеко, на хуторе, расположилась санчасть танкистов. Им и сдаем контуженого.

Мы же выбираемся на большак, до которого тоже недалеко. «Голосуем», и первая же фронтовая машина довозит нас до Фалешт. А через полчаса удобный штабной вездеход везет нас на Прут, к селению Баранешты, куда уже прорвались танкисты.

По дороге узнаем от шофера потрясающую новость: утром передовые части форсировали Прут и, перейдя государственную границу Советского Союза, уже углубились в территорию Румынии. Не сдержавшись, я обнимаю этого чумазого белобрысого парня. Он смотрит на меня с недоумением и опаской — уж не рехнулся ли майор, падая с неба?..

Авиация неприятеля сегодня зверствует. На двенадцатикилометровой участке до реки нам придется раз пять выскакивать из машины и отлеживаться в придорожном кювете. Видимо, фашисты здорово напуганы и обозлены. Наверно, они перебросили сюда какую-то крупную авиачасть, и сейчас их пикировщики и «мессеры» не слезают с неба, гоняясь даже за отдельными машинами, как это было в сорок первом. Должно быть, стараются если и не остановить, то хотя бы задержать Красную Армию.

Вездеход с ревом, на отчаянной скорости врывается в село Баранешты. Я прошу шофера, прежде чем ехать в штаб, помещающийся где-то на северной окраине, дать нам глянуть на Прут. Он понимает наше волнение. Машина несется по узенькой кривой улице, меж заборов, сколоченных не по-нашему — из длинных, толстых, прибитых параллельно земле досок. Делает поворот, еще поворот. Выскакивает на холм и останавливается, как осажженный на полном ходу конь, пронзительно взвизгнув тормозами.

Мы на краю высокого, крутого, точно бы отпиленного глинистого берега. Внизу — Прут, медленно извивающийся и ослепительно сверкающий в лучах полуденного солнца.

Вот она — граница моей великой страны. А за нею видны зеленые долины Румынии. Шум артиллерийского боя доносится уже оттуда, из-за Прута, не с нашей, а с чужой земли...

Начальник штаба танкового соединения знакомит меня с обстоятельствами перехода границы здесь, у села Баранешты.

По приказу маршала граница была взята с ходу. Бой продолжался всего около двух часов.

— Разве перед этой войной кто-нибудь мог предполагать, что танкисты с ходу будут форсировать такие реки? — говорит генерал.

— Разве до войны могли думать, что вообще государственные границы будут форсировать с ходу? — отвечаю я.

Вспомню, с каким волнением осенью прошлого года переезжали мы Северный Донец в районе Белгорода, когда наступление нашего фронта еще только развертывалось. Эта река была тогда рубежом, отделявшим наши войска от немцев.

Переступив этот рубеж, наша армия начала наступление, продолжавшееся более полугода и еще не кончившееся. С волнением, очень похожим на то, которое охватило меня на берегу Северного Донца, стою на взгорье над широко разлившимся Прутом, у околицы села Баранешты. Именно здесь, в этом месте, сегодня на заре войска Второго Украинского фронта впервые перенесли огонь войны за рубежи Родины, на неприятельскую землю. Уже не фронтовой рубеж отделяет наши войска от неприятельских, а рубеж государственной границы.

Переход ее был совершен с блестящей стремительностью, хотя с точки зрения военно-оперативной и не представлял собой чего-то особо выдающегося. До этого были Днепр, Ворскла, Южный Буг, Днестр — водные преграды посерьезнее Прута. Но политически то, что произошло в осеннюю, прозрачную, полную звезд и соловьиных трелей ночь, вот тут, у молдаванского села, имеет огромное значение. Все долгие годы войны советские люди мечтали об этом событии. Солдат Сталинграда, зарывшись в мерзлую землю среди законченных руин, ленинградская мать, кормившая истощенных ребятишек супом, сваренным из кусочка столярного клея, все мы, куда бы ни заносила нас военная судьба, в ту трудную пору мечтали о часе, когда огонь войны, до сих пор опустошавший нашу землю, будет переброшен на территорию противника.

У армий, с боями двигавшихся сюда через Украину и Молдавию, позади тысячи километров обожженной земли, разрушенные города, несчетные пепелища деревень, забурьяненные поля, рвы, полные трупов. И вот война со всеми ее ужасами изгоняется за порог нашего дома — туда, откуда она пришла.

С холма, на вершине которого стоит старое распятие, я вижу Прут. За ним темнеют пойменные берега и дальше, будто стайка овец, возглавляемая козлом, карабкаются на холм белые маленькие домики, предводительствуемые приземистой церквушкой. Это — Румыния. Румыния Антонеску. Это земля противника, воюющего против нас.

Не дождавшись, пока саперы спустят на воду уже подвезенные десантные мотоботы, прыгаем на ветхий сельский паром, куда предприимчивые артиллеристы успели взгромоздить противотанковую пушечку. Бывалые солдаты — загорелые, обросшие в этом стремительном наступлении — заметно взволнованы. Обычное боевое напряжение у них усиливается все тем же ощущением, что здесь, на этой переправе, они становятся участниками чего-то еще небывалого. Они не только гонят противника, к чему за последние месяцы все уже привыкли, но гонят с родной земли самую войну.

— Румыния, — хрипловатым голосом говорит какой-то усач, быть может участвовавший в гражданской войне.

— Даешь Румынию! — кричит озорной автоматчик в клеенчатой трофейной куртке и даже топчется на настиле от нетерпения.

Вместе со всеми я перебираю мокрый, липкий от смолы канат и мысленно составляю корреспонденцию, которую, если повезет, отстучу сегодня вечером по военному телеграфу в «Правду». Замечательную, потрясающую корреспонденцию. Уже придумывается заголовок: «На земле врага». «На земле врага» — это должно здорово прозвучать под большой салют, который грянет сегодня в Москве в честь долгожданного события.

Паром мягко подходит к мосткам. Но еще до этого мгновения все прыгают — кто на мостки, кто на берег, а кто и плюхается в воду. На берегу, в камышах, — несколько брошенных пушек и «пантер», карауливших,



должно быть, в засаде. Ветер разносит по пляжу разноцветные бумажки какой-то штабной канцелярии. Но на все это не смотрится. Мы жадно оглядываемся кругом. Подумать только — ведь это уже Румыния. Мы на земле врага. Но врага ли?

Уже тут, на берегу, закрадывается сомнение — так ли хорош придуманный мною заголовок для корреспонденции, посвященной этому выдающемуся событию?

Первые румынские деревни на пути наступления наших частей оказываются пустыми. Люди спешно их покинули, похоже, ничего с собой не взяв, уведя только скот. За дощатыми заборами мечутся голодные псы. На стенах белых домиков с затейливыми террасками и с обязательными гроздьями кукурузных початков пестреют уже навязшие в зубах плакаты немецкого изготовления: чубатый казак, дико хохоча, поднял на пику голенького младенца... Пьяные бородатые люди со звериными лицами и огромными красными звездами на мохнатых папах куда-то волокут кричащую девчонку, отталкивая старую женщину, цепляющуюся за их сапоги... Те же бородачи, так же дико хохоча, вешают священника на перекладине церковных ворот. Тот же священник и еще какие-то интеллигентного вида люди распяты на заборах, и офицеры со звездами и множеством орденов стреляют в них, как по мишеням... Все эти геббельсовские художества давно уже намозолили нам глаза на пути нашего наступления. По-видимому, фантазия док-

тора Иозефа Геббельса начинает иссякать. Для Румынии он так ничего оригинального и не придумал, просто перевел подписи под тем, что было на Украине и в Молдавии, на румынский язык. Плакаты эти настолько очевидно нелепы, что там, за Прутом, их ленились даже срывать. Но эти пустые деревни... Неужели столь очевидные бездарные фальшивки на кого-то могли подействовать?

В конце деревни с названием, кончающимся на «шты», в одном из домиков обнаружен древний дед в длинной белой рубахе, в коротких портах, из которых, как корни, торчат его худые загорелые ноги. Я подошел к нему вместе с добровольным переводчиком — чернявым солдатиком из молдаван. Первое, что сделал дед, увидев мои офицерские погоны, это попытался поцеловать руку. Предупредив, я сам поцеловал его в шершавую колючую щеку, и он остолбенело посмотрел на меня, будто произошло что-то сверхъестественное. Потом дед заговорил, и мы узнали, что не дурачки эти плакаты, вывешенные гитлеровскими молодчиками из роты пропаганды, а более сильные аргументы заставили жителей покинуть село. Вчера на заре сюда пришли железногвардейцы и приказали всем грузить на подводы самое необходимое и уходить в глубь страны. Сказано было, что ослушников расстреляют, а дома их сожгут. И вот ночью, когда завязался бой на переправе, а железногвардейцы, вовсе не стремившиеся померяться силой с русской разведкой, уже переправившейся на надувных лодках, исчезли, крестьяне нашли третий выход — они не пошли в глубь страны и не остались дома, а ушли в плавни, забрав с собой самое ценное и скот.

— Старый Николае остался, — дребезжал старик, именуя себя почему-то в третьем лице. — Чем может напугать железногвардейский головорез старого Николае, который, слава богоматери, достаточно пожил на белом свете. Ружье? Так что старому Николае его ружье, если год назад он уже сколотил себе

гроб. Домнулу¹ красный офицер может верить старику, что его односельчане вернутся, обязательно вернутся, как только узнают, что русские никого не трогают.

Старик снисходительно принял от переводчика нашу папиросу, удивленно повертел ее в руках, но курить не стал. Видимо, так и не поняв назначения длинного картонного мундштука, он сунул ее за ухо.

Таков был первый представитель мирного румынского населения, у которого мне удалось взять интервью. Правду ли он говорит, или может быть, лжет, боясь, как бы с ним чего не сделали?

Скоро выяснилось, что он нас не обманывает. Из камышовых зарослей в деревню потянулись люди — загорелые мужчины в высоких бараньих шапках, худощавые смуглые женщины, шустрые ребятишки. Будто возвращаясь с пастбища, неторопливо пощипывая на обочинах траву, брели коровы. Мелко семена ножками, двигались овцы.

Деревня оживала прямо на глазах. Уже вились над крышами серые уютные дымки. Босые молодичицы, стоя на террасках, с опасливым любопытством разглядывали двигавшиеся через деревню запыленные пушки, солдат, с лицами, покрытыми зеленоватыми масками пыли. Мальчишки окружали танкистов, разминавшихся около своих машин. Те, что посмелее, выпрашивали у них монетки, форменные пуговицы, спичечные коробки и прочие немудрящие походные сувениры. А когда на склоне дня мы, утомленные и измученные, добрались до переправы, где под защитой песчаных откосов, прикрытые от солнца ветвями, еще лежали рядом неприятельские трупы, мы увидели совсем уже мирную картину. Дюжий танкист, спустив ноги с подбитого «фердинанда», разводил меха своего облупленного, выдавшего виды баяна, и какие-то ребята из инженерной части, должно быть из той, что наводила уже жесткую переправу, вызываясь поглядывая на иноземных девчат, тол-

¹ Господин. (Рум.).

пившихся в сторонке застенчивой стайкой, откалывали такие плясовые коленца, каких, может быть, и не видала эта певучая, издревле охочая до танцев страна.

А подальше, у блиндажа перевозчиков, на истоптанной траве, подобрал под себя ноги, обутые в постолы, сидели румыны — из тех, что пришли помогать нашим солдатам строить переправу. Они неторопливо курили русские папиросы, осторожно держа их за длинные картонные мундштуки.

Что увидел я, военный журналист, которому скоро предстояло передавать в Москву корреспонденцию о первых часах, проведенных за Прутом, на их обветренных усталых лицах? Удивление? Безусловно! Даже недоумение. Любопытство? Конечно, и очень жгучее. Затаенный страх? Нет, страха, пожалуй, не было. Ненависть? Нет, нет и нет!

В этот день мне удивительно везло, что нечасто случается в беспокойной корреспондентской нашей жизни. И в Румынии побывал, и с населением поговорил, и отыскал даже героев переправы, первыми высадившихся на чужой берег. Несмотря на неистовство немецкой авиации, которая и сегодня, черт ее подери, не слезает с неба, без хлопот и опасности вернулся на наш берег, нашел армейский телеграф, написал и передал корреспонденцию. Только заголовок был у нее уже иной, не тот, что мне надумался по пути в Румынию. «На румынской земле» — так называлась эта корреспонденция.

Новое половодье

Все эти дни хворал. Никогда еще проклятый ревматизм, приобретенный в окопах Сталинграда, не казался мне таким тягостным, как в эти дни, до краев наполненные событиями. Наше наступление сейчас в полном разливе. Войска движутся энергично, напористо. Противника не спасают ни реки, преграждающие наш путь, ни свежие дивизии, которые он перетягивает сюда с

Балкан, даже с Адриатики, ни пресловутый воздушный корпус «Рихтгофен», укомплектованный пилотами-головорезами и переброшенный сюда из Европы.

Уже форсированы Серет, Молдова, Сучава, взяты города Батошани, Стефанешты, Радоуцы, Фелтичени, крупные железнодорожные узлы Дермешты, Варешты, Долгасэ, Пошкани... Со Скулянских гор бойцы передовых отрядов уже видят Яссы. Казаки и подвижные части ведут бои в предгорьях Карпат. До меня эта борьба доходит в отголосках. Прилетали и приезжали из-за Прута полные впечатлений журналисты, фотокорреспонденты, кинооператоры. Заходили и рассказывали. И это не утоляло, а лишь разжигало жажду видеть все это собственными глазами.

Зато теперь я, кажется, возьму реванш. Мне удалось получить самолет с полной заправкой и без маршрута. Будем приземляться где захотим, где сможем, а сидеть будем сколько нужно.

Первую посадку делаем у Прута, около уже знакомого нам села Баранешты. За эти дни оно стало тылом. По зеленым его улицам бродят раненые в халатах и пижамах. Здесь разместился армейский госпиталь.

Сколько интересного, живого, яркого, подмеченного острым глазом бывалого солдата, можно услышать здесь, на крутоярье, над рекой, если посидеть часок-другой у костра среди солдат, ожидающих своей очереди у переправы.

Маленький танкист рассказывает о недавно бушевавших тут боях. Он широко размахивает рукой, с которой, видно, так и не отмывается машинное масло, то и дело поправляет сползающий на нос шлем.

К костру подходят солдаты, раненные уже где-то в предгорьях Карпат. Все горды тем, что принимали участие в переходе границы и перенесли войну за реку.

Молоденький пехотинец, бережно покачивающий лежащую на дощечке и подвешенную на бинте за гипсованную руку, весело говорит:

— Догнали мы вчера немцев у железной дороги, кричим: «Хенде хох, а то капут». Стреляют. Ну, мы их и покروшили.— Он издает восторженный гортанный звук и, подбросив в костер смолистых веток, довольный, наблюдает, как пламя охватывает их.— А чудной там, в Румынии, народ. Сначала все сдуру прятались. Войдешь в деревню — никого, одни петухи поют. Потом помаленьку выползают из оврагов. Возле одной деревни два старика нам навстречу вышли. Идут, руки подняты, что-то лопочут, а переводчик переводит: «Стреляйте сразу, только не мучайте!» Потом с нами в деревню вернулись.

Регулировщица кричит на дороге:

— Воздух!

Машины, как муравьи, расползаются в разные стороны. Загораются дымовые шапки. Плотное сизое облако, клубясь, ползет над водой, окутывая все зеленоватым туманом.

Пикировщики, выскользнув из-за облаков, будто дети с горы на салазках, гуськом устремляются прямо на переправу. С севера наперерез им несутся наши «ястребки». Некоторое время в воздушной драке трудно что-нибудь разобрать. Только слышится короткий сухой треск авиапушек и пулеметов. Но вот подбитый пикировщик плюхается в воду. Оставляя за собой дымный хвост, тянет на север наш подожженный «ястребок».

— Одиннадцатого фрица сегодня сбили,— говорит солдат с переправы.

— Да, это не то, что бывало в Сталинграде. Там они в небе хозяйничали,— откликается другой.

— А что под Сталинградом мало, что ли, их самолетов посшибали? Сам видел у третьего обвода на аэродроме ихних машин видимо-невидимо; сплошное утильсырье.

— Я не про аэродром, я про воздух,— отвечает первый.— Их там иной раз как комаров в погожий день над нашими переправами висело.

— Да, скис Гитлер. Иная война пошла.

Но снова кто-то стучит в рельс, и сквозь нарастающий вибрирующий гул доносится женский голос: — Воздух! Эй, у костра, оглохли!

— Вот тебе и скис! — усмехается один из спорщиков.

Но в щель никто не прячется, все сидят, запрокинув головы.

Это новая волна пикировщиков «Ю-87». «Лаптежники» — так зовут их в наших войсках за то, что шасси у них не убираются, толстые колеса торчат, и снизу кажется, что из брюха самолета спущены ноги, обутые в лапти. Где-то в крыльях вделаны сирены. Пикируя, они страшно, душераздирающе свистят. Что там греха таить, когда-то, под Калинином, в дни немецкого наступления на Москву, этот пронзительно нарастающий звук прямо-таки леденил кровь. Тут, у костра, возле Прута, механический вопль никого уже не пугает. Конечно, бомбы, отделяющиеся от крыльев пикировщика, не конфеты, но опытный солдатский глаз точно определяет, куда они полетят, а так как явно летят они на ту сторону, на этой никто уже и ухом не ведет.

Примечательная сцена. У переправы суетятся трое военных. У самой воды, у причала. Что-то сверкает у них в руках.

— Киношники... Кино крутят,— поясняет бывалый солдат, тот, что воевал в Сталинграде.

Ба! Да конечно же, это кинооператоры. Вон снимают очередной пикирующий бомбардировщик, провозжают объективом летящие вниз бомбы. Удар. Они на миг скрылись, должно быть, присев в укрытие. Но вот опять появились и снимают черные султаны разрывов, взметнувшиеся вверх.

Мне не раз приходилось встречаться с нашими собратьями из Кинохроники. Мы дружим с этими храбрыми ребятами, которым, в силу особенностей их искусства, нельзя наблюдать бой, скажем, из блиндажа на командном пункте, а приходится идти с солдатами среди наступающих.

Вот и тут, когда оба берега замерли перед новым налетом, они снимают сам налет, снимают, многим рискуя, ибо летящая вниз бомба не станет перед киноаппаратом позировать, улыбаться и делать приятное лицо.

С первым же паромом переправляюсь на ту сторону. Да это же Роман Кармен со своими хлопцами! Я уже немного знаком с этим оператором, прославившимся еще на испанской войне, стройным, подтянутым офицером, с юношески румяным лицом и седеющей, тщательно причесанной шевелюрой.

— Снимаю Румынию, — говорит он, здороваясь и заводя при этом свою кинаму. — Сюжет — переправа. Немцы, как видите, чудесно подыгрывают... Стойте, слышите, кажется, опять летят. Эх, жаль, подходят со стороны солнца. Ну что бы им взять левее!

Успеваю сказать еще, что в их машине канистра с хорошим здешним вином. И отличный сыр... Но это уже в следующий раз. Такие кадры, разве можно пропустить!.. Бухают бомбы, трясется земля, жужжат киноаппараты.

Путешествие в далекое прошлое

Потом мы берем курс на юго-запад, к городу Батошани. Даже с самолета видно, что жизнь тут возродилась, налаживается. На полосатых полях крестьяне ходят за плугом. На виноградниках, точно паутиной покрывающих склоны холмов, пестреют платки крестьянок. В низинах, у плотин, возле которых работают сельские мельницы, толпятся подводы. На залитых солнцем улицах городка Стефанешти, над которым мы пролетаем чуть ли не на уровне крыш, много жителей. Дымят трубы какого-то завода, мальчишки машут, провожая самолет. Но больше всего поражает, что на путях железнодорожного узла Пашканы, лишь недавно взятого, мы видим передвигающиеся соста-

вы. Узел работает уже на нашу армию.

Ну вот и Батошани — уездный центр Северной Румынии. Городу повезло. Фронт миновал его быстро. Остатки дивизий противника отступали так поспешно, что перед отходом не успели ни сжечь, ни разграбить город, ни угнать население. Батошани, сразу оказавшись в глубоком тылу, продолжает жить своей пестрой, шумной жизнью, полной самых разительных противоречий и контрастов. В развалинах скотобойни еще торчат обломки разбитых немецких батарей. На улице Регина Кароля, пронзив своей длинной головастой пушкой фанерную лимонадную будку, стоит немецкая «пантера», брошенная экипажем. На афишных тумбах лохмотья уже известных нам геббельсовских плакатов и воззваний Иона Антонеску, призывающих население уходить в центр страны, спасаясь от большевистских зверств. А рядом небольшие афишки каких-то казино, сулящие, судя по рисункам, полуобнаженных дам и другие эффектные зрелища.

Как странно после всего, что мы видели на пути большого, длившегося более полугода непрерывного наступления, после руин, пепелищ увидеть этот тихий благополучный город, точно бы волшебством сохраненный среди бед и ужасов войны. Кажется, что наш скромный «кукурузник» превратился в уэллсовскую «машину времени» и перенес меня куда-то в далекое прошлое, в дореволюционную Одессу, так сочно и вкусно описанную Валентином Катаевым в его повести «Белеет парус одинокий».

Дворники метут мостовые. Садовники подрезают вдоль тротуаров кусты. В домах — электрический свет. Старики извозчики в высоких барашковых шапках и традиционных меховых безрукавках величаво и гордо восседают на козлах пролеток. За бесконечное количество обесцененных лей они готовы хоть целый день возить вас по городу. В положенный час тегуче перекликаются колокола. Девушки в пест-

рых платьях и высоких прическах гуляют по солнечной стороне, стреляя глазами в сторону проходящих офицеров. Киоски бойко торгуют прохладительными напитками, и везде, куда ни повернись, на тротуарах смуглые мальчуганы со щетками и суконками нетерпеливо отбивают по ящичкам дробь в ожидании клиента. Их столько, что можно подумать, будто жители Батошани только тем и заняты, что с утра до вечера чистят ботинки.

Я уже записывал, что первый же встреченный мною за Прутом румын крестьянин поразил меня странным контрастом своей одежды — он был бос и в шляпе, а ведь еще было холодно. В лощинах лежал снег. Тут, в городе, эти контрасты еще резче. На окраинах маленькие домики живописно лепятся один к другому. Они так малы и кривобоки, что просто поражаешься, как их не унесет первый же ветер. А совсем недалеко — особняки новой постройки в виде плоских бетонных коробочек, окрашенных в желтый или белый цвет. Они утопают в зелени уже распускающихся садов. Красивая ограда отделяет их от уличного шума и пыли.

По окраинам даже сейчас, в погожую пору, трудно пройти из-за невысыхающей грязи. Там помои выливают прямо за калитку. Ребятишки играют среди зловонных ям.

На центральной улице мостовую мыли мокрой шваброй. В лучшей местной гостинице нас встретил портье, похожий на старого дипломата, в строгом смокинге и высоком оскарвальдовском воротничке. Зато в номере, в красной плюшевой мебели, оказалось столько блох, что нам с летчиком еле удалось заснуть даже после шумного, наполненного событиями дня.

Везде сочетание вопиющей бедности с какой-то крикливой роскошью, явно продиктованной желанием обставить все, «как в лучших до-



мах Парижа». Эту фразу мы сегодня слышали уже неоднократно.

Решаем провести в Батошани еще ночь, но как-нибудь обойтись без блох. Звоню дежурному военной комендатуры. Усталый голос объясняет, что в военной гостинице все занято, лежат в коридорах и на лестницах. Вспоминается старец в оскарвальдовских воротничках и сердитые блохи.

— А нельзя ли переночевать у вас в комендатуре? Мы люди без претензий.

— Да в этом нет никакой надобности, товарищ майор. Зайдите в полицию, на улицу Регина Кароля, девять, вас поставят на хорошую частную квартиру. У нас с ними твердая договоренность. Там говорят по-русски.

— Куда? В полицию? — я невольно растягиваю этот вопрос. — Я не ослышался?

— Нет, нет. Именно в полицию. Примар — это по-нашему председатель горсовета — поручил полиции заниматься этим делом. Вы не беспокойтесь, я им сейчас туда позвоню...

К полиции у меня отношение студенческое. От одного этого слова, как говорится, шерсть поднимается дыбом. Но война уже перешла через границу, и придется, как видно, приспособливаться к новым ее условиям. В полицию так в полицию. Хотя, честно говоря, никогда не думал,

что мне придется иметь дело с этим учреждением, нравы которого столь живописно изобразили Ильф и Петров в «Золотом теленке».

Выясняется, что при нашем приходе в город полицейские были прятались. Когда вернувшийся к исполнению своих обязанностей городской голова, или по-местному примар, приказал полицейским занять свои посты, они отнекивались. Но потом, убедившись, что Красная Армия не вмешивается в дела гражданского управления, наконец облачились в форму и приступили к своим обязанностям.

Днем на главной улице я уже видел, как несколько таких полицейских в фуражках с тульями неоглядной ширины, в перчатках, глядя на которые можно только догадываться, что они были когда-то белыми, свистками, жестами, криками, всей своей фигурой и мимикой старательно регулировали движение подвод, движущихся к базару.

Что ж, познакомимся теперь с полицейскими офицерами. Дежурный полицейский чиновник чрезвычайно учтив и предупредителен.

— Да, да, мне уже передано распоряжение господина коменданта. Я направляю вас, господин майор, в прекрасный дом, к домнулу Стефанеску. Это весьма почтенный землевладелец. Человек приятный, понимающий, воспитывался в России, русофил.

— А нельзя ли куда-нибудь попроще?

— Нет, нет, что вы, как можно? Мы рады быть полезными офицеру доблестной армии-победительницы.

В красивом, современной постройки особняке мне отводят комнату с огромным мягким ковром, с просторной кроватью, с удобствами, от которых мы совершенно отвыкли на войне.

Вечером в дверь осторожно постучали. Вошел старый слуга в бакебардах котлетками и стал жестами приглашать куда-то, скаля вставные зубы и поминутно кланяясь.

В большой столовой за чайным столом сидел полный, красивый человек с копной седеющих волос, с

усами. Он встал и по-русски очень чисто сказал:

— Тудор Стефанеску. Землевладелец. Прошу называть по-русски — Федор Иванович. Я поклонник русских обычаев. Кончил курс в Новороссийском университете. Эх, Одесса! О-ля-ля! Прекрасный город, а какие женщины — умереть можно!.. Се манифик! Я все собирался съездить в Одессу. Но дела, дела... Говорят, там даже ходил трамвай...

Спыхватившись, хозяин бурно краснеет, переводит разговор на литературу. «Толстой, Достоевский, Чехов — шарман, шарман! А стихи Саши Черного? А песенки Лещенко... Пардон, миль пардон! Лещенко, конечно, тут ни при чем...

Перед сном старый слуга торжественно внес ко мне в комнату таз, кувшин с теплой водой и полотенце. Умывшись, жду, стараясь понять, чего это он топчется и не уходит. Потом, когда я сажусь на кровать, он вдруг припадает на колено и начинает стаскивать с меня сапог. Оказывается, он собрался помочь мне раздеться. Ему, вероятно, кажется странным, за что на него сердятся и энергично, хотя и мягко, стараются выдворить за дверь. Наконец он вздыхает и, вернувшись к кровати, открывает тумбочку, многозначительно показывает на фарфоровую ночную посудину. После этого, почтительно поклонившись, удаляется.

Вот в какие условия, оказывается, может перенести советского офицера скромный трудяга «кукурузник», превратившись в «машину времени».

На следующий день я встречаюсь с представителями румынской интеллигенции. Все, с кем мне пришлось говорить, — и старый врач городской больницы, и инженер-железнодорожник, и священник — отец Ион, немножко говорящий по-русски, — все подчеркивают дисциплину и безукоризненное поведение наших войск. Сразу же с приходом наших частей в городе установился порядок — ни одного серьезного уличного происшествия.

А ведь совсем недавно, когда здесь стояли немцы, по ночам слышалась стрельба и раздавались крики женщин.

— Ваши солдаты вообще не похожи на солдат. Они ведут себя по-рыцарски,— говорит отец Ион, поглядывая на меня хитрыми-хитрыми глазами.

Не знаю уж, сколь искренни эти слова. Кое о каких неприятных инцидентах мне комендант рассказывал, но вот что солдаты наши не видят в румынах врагов и что у них с населением, во всяком случае с трудящейся его частью, установились дружеские отношения,— это несомненно.

Думается, что и немцы тут поработали на нас и так осточертели населению, что само слово «немец», или точнее — «германец», служит символом наглости, жестокости, хамства.

Корреспондентская прощальная

Вернувшись из Батошани к месту временного нашего пристанища, был огорошен новостями и встречами. Возле чистенькой нашей хатки, окруженной теперь розовой, густо взбитой пеной цветущих абрикосовых деревьев, рядом с нашей выдавшей виды «пегашкой», которую Петрович так и не удосужился докрасить и отполировать, стоят еще две «эмочки» — свеженькие, добротные покрытые защитной краской. Возле них, вместе с Петровичем, облаченным теперь в черный франтоватый трофейный танкистский комбинезон, хлопчет наш старый друг шофер Петр Васильевич, давно уже возящий корреспондента «Комсомольской правды» Сергея Крушинского, и еще какой-то незнакомый белокурый парень.

Петр Васильевич Галахов слышит по всем фронтам самой положительной фигурой беспокойного шоферского мира. Мы обнялись, и я даже не стал спрашивать, кого он привез. Не называя фамилии, он сказал, что капитан, сразу же по

прибытии сюда, приказал ему тщательно осмотреть машину после дальней дороги, а сам на попутной рванул за Прут. А на другой машине приехал мой старый товарищ по Калининскому фронту, коллега по «Правде» Павел Кузнецов, боевой журналист и поэт, известный до войны своими переводами Джамбула, начавший войну редактором газеты знаменитой Панфиловской дивизии и до сих пор, как говорится у нас, «не вылезает с фронта».

Вот появляется и он в натальной рубашке с закатанными рукавами. Видать, только что писал.

— Там вам от полковника Лазарева телеграмма,— говорит он после поцелуев и объятий.— Добрая весть, вам дают отдых. Догадываюсь — хотят перекантовать куда-то, а меня вот сюда, вам на замену.

Дают отдых? Отлично! Наконец-то увжусь со своими. Страшно по ним соскучился. Переводят? Гм-м... Трудно сказать, хорошая или плохая это новость. Куда переводят? Телеграмма добрейшего Ивана Григорьевича Лазарева этого не разъясняет. Вот она. «Материал Румынии получили вовремя. Дана хорошая оценка редакции. Благодарим. Возвращайтесь Москву машиной. Возможно новое назначение. Полковник Лазарев».

Ну что ж, новое так новое. Не привыкать.

— Петрович, как там у нас машина? В порядке?

— Так точно. Заправил под завяз. На сто литров на дорогу талоны добыл.

Столица нашей Родины, как видно, влечет моего верного водителя не меньше чем меня.

— Отлично.— Тут командирский голос мой сразу же приобретает нежные просительные интонации.— Понимаешь, Петрович, хорошо бы тебе сейчас доехать до Иванторга, добыть винца, ну и еще что-нибудь пожевать... Надо же нам с людьми проститься.

Каюсь, мне легче иметь дело с полководцами самых высоких рангов, чем с деятелями военторга. Тут я теряюсь, превращаюсь в роб-

кого просителя и потому не имею успеха. Петрович же наоборот. Он известен в штабе фронта как авторитетнейший консультант по трофейным автомобильным моторам. Кроме того, он фотограф-любитель и обладает счастливым умением запечатлевать военоторговских и интендантских деятелей в великолепных позах Суворова, Нахимова и даже Наполеона. Поэтому, когда речь идет об общении с этой сложной организацией, весь корреспондентский корпус бьет ему челом.

В ответ на мою робкую просьбу Петрович эффектно спрашивает:

— Канистры вина и целого бара нам хватит?

О-о-о!

Чувствую, что тут все обдуманно, а может быть, и сделано за меня.

— Разумеется, разумеется,— лепечу я.— Что же, писать записку?

— Кому? — гордо удивляется Петрович.— Все уже здесь. В кредит отпустили. Давайте команду.

За командой дело, разумеется, не стало. Мы усаживаемся с Павлом Кузнецовым на крыльце и, греясь на солнышке, обмениваемся правдивыми новостями. Хорошие, интересные новости. На всех, даже на самых скромных фронтах — победные бои. Есть о чем писать. Есть что печатать. Не то, что когда-то... Вспоминаем Калининский фронт, труднейшую зиму сорок второго года, вспоминаем товарищей, живых и погибших, вспоминаем болотистую реку Ловать, на которой нас обоих однажды вражеские пушки заставили больше часу лежать, зарывшись в снег, при сорокаградусном морозе, вспоминаем майора Ерохина, корреспондента «Красной звезды», бывшего правдиста, которого мы не досчитались в тот день в своих рядах... Много вспоминаем. И думать об этом на границе Румынии, под абрикосами, в розовых кронах которых гудят пчелы, грустно и интересно.

Под вечер на какой-то полутонке подкатил пропыленный до костей Сергей Крушинский. Подготовка к вечеринке была в разгаре. На столах, составленных во внутреннем дворике, уже стояли глиняные

кувшины с вином, миски с крупно нарезанным сыром и хлебом, лежали зеленые косицы лука и чеснока. Нежный аромат цветущих абрикосов забивал жирный запах баранины, жарящейся на открытом огне. Крушинский шумно втянул носом этот аромат и сбросил с плеч рюкзак. Там оказалось... лукошко с крутыми яйцами и бидон с вином. Торопливо поставив бидон на стол вместе с лукошком, Крушинский сказал:

— Отличное вино. Монастырское. Вы такого не пили. Яйца тоже хорошие, будто гусиные. Пейте и ешьте, разговоры после. А сейчас писать, писать, писать.

И, вбежав в дом, он тут же согнулся над пишущей машинкой. Все мы знаем Сергея Крушинского, снова вернувшегося к нам на фронт. Знаем его умение сразу отключиться от все и вся, целиком погрузиться в работу и писать, писать — что бы вокруг ни происходило. До того как в конце рукописи не будет поставлена последняя жирная точка, никакие соблазны не могут его от этого отвлечь.

Вечерет. Надвигаются сумерки. Все корреспонденты и их водители уже расселись под абрикосами. Все вздыхают, потягивая носом аромат поджарившегося шашлыка. Чтобы как-то скрасить ожидание, Лило Лилоян, картинно закатывая темные глаза, аккомпанируя себе ударами пальцев о медный таз, поет шуточные песни родной Армении. Но в доме неумолимо и безостановочно щелкает машинка Крушинского. По очереди мы подходим к самодельному мангалу, смотрим баранину, которая начинает явно пережариваться.

Наконец не выдерживаем, садимся за стол, выпиваем по первой, и по второй, и по третьей кружке, шумим, поем песни. А машинка все стучит. Наконец солиста Лило сменяет нестройный, но дружный корреспондентский хор, и тогда машинка стихает. На крыльце — капитан Крушинский с озабоченным лицом. В руках у него листки только что отстуканной корреспонденции.

— Петр Васильевич, — озабоченно говорит он своему водителю, — прошу вас срочно отвезти меня на узел связи. Быстро. Немедленно.

— Товарищ капитан, садитесь, покушайте. Я ваше писание заброшу и послезу, чтобы передали, — отвечает ему шофер, обсасывая баранью косточку и утирая губы.

— Нет, нет, — сухо говорит Крушинский, — сегодня это должно быть в Москве. Я должен проследить. — Подходит к столу, показывает на лукошко. — Ешьте. Чудные яйца. И вино пейте. Дивное монастырское вино, многолетнее. Я вам потом о нем целую новеллу расскажу, вот только передам статью. Поехали, Петр Васильевич!

Его предложение встречает смущенное молчание. Дело в том, что вино его, оказавшееся действительно чудесным, уже выпито, а от столь же великолепных яиц остались одни скорлупки. Но он не огорчается, наш добрый и неутомимый товарищ. Возвратившись через некоторое время с узла связи, он рассказывает нам историю столь бессовестно выпитого нами без него вина.

История действительно интересная.

Одна наша танковая часть расположилась на стоянку во дворе женского монастыря. Танкисты вели себя сдержанно, но по вечерам, отдыхая, не очень шумно играли и пели. На их песни подходила местная молодежь. Понемногу стали появляться и молоденькие монахини. И вот случился конфуз, который пока еще не предусмотрен ни одним из параграфов устава комендантской службы. Молоденькой, хорошенькой монахине приглянулся наш лейтенант. Приглянулся со взаимностью. Да и в самом деле, когда сияет неистовая здешняя луна, цветут абрикосы, пахнет оттаявшей землей, молодому сердцу разве устоять? А тут еще девушка говорила по-русски, и выяснилось, что родные запрятали ее в монастырь против воли, будто бы по какому-то родительскому обету, а на самом деле для того, чтобы завладеть ее долей наследства. Короче говоря, эта юная

Христова невеста послала своего небесного жениха ко всем чертям, сбросила черный клобук и укатила с лейтенантом за Прут, на советскую территорию, а лейтенант рапортом запросил у командования разрешение жениться. Командование тоже встало в тупик: во-первых, невеста — иностранная гражданка, во-вторых, из монашек, в-третьих, лейтенант несет воинскую службу и находится в боевых условиях, в-четвертых, в-пятых и т. д.

Словом, плененный этой необычной ситуацией, Крушинский ринулся в монастырь, чтобы выяснить на месте все детали происшествия. Он был ласково принят игуменьей, потолковал с ней на богословские темы, все выяснил и, видимо, завоевав симпатии этой достойной старухи, получил в подарок на дорогу бидончик чудесного вина, с которым мы так безбожно расправились. О вине Крушинский не жалеет, но очень загоревал, когда все наше бывалое общество заявило ему, что очерк о принудительном пострижении и побеге молодой монахини, во-первых, воспроизведет ситуацию из известного романа Дени Дидро, а во-вторых, по нашему общему мнению, вряд ли приведет в восторг редакцию «Комсомольской правды». Впрочем, корреспонденцию из Румынии он уже отправил, имеет материал и в запасе, а монахиня... что ж, монахиня действительно может подождать до после войны, тем более что у нее нет другого выхода...

Будто осветительная ракета сияет на бархатном небе мордастая лунища. Где-то недалеко взпуски орут голосистые здешние лягушки и так же взпуски, не очень стройно, но старательно выкрикиваемы наши корреспондентские песенки:

...Погиб репортер в многодневном бою
От Буга в пути к Приднестровью.
Послал перед смертью в газету свою
Статью, обогрелую кровью.

И Приднестровье и Буг — все это давно уже пройдено нами в обратном направлении. Буг — это глубокий тыл. Перед нами Прут, Молдо-

ва, Серет... Много пройдено, а сколько еще идти? И где каждый из нас закончит войну?

Товарищ редактор статью прочитал
И вызвал сотрудницу Зину,
Подумал, за ухом пером почесал
И вымолвил: «Бросьте в корзину!..»

— Нет, ребята, к чертям эту тягомотину! — кричит Лило.

— Правильно. Давайте-ка грянем про веселого репортера, — поддерживает Леонид Кудреватых — крупный, жизнерадостный человек с добродушным лицом Гаргантюа.

Оружием обвешан, прокравшись по тропе,
Неукротим и бешен, он штурмом взял КП.
Был командирский ужин им съеден до конца,
Полковник был разбужен и побледнел с лица.

Запевают песню, как всегда у нас, голосистый Лило и скромный, деловитый корреспондент ТАССа Александр Малибашев. А припев рубим мы все вместе:

И вышли без задержки в то утро, как всегда,
И «Правда», и «Известия», и «Красная звезда»...

Эта веселая песня о веселом репортере в сущности очень печальна. Есть там строфа: «Под Купянском в июле, в полынью, в степной простор, упал, сраженный пулей, веселый репортер...» И человек, которому эта песня посвящена, — фотокорреспондент Миша Беренштейн, большинству из нас был известен, был нашим другом¹. Но необыкновенная жизнерадостность этого человека перекочевала и в эту печальную песню, поется она всегда в бодром, бравурном темпе. Ведь и в самом деле, что бы с каждым из нас ни случилось, выйдут без задержки в то утро, как всегда, все наши газеты, и ТАСС сообщит, и Радио передаст...

Не знаю уж, как это чудо произошло, но под столом обнаруживается еще один непочатый кувшин

¹ Этого храброго парня вывел сейчас Константин Симонов в романе «Живые и мертвые» под собственным именем, но под другой фамилией.

вина. Его немедленно же разливают по кружкам.

— Ну, а эту выпьем за то, чтобы когда-нибудь всем нам написать корреспонденции из Берлина, — провозглашает майор Малибашев².

Молча пьем этот тост.

...И все-таки не хочется уезжать. Как же я сжился со всеми вами, друзья мои! И как мне дорого это, не признающее ни званий, ни чинов, ни наград, ценящее лишь человеческое сердце, да настоящую работу, да соленую шутку и хорошую песню, военно-корреспондентское братство!

Последний выезд

С утра представляюсь по случаю отъезда фронтовому начальству — начальнику политуправления, члену Военного Совета, начальнику штаба, командующему.

Маршал Конев, как всегда, занят, как всегда, краток и лаконичен. Кажется, он даже неохотно оторвал глаза от карты, которую почему-то разглядывал через большое увеличительное стекло. Положил лупу, встал.

— Ну что ж, до свиданья. Спасибо за службу! — Руку он пожимает крепко и тепло. — Может быть, опять встретимся? — как-то неопределенно говорит он и добавляет: — Я ведь тоже здесь не задержусь.

О, это новость! Интересно, куда же его Ставка передвигает? Уж наверное на какой-то фронт, где назревают большие события. Но спрашивать неудобно. Просто нельзя.

Еще раз обмениваемся рукопожатиями. Поворачиваю «налево кругом», что у меня до сих пор получается прескверно, и, споткнувшись о табуретку, выхожу из комнаты.

Теперь, когда официальные ви-

² Четверо из нас — подполковник Агибалов, майор Кудреватых, капитан Крушинский и я — действительно впоследствии дали корреспонденции о штурме Берлина. Лило Лилоян погиб на границе Румынии и похоронен на одной из площадей Белграда, а Александр Малибашев был смертельно ранен в один из последних дней войны, уже на подступах к Берлину.

зиты нанесены, хочется как бы попрощаться с фронтом. Выезжаем за Прут на машине. Хозяйственный Петрович залил «под завяз» не только главный, но и дополнительные баки. Машина идет тяжело и осторожно. Но дороги хорошие. В отличном состоянии. Перегрузка не страшна.

Добираюсь до юго-западной точки нашего наступления. Здесь знакомлюсь с командиром полка майором Макаровым. Сегодня утром его передовые подразделения обходным маневром заняли две горы, и он только что перенес свой командный пункт в стены старого монастыря, стоящего в зеленом распадке у бурной горной речки.

Дорога идет то ложиной вдоль каменного русла, то петлями поднимается вверх, и машина попадает в зеленый тенистый тоннель. Растительность так богата и густа, что порою верхушки деревьев смыкаются над дорогой. Изредка то наверху, то внизу мелькают хижинки. На лугах пасутся стада лохматых овец. Пастух в высокой барашковой шапке, в длинной белой рубахе с надежной поверх нее меховой душегрейкой стоит, опираясь подбородком о высокую палку, и взглядом провожает машину. Майор сам сидит у руля. Машина несется мягко и на огромной скорости, а впереди маячат, все ясней и ясней вырисовываясь, причудливые изгибы горного хребта.

— Карпаты,— говорит майор.

— Да, Карпаты.

«И в самом деле, уже Карпаты»,— думаю я и вдруг почти физически ощущаю огромность пути, который мы прошли за восемь месяцев почти непрерывного наступления.

Вечером долго сидим на пороге большой монастырской сторожки, куда втиснулся почти весь штаб

полка. Вечер так хорош, что и говорить не хочется. Из открытой двери церкви слышатся звуки неторопливой службы — то голос священника, то протяжное пение. В кустах, словно настраиваясь, редко пощелкивает соловей. Сумерки уже окутали горы. Монастырь утонул в легком тумане, и только на репчатой его колокольне да на вершине горы еще сверкают отсветы последних солнечных лучей.

— Карпаты,— вновь задумчиво говорит майор Макаров.

— Да, Карпаты,— повторяю я.

В это время где-то за оградой монастыря, на скате горы, повыше нас, где расположилась охрана штаба, кто-то на балалайке затренькал «Во саду ли, в огороде...» Потом балалайка смолкла, и немного спустя три голоса согласно запели «Землянку». Слова песни таяли в вечерней тишине, но кто же не знает их? И майор начал подпевать:

Пой, гармоника, вьюге на зло,
Запутавшее счастье зови.
Мне в холодной землянке тепло
От твоей негасимой любви...

Простой мотив! Откуда, из каких краев, через сколько испытаний пронесли мы его сюда, в Румынию!..

И опять весомо, вещественно ощущается величие пройденного за этот год пути. Майор Макаров думает, видно, о том же.

— Далеко забрались,— говорит он.— А знаете, я с Белгорода три пары сапог истрепал. А ведь еще сколько идти-то — ох-хо-хо...

Из-за горы тихо, осторожно выбиралась большая луна, и горы выступали из ночной мглы большие, причудливо очерченные сзади желтоватым светом.

Русская песня звучала над Карпатским хребтом, а идти нам было действительно еще далековато,



ИЗ КНИГИ «ТРЕТЬИ ПЕТУХИ»

Отец

Мой отец
Конокрадом не был,
Как ходила молва тех дней.
Просто слишком уж
раболепно

Он всю жизнь
Любил лошадей:
И меняться,
И торговаться
С видом хитрого знатока.
Все хотел отец доменяться
До орловского рысака.
Все хотел,
Чтоб копыта били
Гулко, до неба,
Как в мороз.
Доменялся же до кобылы,
Что потом отвели в колхоз.

О, знаток
Лошадиных граций,
Он к тому же играл, как бес.
Все хотел отец доиграться
До каких-то больших чудес.
Все он верил,
Что за червонцем
Грив колышется ореол,
Что к ногам,
Поиграв на солнце,
Упадет золотой орел.
Все он верил
Той подлой карте,
Что доводит до маеты.
Так однажды
В слепом азарте
Проиграл горюн хомуты.

Не по низкой
Своей культуре,
А по-моему, верняком,
По широкой своей натуре
Был родитель мой игроком.
В играх силою он хвалился,
К супротивнику став лицом,
Но не дрался,
А только бился
И боролся
Честным борцом.
На веселой
На русской пасхе
И на празднике уразы,
Соблюдая устав татарский,
Забирал мой отец призы.

Эх вы, эх,
Золотые гривы,
Гривы синие,
Как туман!..
И ходил мой отец счастливый
И мечтал обхитрить цыган.
Подвела не гулянка-пьянка.
Горе в том, как признал
он сам:
У цыгана была цыганка,
Ворожившая по глазам.
Умолила и упросила,
А ведь, помнилось, не хотел...
Все потом казалось красивым,
Все, на что бы
Ни поглядел...

Незнакомое
Так знакомо!
Мне б тихонько
Делать дела,
Но какая-то хромосома
Страсть отцову передала.

Только бивни,
Да кости белые,
Да черепа.
Была тайга,
Дремотна и космата,
Была сосна,
Была да стала пнем.
Теперь лишь пни остались
В три обхвата
Да корни,
Поразмытые дождем.

И только память
Сохранить сумела,
Как осень,
Заполонив поля,
Тайгой шумела
И тайгой темнела
В три человеческих роста
Конопля.

Ни елка,
Соскочившая
С пенечка,
Ни конопели
Дымчатый прибор —
Ничто не уходило
В одимочку,
А что-то уводило
За собой.

О, конопля,
Сбежавшая от прясла,
Ты в детской
Не участвуешь игре!
Ни запаха,
Ни семечка,
Ни масла,
Ни коноплянки,
Певшей на заре.

Природа
И мудра
И терпелива,
Но, люди, люди,
Надо же понять:
Ей, как на фронте,
В случае прорыва,
Приходится
На флангах
Отступать.

И отступает,
И теряет вовсе
Она себя...
Да что там говорить!
Ее утрат

Ни в мрамре,
Ни в бронзе,
Ни в чем другом
Уже не повторить.

• • •

Под статейки
О колхозном праве
Что-то перестали
Сеять травы.

Под крутые
Боевые речи
Что-то перестали
Сеять гречу.

При решенье
Мировых вопросов
Что-то перестали
Сеять просо.

Что-то в царстве
Света и металла
Масла конопляного
Не стало.

А ведь помню,
От такого масла
В старом блюдце
Тряпочка не гасла.

• • •

Высокие сосны,
Царицы
Весенних тишин,
Бойтесь вы снега
И ветра.

Высокие сосны
С ветвями
У самых вершин,
Вам страшен
Закон Архимеда.

Высокие сосны
Подвластней
Его рычагу,
Качнет ли их
Ветра десница.
Высокие сосны
С ветвями
В тяжелом снегу,
Не дай же вам бог
Наклониться!

• • •

И на кронах
И на кронцах
Птицы в мартовском лесу
Уговаривают солнце
Поторапливать весну.

Птицы, птицы!
В дни страдания,
Даже в радостные дни
Ваши птичьи заклинанья
Значат больше,
Чем мои.

• • •

И бог
И черт,
Они все время в паре.
Талант с бездарностью
Не развести.
На каждого из нас

Есть свой Булгарин,
Готовый доглядеть
И донести.

Где лев,
Там и шакал,
Шакаля, ищет
Отброшенную кость
В густой траве.
Порою лев
Недоедает пищи,
И потому шакал
Всегда при льве.

Прошла пора
Булгаринских доносов,
Но жив Булгарин,
Хоть и не в чести.
Поэт, будь строг:
Не оставлять отбросов!
Пусть он, шакал,
Подохнет
Без кости!





Рисунок Л. Непомнящего

ТОЛЬКО БЫ НЕ БЫЛО ВЕТРА...

РАССКАЗ

1. ОСТРОВ

На нем никто никогда не был. Даже не верилось. Тишина... Только камышовка тоненько, как иголкой, проколола ее своим свистом. И все! И снова нетронутая тишина...

Три часа безостановочно я гнал лодку вдоль тростниковых полей, все дальше-дальше от егерской базы, от стоянок местных рыбаков, дальше, туда, где бы побыть одному, чтобы ни души, никаких разговоров, никаких встреч!

За три часа по тихой улице можно далеко уйти. К тому же я не жалел сил. И ушел. Солнце уже стало сваливаться на правую половину дня, когда повстречался этот остров. Поначалу я подумал, что это мыс, — я и ему был рад: хороший кусок земли, вклинившийся в воду, но, к еще большей радости, это оказался остров, отрезанный от берега мелководной, непроходимой от камыша бухтой.

Он весь из камней, метров триста в длину, сорок в ширину. К воде камни крупнее, к середине — мельче, но и там попадаются такие, что



Сергей Алексеевич Воронин пришел в литературу в послевоенные годы. Изыскатель-путеец, журналист — он немало ездил по стране, встречался со множеством людей, всматривался в жизнь. Все это легло в основу его книг.

Повести «Ненужная слава», «На своей земле», «Широкой дорогой», «Всего дороже» — впечатления о колхозной действительности. Роман «Две жизни» — о сильных и мужественных людях трудной изыскательской профессии, изданный массовыми тиражами у нас и во многих зарубежных странах. Сборники рассказов «Встречи», «Среди жизни», «Дом напротив», «Серебряное пятно», «Солнечная долина» и др.

встань во весь рост, и каждый из них скроет тебя своей громадой. Почерневшие от солнечного загара, потрескавшиеся от морозов и дождей, они, как стадо тюленей, лежали на этом острове — древние валуны, обросшие от старости шершавым лишайником.

Поверх них виднелись хилые сосенки, кривовокие березы, серые, с черными наростами от ненастья и северных ветров. Больших деревьев нет, наверно потому, что здесь нет земли. Подрастут метра на три и засохнут. Поэтому много валежника и сухостоя.

Трава жесткая. Да и мало ее. Кое-где туманятся метелки мятлика.

Я ходил по острову как первооткрыватель. Мне здесь все нравилось: и камни, и деревья, и трава, и камыши, отрезавшие от меня землю, но главное, нравился покой, извечный покой, которого уже давно лишился человек. У меня было такое ощущение, будто я нашел то, чего мне давно не хватало, только я не признавал чего, и вот теперь наконец-то нашел. И поэтому с каждым шагом все изумленнее оглядывал эти никому не нужные камни, радовался каждому дереву, прикасался рукой к траве и ни о чем не хотел думать. Ни о прошлом. Ни о настоящем. Ни о будущем.

Ладога была видна все время — ни камни, ни деревья не скрывали ее, но я не торопился к ней, знал — долго буду сидеть на берегу и смотреть в ее беспредельный простор. Собственно, ради Ладоги я и приехал сюда. Не знаю, кого как, но меня Ладога и влечет, и тревожит; есть в ее большой воде что-то чужое, даже враждебное, но это не мешает еще больше тянуться к ней. Она коварна. Все тихо, и небо чисто, и думается, так будет долго, и вдруг — маленькое темное облачко. И вот уже ветер, и с каждой минутой он все сильнее, и вот уже волны, и вот уже они кипят и несутся в Ладогу, потряхивая белыми шапками. И чайки орут и скрываются. Облачко открывает солнце. И снова устанавливается тишина. И волны тают под его лучами как воск. И гладь. И только на другой день узнаешь — утонул рыбак.

В Ладоге есть то, что может дать только большая вода, — чувствуешь себя человеком.

К ней я вышел, когда уже исколесил весь остров. Гладкая, ровная — она редко такой бывает. Спокойная лежала передо мной, уходя в бесконечность, с широкой, такой же бесконечной солнечной тропой напротив меня, с далеким-далеким островом, повисшим над водой... Странно, на острове был город. Белый город, залитый солнцем, с зелеными парками, похожий на азиатский! Даже что-то вроде минаретов было там. Я хорошо знаю, что никаких городов на островах Ладоги нет, но это было так похоже, и почему бы не поверить... Белый город! Может, я ничего не найду на этом острове, и все равно открою то, что там ничего нет, чтобы другой неопытный не пошел зря.

Белый город... До него не так-то легко добраться, надо плыть и плыть, в саму Ладогу, и не дай бог, если подыметесь ветер... Но при чем здесь опасения? Пора бы от них отвыкать! Как они мешают человеку быть честным, благородным, смелым!

Белый город. Я смотрел на него и уже знал — побываю в нем.

«Не надо бы», — предостерегал маленький трусливый Я.

«Надо!» — подавлял трусливого благородный, сильный — тоже Я.

«Согласен, но не сейчас», — сказал благоразумный — подлая середина — тоже Я. И победил.

2. ВОДА. РЫБА. КАМНИ

Вечером я выехал на рыбалку. Неподалеку от острова виднелась каменная гряда. По всей вероятности, она была продолжением острова, только еще не вышедшей на поверхность его частью. Через миллион лет она, конечно, сольется с сушей и остров увеличится, но пока они отделены друг от друга водой.

Думается, вода на Ладоге одинаковая, — но это не так. Есть глубокая и есть мелкая, есть холодная, днем и ночью остужаемая донными родниками, и есть застоялая — в бухтах и заводях, пахнувшая загнившими водорослями. Есть чистая, такая, что сквозь шестиметровую глубину увидишь дно, и есть мутная, как душа предателя. В тихую погоду она мирная, в бурю у берега грязная, на просторе — взъерошенная. То голубая от неба, то серая от туч. Она разная и поэтому никогда не надоедает.

И рыба разная. Благородная, сильная любит только чистую воду, живет в глубинах Ладоги. Там ей просторно. Редко кто поймает палию. Даже тралом не удастся ее захватить. Она живет в большой глубине. Может, когда-то и жила наверху, но стало тесно, и ушла быстрая, смелая рыба, сродни лососю и озерной форели. И лосось и озерная форель не живут вблизи берега. У берега мало воды, она — в просторе. И крупный окунь поэтому там, и судак, и сиг. Даже щука, как ни удивительно, тоже на больших глубинах.

Но когда наступает вечер, и свет уже не выдает, и тьма скрадывает, — большая рыба идет из глубин к грядам. Там среди камней, на двухметровой глубине толчется береговая рыба: обсасывает с камней слизь плотва, стаями ходит елец, полощется в травах подлещик, ползает у дна ерш — он, как шакал, добывает остатки после всех.

Каменные гряды, мертвые днем, — оживают вечером. Косяками идут окуни. Идут поверху, всплескивая, будто хлопают высунутые из воды ладоши. Идут стремительно. Наголодались в глубинах и теперь рвут и мечут направо и налево, хватают корм своими отсвечивающими голубым перламутром, широко разинутыми ртами. У них нет поклевки. Берут с ходу. И дрожит удилище, сгибается, жилка гудит, как на ветру, она режет воду с такой силой, что брызги летят во все стороны. Несравнимо удовольствие, когда попадется килограммовый горбун, — уж он покажет, на что бывает способно живое перед смертью!

Когда на Ладоге тихо, то ничего опасного нет, если даже идти вблизи камней. Их хорошо видно. И все же надо поглядывать, не то наскочит лодка на притемненный водой камень, а у него плешь не меньше стола, и долго придется возиться, пока снимешься. В сильный же ветер опрокинет, а волна ладожская крутая, твердая... Но сейчас тихо.

Сейчас очень тихо. Солнце медленно тонет в Ладоге, и кажется, вода подымается к небу. В вечернем безмолвии летят к Белому городу чайки. Вода густеет, становится непроницаемой. Она отражает только внешнее, совершенно скрывая все, что находится в ней. И поэтому рыба наверняка уже двинулась из глубин, а лодка еще ползет где-то между островом и грядой. Надо поторапливаться... За кормой потянулся более отчетливый след, зажурчало возле бортов. И тут же весло проскрежетало о камень. Откуда он? Его же не было! И словно медведь, поднялся у лодки еще

камень. По всему дну Ладоги камни. Тесно припав друг к другу, они лежат на больших глубинах. Они и на малых. И в заводях. И в протоках. Не везде, но во многих местах они вылезают из воды, сначала высунув только макушку головы, обросшую мягкой шелковистой зеленью, потом поднимаются по грудь и выходят на берег, обляпанные чайчьи пятнами.

В бурю камней не видно — Ладога прячет их, но не для того, чтобы утаить. Она знает, когда их нужно вытолкнуть на лодку, и выталкивает. А когда волна утихает, то Ладога не прочь и подшутить над неопытным рыбаком — плещет воду на макушке камня, и кажется, будто рыбы там гоняются за мальком, и неопытный рыбачок торопится туда и ругается, и смеется над собой.

Но сейчас тихо. Так тихо, что даже вода не плещется на макушках камней. Сейчас не опасно. К тому же глубина. Только бы не было ветра...

3. ОГОНЬ

С костром не бывает одиночества. Какая бы ни была глухая ночь, спокойно у огня.

Костер я разложил у спины отвесного камня. Из камней же сделал и таган — сварил уху, напился чаю. И теперь курю и гляжу, как деловито облизывает огонь ветки. Вокруг темная августовская ночь. Вокруг мрак. Он простирается на тысячи километров, поглощая поля, леса, города, села. Мрак огромен. Все мироздание полно им. Он только на время уступает свету дня, а потом снова наваливается на все сущее, как бы напоминая человеку о его бессилии и ограниченности.

Но есть огонь. С ним уютно и нет одиночества.

К моей радости, остров действительно необитаемый. Никто не только не приехал сюда, но даже и вблизи никого не было. И это хорошо. Я устал. Устал от людей, от города, от жизни. По-моему, человек себя может уважать до тех пор, пока сознает свою силу в обществе. С некоторых пор я за собой этой силы не чувствую. И тем острее вижу, как живет общество. А живет оно нервно, многим недовольно, и все чаще раздаются прямые слова, и я согласен с ними, и мне горько. Горько потому, что я тоже все знаю, все понимаю и так же бессилён, как и любой, только говорящий горькие истины.

Раньше у меня такого ощущения не было, — поэтому мне всегда хотелось работать и жить. А теперь появилась усталость...

Хорошо у костра. Хорошо быть одному. Хорошо, когда никого нет. В трех шагах от огня палатка. В нее я набросал сухого прошлогоднего тростника, застлал его плащом — отличная постель. Ни звука, ни грохота, ни содрогания, чем так щедр город. Оказывается, еще есть и другой мир — немой, мир здоровых нервов и беспробудного сна.

Костер догорает. Я больше не подбрасываю веток. Пусть потихоньку уснет и огонь. Завтра я встану чуть свет и поеду к Белому городу. Мне непременно надо там побывать... Уж он-то совсем далеко от земли.

4. ТУМАН

Ночь была теплой. Всегда после крепкого сна, когда вылезаете из палатки, пробирает дрожь, но тут парило, хотя еще только начинался рассвет. Ладога чуть слышно шевелилась в камнях. Она всегда на рассвете немного ворочается, будто укладывается поудобнее досыпать ночной сон.

Прежде чем ехать к Белому городу, мне хотелось постоять у гряды. Там провести утреннюю зорьку.

Весла мягко опускались в тихую воду. Я отошел подальше от острова, чтобы не натолкнуться на камни. С ясного, но еще ночного неба блекло светили звезды. Плыть было легко и приятно. Остров отходил все дальше и все больше темнел, превращаясь в курган. А гряда становилась четче, на ней уже можно было различить отдельные камни и на одном из них застывшую чайку.

Я встал между островом и грядой с таким расчетом, чтобы перехватить рыбу, идущую из тростников к гряде, и ту, глубинную, которая приходит туда же. Гряда от меня была метрах в ста, не больше.

Трудно пробивалось солнце. Ему уже надо бы подняться над водой, но сиреневая плотная мгла лежала на востоке и не пускала его. Только высоко-высоко в небе голубели, подсвеченные розовым, ясные просветы. Не клевало. Поплавок лежал на воде, словно впаиванный.

Я не заметил, когда это началось, но со всего простора Ладоги потек по воде туман. Непроглядной высокой массой он надвигался на меня, коснулся гряды, и гряда стала отдаляться и одновременно увеличиваться. Камни начали расти, превращаться в громады. Чайка превратилась в огромную птицу. Туман стал еще гуще, и тут же все исчезло. Странное состояние удивления и робости овладело мной. Такого тумана еще никогда мне не приходилось видеть, тем более быть в нем. Со всей Ладоги он шел к берегу, дымно клубясь, неосязаемый, как свет в матовом стекле.

Стало совсем тихо. Видно было только лодку и от нее, метрах в трех, неподвижный поплавок. Было что-то очень неприятное для меня в этой притихшей воде, в этом густом тумане, скрывшем тростники, гряду и мой остров. И я все тревожнее оглядывался, но теперь и небо было закрыто, и я себя чувствовал отрезанным от всего мира, и удовлетворенности этим уже не испытывал, и давно забытое беспокойное чувство тревоги еще больше овладело мной.

Неожиданно вдали заплескалась какая-то громадная рыба. Шлепок не было слышно, но я видел, как она билась на поверхности воды, как от нее шли большие волны. Удивленно, даже испуганно я глядел на нее, не понимая, как могу ее видеть в таком тумане. А она приближалась. Но всплесков все равно не было слышно. И вдруг оказалась рядом с поплавком... Бабочка, бьется крыльями, чтобы взлететь...

В тумане все необъяснимо изменчиво. И ничто не уменьшается — или исчезает, или гиперболически увеличивается до сказочных размеров. И эта необычность держит в состоянии настороженности, и становится не по себе, и все усиливается тревожное чувство.

Не клюет. Что-то медленно приближается с другой стороны лодки... Распластанная по воде птица. Откуда она? Кто ее убил? Почему она плывет ко мне? Я неотрывно смотрю на нее, она далеко, но хорошо мне видна — большая птица с округлыми крыльями. И вздрагиваю — в мой круг вплывает бабочка. Та же самая. Теперь ее гонит береговым течением. Она мертвая. Плывет мимо носа лодки, приближается к поплавку и уходит в туман, и там увеличивается и становится похожей на большую убитую птицу... Странно, рыба бабочку не взяла, значит, рыбы здесь нет...

Потянул ветер. Туман закачался. Со свистом пролетела над моей головой стая уток. За ней другая. На гряде с шумом отряхнулась чайка. Теперь ее видно, она сидит все на том же камне, огромная, величиною с пеликана. Чистится. И становится меньше. Это потому, что уже проглянуло солнце. И туман поплыл, и красной медью окрасилась вода, и еще тускло, но уже пробился остров. И двинулись, пошли облака. И все больше открывается небо. Оно зеленое. И появились всюду краски.

Каким безжизненно бедным был бы без них мир. И как он прекрасен, когда камни — черные, тростники — коричневые, чайки — белые, небо — синее, вода — голубая, деревья — зеленые! Я гляжу на все по отдельности, будто вижу впервые, и радуюсь, и сердце сжимает сладкая тоска по жизни. Как хочется жить! Смотреть на это прекрасное, доступное каждому, наслаждаться, быть чистым, как эти краски, благородным, как это высокое небо... Как хорошо, когда нет тумана! Как спокойно, когда все ясно!

5. БЕЛЫЙ ГОРОД

Я плыл к нему больше часа — берег уже превратился в низкую темную полосу, и мой остров слился с ней. Ладога была гладкой, небо — чистое, и не думалось, что может быть ветер. Но где, в каком кодексе записано, что счастье должно быть долговечным? Ветер сначала мягко опажнул меня и тут же сломал застойную тишину воды, будто схватил в горсть и выпустил, и сразу по всей Ладоге побежали мелкие волны.

Далеко над берегом показались тучи. Черные, широкие, они быстро неслись и вот уже скрыли солнце. И тут же ветер взвыл, волны одна за другой покатились вдаль, подымаясь все выше, становясь серыми. Самое правильное было бы вернуться на остров. Но Ладога не из тех озер, которые долго раскачиваются. Она берет разбег сразу. За какие-нибудь десять минут все смешается, ветер окрепнет, подует с такой силой, что и паруса не потребуется, — так что уж лучше не идти против него, а постараться поскорее прибиться к Белому городу.

Небо придвинулось к воде. И то и другое обесцвеченное, тусклое. Я оглянулся. На Ладоге никого не было, ни вблизи, ни вдали. Только волны, взбив гребни, неслись по всему неуютному простору, потряхивая ими, будто белыми шапками. Я был совершенно один. Но мне не было страшно. Больше того, что-то вроде злого задора вдруг овладело мною. Я радовался вскипающей волне — хоть тут-то покажу себя, и даже что-то похожее на клокочущие гортанные звуки исторгалось из моей глотки, когда пенная волна швыряла лодку с гребня на гребень и обдавала меня серыми брызгами.

Мне нравилось бороться один на один с этой слепой громадой. Давно уже я не испытывал чувства озорства, а теперь оно кипело во мне. И с каждым взмахом весел, с каждым рывком, с каждым взлетом на волну, с порывом ветра, который все больше сатанел, мною овладевало безудержное желание борьбы, проявления всего себя.

Белый город был уже не так далеко, когда на меня обрушился шквал. Я и не знал, но оказывается, накануне синоптики предсказали сильный северо-западный ветер со скоростью более двадцати метров в секунду. Это он и налетел на меня. С этой минуты начало твориться что-то непостижимое. Кепку сорвало, волосы метались по лбу, закрывая глаза, и я греб вслепую и обнаруживал, что гребу не к Белому городу, а в самую пасть Ладоги, и тогда круто разворачивал лодку, и в нее в ту же секунду плюхалось не меньше ведра воды, и я опять откидывал лодку к волне, все больше чувствуя, что уже нет сил грести, что не хватает дыхания, руки немеют, что еще немного — и я брошу весла...

Но тут случилось то, чего я и не предполагал, — лодка стала погружаться в воду. Я не помню, но кажется, я кричал. Звал на помощь... Конечно, никого не было... И тут я впервые узнал, что раньше смерти приходит ужас. Что смерть? Смерть — это когда тебя нет, когда тебе уже бояться нечего, но страх перед смертью — этого еще я не знал. А теперь он подступил ко мне, и то, что совсем еще недавно казалось мне недоро-

гим, что утомляло, заставляло бежать сюда,— вдруг стало нужным. И даже это чугунное небо, эта чужая вода, этот избивающий ветер — даже они стали дороги и нужны, но самое главное — оказалось, что во мне никогда не угасала жажда жизни, только ее затолкало время, невзгоды, постоянные заботы, тревоги, а теперь, когда вплотную ко мне подошла смерть, она, эта жажда жизни, прорвалась через все, что ее подавляло, и, жадно вбирая моими глазами все, что было вокруг, что осталось позади, что могло еще радовать,— все это взяла себе как оружие со смертью, и мне стало страшно уходить из жизни.

Я звал, но никто не пришел ко мне... Потом долго плыл к Белому городу... Я конечно бы сто раз погиб, если бы подчинился трусливому Я. Это он кричал, взывал о помощи, но как только я очутился в воде, его подмял сильный Я, и с той минуты появилась уверенность — доберусь до острова. И не страшно мне было ни волн, ни ветра, ни расстояния. Бывает такое состояние у человека, когда его правда перерастает страх угрожаемой за нее смерти. Что-то подобное произошло и со мной...

Как справедливая награда сильному Я, была та первая секунда, когда ноги коснулись дна. Разгребая воду, я пошел к берегу. И тут большая волна со всего ладожского разгона налетела на меня и швырнула на камни. И еще волна, и еще...

Я все же выбрался на берег. Упал и долго лежал. И плакал, не стыдясь своих слез. Потому что это были слезы очищения и надежды. Было обидно, что не так жил до сих пор, поэтому и устал. Что ж, теперь начну совсем другую жизнь. Плакал оттого, что до этого дня не уважал себя, не умел этого делать, но теперь я ничего уже бояться не буду.

Я поднял голову и не увидел Белого города. Передо мной высились большие, обляпанные чайчьим пометом старые камни. За ними зеленел тощий кустарник. Конечно, никаких минаретов не было...



Метаморфозы

«Все по-старому» — в письмах
мы пишем.

«Все по-прежнему» — мы говорим.
Ставим дочку на первые лыжи.
Топим печь. В облаках не парим.

День за днем — и зима на исходе.
Но неправда, что жизнь суета.
Что-то в нас все равно происходит,
Как в невидимой ткани листа.

Ни текучка, ни косность, ни Лета,
Ни заботы о хлебе и сне
Не забудут этих новеньких клеток,
Что таинственно зреют во мне.

Так в сады превращаются топи.
Приглядишься — всё движенья полно:
Лист в разрезе,
Звезда в телескопе,
Пласт земли на экране кино.

Против сонной инерции буден,
И застоя,
и скуки слепой
Сила жизни, что копится в людях,
Сила клеток выходит на бой.

Превращаются в травы морозы,
В утро — ночь,
В перегонной — воронье.
Нет застоя. Есть метаморфозы.
«Все по-старому» —
это вранье!

Любимые

*Посвящаю моим ученикам
из литературного кружка
Дворца пионеров*

Любимые уходят от меня:
Подруги — замуж,
Милые — в свободу,
А дети... Дети просто вырастают
Из ученичества.

Мы будем где-то рядом проходить,
Разделены квадратными домами,
По параллельным улицам.
Когда я в магазин войду,
Они из тесноты и суматохи
Под небо выйдут из других дверей,
Где вывеска «Нет входа».
Когда меня усталый эскалатор
Потащит вверх к сиянию огней,
Они по той же самой параллели
проедут,
Только вниз.
И книга, точно веер,
закроет от меня любимое лицо.

...Еще мы близко. Но прощаться
скоро.
Еще мы близко. Ленинские горы
Выносят на ладони наш Дворец.
И вот их шеи, тонкие, как стебли,
Качаются в аквариуме окон.
И не остыла трубка телефона,
И как птенцы, в ней вылепились
звуки.

Но замирает, замирает сердце
От близости разлуки.
Над ним не властны годы.
От него
Бегут к любимым тоненькие нити.
Смотрите!
Но не видно ничего.
Так лампочка бросала нам лучи,
Когда мы щурясь на нее глядели.
Но только мы глаза раскрыть
посмели,

Как нет лучей...
Любимые уходят от меня.
Ко мне лицом уходят,
Отступая,
И где-то к горизонту уменьшаясь,
Как корабли...

• • •

Не люблю занавешенных окон.
От кого?
От полей? От лесов?
От таких же взнесенных высоко
Белых окон в квадратах домов?

ИЗ КНИГИ «ГОЛОС ОЛИВЫ»

Творчество

Стоял, словно был в забытьи,
У края Млечного Пути. И падушие
звезды

Пронизывали его,
Словно был он туманностью. Он
Кусочки сердца, как будто наживку,
нанизывал

На крючок полумесяца
И вылавливал звезды, как рыбку.
Он в руки их брал,
Они трепетали
И мерцаньем заполняли Вселенную.
Загрустив, он бросал их обратно.
Все не шла на крючок
Та звезда, которую ждал...

Наконец

Нанизал он все сердце,
Которое кровью сочилось,
И забросил в воды Галактики,
Где дымилась звезда, солнца
и вечность...

Очнулся.
На устах его были стихи.

Песня мертвой птицы

Снег был мягкий, почти что добрый,
Он кружил, окружал. Первый снег
В жизни птицы. Ей казались хлопья
Листьями белоствольного дерева,
Что срывает и кружит ветер...
Рассветало, а листья по-прежнему
Были белы — не желты и не зелены.
Птица пела дрожащим голосом,
Словно черпала силу в песне,
Словно песня ей помогала
Устоять перед белыми листьями,
Что кружились и окружали.
«Пока песнь звучит,— думала
птица,—
Ничего со мной не случится».

Но кружились белые листья
И казались мертвенным пухом
Птиц, которые петь не умеют,
Только плавают на озерах.
Пела птица громче и громче,
Снег кружилась гуще и гуще,
Покрывая с угрюмой нежностью
Ее маленькие крылья.
Птица встряхивалась. Попыталась
Взлететь. Не могла. Попыталась
Запеть. Не могла. Снег падал.
Он сковал ее. Птица умолкла.
Но сердце ее еще было теплым.
Было теплым от неспетых песен,
Таким теплым, что тепла хватало
Растопить снежинки на крыльях
И оттаять снег вокруг тельца.
Птица больше не пела. Но
От ее помертвевших крыльев
И от пятнышка на снегу
Поднималась навстречу снежинкам
Песня мертвой птицы.

Перевел с греческого Д. САМОИЛОВ

Человек, его тень и смерть

Пока под солнцем дышу,
все равно я
Над тенью своей
и над смертью буду.
И тень моя
— черное чудовище! —
всюду
вослед поползет
подо мной,
подо мною —
Вот так же, как смерть!..
Дано мне верить,
Мечтать,
идти от наитья к наитью,
Из века в век,
потому, быть может,

Что ждет меня все же
солнце в зените,
Когда я напрочь
тень
уничтожу,
Когда,
словно тень,
растопчу
смерть!

Корни и крылья

Что ж ты, жизнь моя,
жизнь!
Ты, по милости бури
и бедствий,
Уцепилась корнями
от края родного
вдали...
Сколько б гнездышек птичьих
приют у тебя ни нашли,
Скольким песням
в ветвях твоих горьких
ни петься,
Все ж от участи дерева
тебе некуда деться...
Кто слышал, чтобы корни
обернуться крылами
могли,
Чтобы корни, плеснув, унесли тебя
в небо и детство?!

Среди травинок

Некогда я мечтал
Вырасти, точно ель,
Взгромоздясь на гребень
моего века.
А теперь я так рад, что дышу
с травинками вместе...
Дорого им, что они
Первыми узнают
О весне зеленые вести,
Что они прикрывают могилы,
Все могильные ямы,
Даже те, что корнями вырывают,
рушась,
Могучие ели...
Дорого им, что они

Кожу земли зеленят,
Что по капле
Поют
Огромное солнце...
Но всего им дороже,
Что они обнимают ноги
Крепких детей земли,
Тех, что по светлой росе,
Рослые, точно ели,
Устремляются, громоздясь,
На гребень своего века.

Перевела ЮЛИЯ НЕЙМАН

Птица задает вопросы

1

— Откуда этот яд в тебе,
змея?
С чего берется он,
с чего родится?
— Да только оттого,
что вижу я,
как ты летаешь надо мною,
птица!

2

— Скажи, паук,
ты паутину ткешь
и ниточку за ниточкой ведешь,
сплетая от стены и до стены,—
а из чего?
— Из мрака и слюны!

3

— Для взлета,
для полета
целый век
мы ищем подходящие решенья.
Какие из них хуже, человек?
— Я думаю — готовые решенья!
— А где к решенью лучшему
пути?
— Найти их надо, птица. Да, найти!

Перевел ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ



Рисунок А. Тарана

ТАСЯ

ПОВЕСТЬ

I

В одной из московских хирургических клиник закончился ремонт. Врачей не было. Среднего медперсонала — тоже. И больных не было. К их приему только готовились. Больные должны были поступить вот-вот...

За окнами клиники — огромного, стандартного здания — лил дождь вперемешку со снегом. Скользили люди по мокрой листве лип и кленов. На асфальте даже сухие листья становятся скользкими.

Запотела под холодным дождем черная вывеска клиники. Запотели стекла на дверях и окнах. Запотели четырехгранные, без архитектурных излишеств колонны перед входом...

На пятом этаже, в безнадежно длинном коридоре, мыла пол немолодая грузная женщина. По-девчачьи подоткнув подол халата, босыми мохлястыми ногами ступала она по вымытому, перенося ведро и тряпку вперед. И вновь терла, терла паркет, отмывая его от известки и масляной краски, отчищая наждаком и бритвой. Скоблила, терла, мыла, опять скоблила и вновь мыла.

Рядом на этом же этаже, в пустой палате, сидели девочки. Пять девочек. Вернее, девушек. Ели колбасу с хлебом, пили чай, смеялись.

Все пять — неудачницы. Законченные неудачницы. В позапрошлом и в прошлом году не поступили в мединститут. И в этом — не поступили. Работают санитарками. Или проще — нянечками. Говорят, что так легче поступить...

Девушки говорили о всяком. И о таком, например:

— А слышали про новый спутник? Девяносто третий или девяносто пятый! Не помню! Здорово, правда?
— Подумаешь! Ну и что!
— А еще какую-то межпланетную станцию «Венера» опять запустили, читали?
— А-а!
— Ну и что!
— Их сейчас каждый день запускают!
— Девочки! — вдруг сказала одна из них. — А ведь тетя Тася полмает. Неудобно как-то. Мы тут... А она...
Кто-то хихикнул.
Кто-то сострил.
— Но она же старше нас...
— Можно подумать, что тете Тасе в институт поступать! Ей и положено... Подумаешь, старая бабка! Что ей еще делать!
И опять кто-то хихикнул, кто-то сострил...
И опять очень часто повторялись слова: «подумаешь», «подумать», «думаю...» Так часто...
А за окнами шел дождь. И вяло шелестела листва под осенним дождем и ветром. Октябрь. Дурная погода...

2

Октябрь считают месяцем не лучшим. Осень еще не прошла и зима не наступила. Иногда и лето проглянет теплым хорошим днем, и сырой весной запахнет, а то ударит мороз, снег запорошит улицы — вроде бы вот и зима, а потом, глядишь, опять все растает, снова дождь, а то и весенняя непогода.

«Ни то ни се», — говорят об октябре, и, может быть, верно это, но не совсем. Октябрь на октябрь не похож.

В октябре соседствуют рядом дни, каких ни в каком другом месяце не встретишь, он особенно отличается от всех других, а значит, и есть в нем своя особая прелесть.

Лешка познакомился с ней в октябре. Как раз в октябре. Сорокового года.

В то время он, ныне известный хирург Алексей Архипович Дементьев, был человеком без определенных занятий. Просто родился в 1923 году. Просто учился в девятом классе 644-й московской школы. Просто скучал на уроках, отвлекался (смотрел в окно) и хватал лишь удовлетворительные оценки по всем предметам, и то, как считали педагоги, чисто случайно, с помощью хорошо подвешенного языка.

Так вот в то время...

— Тася, — сказала она. — Твоя соседка, комната напротив. Очень рада познакомиться.

Лешка ничего еще не знал в этой огромной квартире, куда они переехали, и вот узнал: есть Тася, напротив.

— А мы на Домниковке жили, а еще раньше — у храма Христа Спасителя, — сказал он. — Знаешь, как раз напротив Дома правительства. Храм взорвали, а нас переселили. На нашем месте Дворец Советов строят. Между прочим, за день до взрыва мы на колокольню с папой поднимались! Если б ты знала, какой оттуда вид на Москву!..

Он приврал. Не за день до взрыва, а за неделю он поднимался на колокольню храма Христа Спасителя. Насчет вида на Москву не приврал. Вид действительно отличный!

Это было в пору, когда он влюблялся во всех. За день Лешка мог влюбиться в пять девчонок и еще в нескольких взрослых женщин на улице. И во всех горячо и искренне, как это может быть только в семнадцать

лет. Одновременно он беззаветно любил свою учительницу зоологии Нину Александровну — единственную молодую учительницу из всех, киноактрису Караваяеву из фильма «Машенька», Дину Дурбин, Янину Жеймо, Людмилу Целиковскую и, конечно, исполнительницу главной роли в иностранном фильме «Большой вальс», фамилию которой не запомнил.

Но он был робок в своей любви, никогда в ней не признавался, и поскольку Тася пришла сама и сказала, что она — Тася, Лешка влюбился в нее.

Она поражала его всем.

Лешка, например, читал «Вечернюю Москву» и бредил мировой революцией. Тася не читала газет, не думала о мировой революции. Она связала Лешке варежки на день рождения и, когда дарила их, сказала: «Я еще маленькая была, Вове, своему брату, такие же связала. Он в Испании погиб...»

Лешка, например, терпеть не мог стихов и читал только взрослые серьезные книги, вроде Мопассана. Тася читала только детское — Кас-сия, Тайца, Чарушина, Пантелеева и вдруг декламировала ему какие-то непонятные взрослые стихи:

И двух довольно!
Пожалуй, стоп?
Взгляни, как вольно
Шумливый сноп
С копны от ветра
Скользнул в напев
И в лоне метра
Посеял сев!
Уже и всходы
Из глубины
Устремлены
На зов природы...

И такие:

Ох, и сколько ж, сколько строчек,
Черных букв и черных точек!
На веселье? На беду?
Я на строчки
Упаду.
Вдоль по строчке
Я пойду,
И в глубь строчки
Я войду.

— Правда, красиво? — спрашивала она.

— А чье это?

— Не скажу! — лукавила она.

— Правда, чье?

— Ты его знаешь, и он тебя — тоже! В общем один человек, а кто, не скажу. Он просил не говорить, что пишет стихи...

Лешке хотелось поразить ее, и он вспомнил, что его отец тоже писал стихи. Когда-то писал. Но как узнать, что он писал?

Вечером он долго допрашивал отца. Как ему казалось, хитро допрашивал. И все же что-то выпытал.

А на следующий день читал ей:

Пусть память светлая
О друге детских лет
Останется в тебе
И будет жить всегда!
Пусть дружба верная,
Как этот мой портрет,
Не затеряется нигде
И никогда!

— И все? — спросила она.

— Другого мне папа не показал,— извиняясь перед Тасей, сказал Лешка.— Может, он и еще что-то писал. А это, говорит, давным-давно написано. Чушь, говорит, младенческая. Он даже сам смеялся, когда читал мне...

— А ты знаешь, очень хорошие стихи,— сказала Тася.— Жалко, что твой папа не стал поэтом.

Лешка считал, что писать стихи — дело несерьезное. Но Тася была Тасей, Тася почему-то любила стихи, и, наверно, потому Лешка был счастлив, что и его отец не чужд поэзии.

Они ездили с ней на Всесоюзную сельскохозяйственную выставку, и Лешка таскал Тасю по павильонам, восхищаясь нашими достижениями.

Она смотрела, читала, слушала, а потом говорила: «Пойдем, а-а?» И они шли к коровам и свиньям, овцам и лошадям и долго, очень долго стояли там, потому что это ей почему-то нравилось. И еще были пруды, где плавала всякая птица и играла рыба. Они Тасе тоже нравились. И там она могла торчать часами.

Тася жила с женой погибшего брата. Она училась в техникуме и получала стипендию, чему Лешка страшно завидовал. Он каждый день после школы прибегал к ней в комнату, и они сидели вдвоем до вечера. До тех пор, пока вернется ее тетя Маша. До тех пор, пока придут с работы его отец и мать.

Тася не была красивой. Лешка смотрел на нее и без конца трепался. Болтал то есть. Ему очень хотелось быть перед ней умным, и он сыпал что-то в этом роде. Ему, в самом деле весьма выносливому, очень хотелось быть перед ней сильным, и он говорил что-то на этот счет. А на деле... Ему, ни разу не стрелявшему, не бросавшему гранату, не надевавшему противогаза, не делавшему перевязок, очень хотелось быть смелым, и он называл себя полным значкистом — «ПВХО», «Ворошиловский стрелок», «ГСО». И, самое удивительное, она, кажется, верила.

Она ему очень нравилась. Первого июня сорок первого года, когда они сидели в ее комнате, Лешка поцеловал Тасю. Не в губы, не в щеку, а в плечо — в родинку на плече.

Она не удивилась, не дала ему по физиономии, чего он ждал, а только сказала:

— Зачем? Ведь я скоро выйду замуж...

Он не поверил ее словам.

— Да, за Колю Самохина, из дома номер десять. Ты же его знаешь...

Он ничего не знал. Он просто убежал из ее комнаты и много дней бежал от нее. Потом успокоился. В конце концов не одна Тася на свете! И не одну ее он любил!

Двадцать второго июня она сама пришла к нему.

Спросила:

— Ты почему не заходишь?

Он зашел.

— Слушай! — сказала она почему-то шепотом.— Молотов говорит!

Радио передавало:

«Граждане и гражданки Советского Союза!

Советское правительство и его глава товарищ Сталин поручили мне сделать следующее заявление:

Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города — Житомир, Киев,



Сергей Алексеевич Баруздин родился в 1926 году в Москве. Участник Великой Отечественной войны. В послевоенные годы заочно окончил Литературный институт имени Горького.

С. Баруздин — автор более пятидесяти книг для детей и юношества, а также получившего большую известность романа о войне — «Повторение пройденного». В журнале «Москва» были опубликованы повести С. Баруздина «Новые Дворики» и «Верить и помнить», заметки о С. Я. Маршане.

вверху и внизу — ели и сосны. И замирающие к осени деревья и кустарники не все сбросили листву. На одних она еще есть — сухая, шелестящая, на других — зеленая, как летом, только немного поникшая, опустившаяся вниз к земле. И лопухи, и брусника, и заросли малинника — все еще зелено в эту пору. А тут рядом сорняки какие-то — они тоже зелены. И пруд, бывшая лужа, тоже зелен. Пруд цветет, и зелень прибывает к берегам. На пруду при малейшем ветерке — зыбь, как на море, но зеленые краски от этого не исчезают, и даже желтые листья, плавающие в воде, не меняют их, а скорее оттеняют.

— Хорошо! — произнес Коля.

Он сейчас его сосед по траншее.

— Когда фрицы молчат, всегда хорошо, — согласился Алексей.

Он уже три месяца не Лешка, а Алексей. Точнее, даже не Алексей, а просто по фамилии: Дементьев.

И у них, верно, только второй относительно тихий день. Они с Колей уже три месяца на фронте. Живы. Вырывались из-под Смоленска — вырывались. Сдавали и вновь брали Ельню — сохранились. Опять отступали и вот теперь сидят на берегу узкой, только начинающейся в этих краях Москвы-реки, совсем близко от дома, сидят в траншее на опушке леса, смотрят на противоположный, спокойный сейчас берег, прижав винтовки к брустверу. Кажется, уже сто лет прошло, как началась война, и странно, что они с Колей Самохиным живы, даже ни разу не ранены.

Они пошли с ним в военкомат двадцать второго июня вместе. Вместе приходили двадцать третьего. И двадцать четвертого, уж раз так случилось, что в прежние дни ходили вместе. Третьего июля их взяли. И они

Севастополь, Каунас и некоторые другие, причем убито и ранено более...»

Тася молчала.

Лешка не знал, что сказать.

Тасина тетьа Маша была в магазине. Ленькины родители были дома.

Он побежал к ним:

— Слышали?

— Слышали... И сиди, пожалуйста, дома! — раздраженно сказала мать.

Он сидел, слушал опять и опять радио.

Вновь постучалась Тася:

— Я очень волнуюсь, что нет тети Маши...

— Посиди, Тасенька, с нами, — сказала мать. — Вместе как-то легче...

3

В лесу было сумеречно, с утра сумеречно, словно дело шло к вечеру. Висела над лесом осенняя хмарь.

И все же тот, кто считает, что по осенней поре краски тускнеют, не прав.

Летом зелень не так чувствуешь, как глубокой осенью. И сейчас в лесу ее, зелени, кажется больше чем летом. По-молодому свежая трава и мхи, крапива, не пожелтевшая, а лишь чуть почерневшая с краев листа, немного пожухлая, но зеленая, и раскидистые — справа и слева, спереди и сзади,

попали в одну часть. В один взвод. Не на фронт, а на Таганку, в некогда обычную фабрику-кухню. Там был сборный пункт. И только уже в августе — пекло на Десне, потом под Дорогобужем и под Ельней, Спас-Деменском и Ново-Дугиним.

До войны он почти не знал Колю. Встречал во дворе, на улице, у соседнего дома встречал, когда ходил в домоуправление: оно как раз там было — в доме десять. В общем, видел, и все. Потом поразило: Тася выходит замуж за Колю. Стал присматриваться. Парень как парень. Красивее, конечно, его. Но как и что было у них с Тасей? И почему он ничего не видел?

Теперь он знал Колю как самого себя. Не трус. Даже — отчаян. За три месяца сорок первого можно многое увидеть в человеке...

И лишь об одном Алексей не знал. И не спрашивал Колю ни разу. Не знал, почему он сам ничего не говорит о Тасе. И писем от нее нет. И сам ей не пишет. Письма получали и писали всегда вместе, и Алексей знал бы...

Тихо, тихо сейчас здесь. Немецкий берег в дыму. Все горит и все разрушено. Перестрелки и взрывов почти не слышно. Тихо.

— А знаешь, пословица есть такая старая,— сказал Коля.— Не помню, от кого слышал, но вспоминал много раз, и сейчас вспомнил: «Бог создал землю и небо, а черт — Ельню и Дорогобуж создал».

Алексей промолчал.

— Ты что молчишь? — спросил Коля.

— Просто смотрю...

Алексей смотрел на тот берег. Среди дымов и тумана пробивался зеленый цвет. Видно, люди сеяли озимые, даже не подозревая, что немец придет сюда.

Озимые уже поднялись, зазеленели наперекор осенним краскам и войне. На фоне светло-зеленого поля ближний лес стал как бы двухэтажным. На первом этаже — серо-белый цвет. Это березы с опавшей листвой, и клены, и осины, и ольха, и кусты орешника, и черемуха. Второй этаж, а может, даже второй и третий,— неподдающиеся времени года сосны и ели, густо-зеленые, темные рядом с полем, темные над голыми деревьями, сбрасывающими по осени листву. Второй этаж за полем с озимыми красив и величествен, юн и могуч...

— Коль, а Коль! — вдруг сказал Алексей.

— Что?

— В лесу здорово, правда? И вообще красиво, если б не война. А-а?

— Ничего,— согласился Коля. Потом почему-то добавил: — А я о ней, о войне, между прочим, никогда не мечтал...

— А я, ты знаешь, мечтал. Думал: вот — настоящее. В общем... Я не о том сейчас... Вот на поля те смотрю, на лес. Странно, что так красиво все, а тут — война... И немец до самой Москвы допер!

— В лесу лучше лежать, чем в поле. Ясно, лучше! — довольно произнес сосед справа.

В лесу было суше, чем на проезжих дорогах и проложных тропках. На дорогах и тропках грязь несусветная. Машины шли, танки, артиллерия, обозы. Месили грязь, обдавали грязью. Люди шли, скользили в разные стороны, чертыхались — тоже месили грязь.

Тут, в лесу, совсем не так. Больше листвы под ногами, больше травы и мхов, больше корней и хвои. Мхи мягкими островками тянулись вдоль корней деревьев, желто-серые иголки елей и сосен устилали землю. Деревья прикрывали землю от дождя, и влаги было меньше.

Лес, битый бомбами и снарядами, изрешеченный пулями и осколками, вроде бы и замер. Замер в ожидании чего-то важного, существенного. Может, зимы? Или нового немецкого прорыва? А может, он, лес,

просто думал? О судьбе своей, о жизни и о людях, которые иногда мало думали о нем?

На противоположном берегу раздался какой-то треск, потом шум и хрип, и тут мощный громкоговоритель откашлялся и произнес:

— Русские! Слушайте! Сейчас к вам обратится генерал Блюментрит.

— Кто?

— Что это за генерал?

— Врут они все, фрицы! Нет такого генерала!

— Откуда знаешь? Может, и есть...

— Генерал-то немецкий! Мало ли их!

Опять хрип, опять треск и шум, и вот уже немецкая речь в репродукторе. Ее перебивал прежний русский голос:

— Господин генерал говорит: по поручению германского командования я обращаюсь к вам, русские солдаты и офицеры, с предложением прекратить сопротивление. Мы высоко ценим ваше мужество и стойкость. Но сейчас, когда доблестные германские войска вплотную подошли к Москве, ваша стойкость бессмысленна...

Наш берег, наш лес тоже загремел радиоустановкой:

— Бойцы и командиры! Друзья! Передаем обращение Военного Совета Западного фронта:

«Товарищи! В час грозной опасности для нашего государства жизнь каждого воина принадлежит Отчизне. Родина требует от каждого из нас величайшего напряжения сил, мужества, геройства и стойкости. Родина зовет нас стать нерушимой стеной и преградить путь фашистским ордам к родной и любимой Москве...»

— Вот тебе и перестрелка,— сказал Коля.

И вновь все замолкло. И за рекой, и тут — в лесу.

Звуки осеннего леса редки и потому особенно слышны сейчас, когда все стихло вокруг. Стук дятла слышен. Голос еще какой-то пичуги, одинокий и тоскливый голос,— слышен. Может, это ореховка или синица? А может, шур или клест? И — писк комара слышен. И — еле слышный вздох лягушки в луже. И — тихое, только по ветру, шуршание умершей листвы на дубах.

И запахи... Запахи сырости и дождя, растаявшего снега и прелой листвы похожи на грибные. Вкусные грибные запахи!

А они и в самом деле лезут еще из-под земли — грибы. Белые и поганки. Мухоморы и подберезовики. Валуи и — на сохранившихся сухих местах — армий лисичек. Вот почему, оказывается, пахнет грибами! Здорово пахнет! Жаль только, что не до грибов сейчас...

В лесу сосредоточивались солдаты и техника. Говорили, что подходят войска из Сибири, с Урала, даже из Средней Азии. Говорили, что вот-вот, после долгих месяцев отступления и обороны, будет наш прорыв. Говорили, как всегда, многое, и чаще всего о том, о чем мечтали... А как будет? На деле будет? А с другой стороны — Москва-то рядом, совсем рядом...

В траншею спустился командир взвода.

— Приготовиться!

— Сволочи эти фрицы! — произнес Коля.— А я-то, дурак, думал...

— Что?

— Думал, сменят, в деревню махну. Девочка там одна у меня, понимаешь. Бабенка — первый сорт!

С немецкого берега ударили орудия и минометы. Затем через Москву-реку вброд двинулись танки с автоматчиками на бортах. И самоходки. И бронетранспортеры. По единственно уцелевшей переправе, прыгая по плохо сложенным бревнам, затрещали мотоциклы. Наш берег молчал, словно сдерживался. И вдруг, когда, казалось, немцы уже вот-

вот вплотную подойдут к траншее, наш берег заревел пушками, минометами, ружейными и автоматными выстрелами.

Немцы откатились назад, но ненадолго. К вечеру повторилось опять то же...

...Их сняли с передовой глубокой ночью. Спать почему-то не хотелось. Алексей ворочался в землянке с боку на бок. И мысль: «А как же Тася?» — не выходила из головы.

«А как же Тася? — спросит он сейчас Колю. — Ведь вы пожениться хотели?..»

И Коля ему, наверно, ответит:

«Знаешь, война! Пришлось отложить! Вот кончится, тогда...»

Надо спросить! Надо, тем более что Коля рядом, тоже не спит, курит.

Странно, что он сам все это время не думал о Тасе. Даже не вспоминал. А ведь они и в Москве в последние дни перед уходом в армию не виделись. Тетя Маша говорила, что Тася на казарменном положении и потому не приходит домой. Но неужели она не могла вырваться и проводить своего Колю, своего будущего мужа? Ведь всех кто-то провожал. И его провожали. Мать провожала и отец, который, наверно, с трудом вырвался с работы. А Колю провожала только мать. Тася не пришла. Может, он из-за этого и сердится на нее? И не пишет?

— Ты что не спишь? — спросил Коля.

— Не спится, — сказал Алексей.

— После такой заварухи не уснешь, — согласился Коля. — А фрицев все же долбанули.

«А как же Тася? Сейчас спрошу», — решил Алексей.

— Коль, — сказал он, — а Тася где сейчас?

— Тася? — Коля, кажется, удивился. — А кто ее знает? Может, в эвакуации где ошивается или в Москве...

— А как же?..

Алексей не договорил.

— Что, как же?

— Вы ж жениться собирались, кажется...

Коля рассмеялся:

— Чепуха! Сказал ей как-то по глупости, а она и поверила. Нужна мне ее любовь! Получше были, и то не собирался... Да и война, брат! Она все спишет!

4

Лето в этом году было сухим и жарким. Горело все. Дома в белорусских деревнях, подожженные карателями. Штабы немецкой армии, подожженные партизанами. Горели хлеба на немногих засеянных полях. Горели и сохли даже болота.

Тася видела это, пока шла. А шла она долго, вот уже почти два месяца. Через Птичь, через Березину, через Днепр и дальше к Инути. Большие города и поселки она обходила. И те, кто помог ей, говорили: «Пробьешься. Ты не мужчина — тебе легче. И с едой не пропадешь — лето!»

Это хорошо — быть не мужчиной. Сейчас хорошо. До войны она всегда завидовала мальчишкам. Потом — Коля... Вот взял обманул, и все ему нипочем. Мужчина! А каково ей! Когда пришла на курсы радисток, уже ни одному мужику не верила: «Все такие!» Иные обижались, и сейчас она понимала — искренне, а тогда она грубила, отшучивалась. Может, и зря порой? Может, счастье свое отбила? Может...

В конце октября прошлого, сорок первого, она была уже радисткой. Ее и еще двух девушек подняли с московского Центрального аэродрома

на Ленинградском шоссе и сбросили под Минском. Они работали в разных местах. Тася — в относительно спокойной деревушке, в десяти километрах от города, работала нормально и спокойно. Три месяца тринадцать дней работала. Ее даже один из руководителей минского подполья похвалил, неожиданно-негаданно появившись в их селе.

— Надо тебя в город перетянуть, — сказал он. — Такие люди нам очень нужны.

— А как называть вас? — спросила она.

— Просто Ваня, — сказал он. — Ваня Козлов. Иван Христофорович. Было б время, влюбился в тебя...

Она запомнила этого человека. Немногие мужчины вежливы, чаще — просто лезут. А ей было не до этого. Дай бог от немцев скрыться! То, что она не мужчина, — помогало. Иногда вредило, мешало, но чаще действительно помогало. В конце концов одернуть подвыпившего фрица легче, чем спрятать радиопередатчик и скрыть, что ты — лейтенант Красной Армии.

И в минской тюрьме было так, когда она попалась. Женщин били меньше, чем мужчин. И не так сильно, как мужчин. От приставаний тюремщиков можно было отбиваться. И потом уже совсем нетрудно, когда она действительно заболела. И в инфекционной больнице, куда ее спрятали друзья и откуда ей помогли бежать. И сейчас, за эти месяцы, пока она шла. Всякое было, но то, что она — не мужчина, спасало ее, и не раз спасало...

Тася шла по лесу, страшно пересохшему лесу. Почти не было ягод, которые спасали ее от голода. Возле болот и то не было. Она слизывала березовый сок, срывала на опушках щавель и кашку.

Чтобы не вызывать подозрений, она не захватила даже ножа. Только ржавый гвоздь в кармане платья. Им она отдирала кору на березе, им делала пометки на деревьях — на всякий случай, вдруг заблудится. Им чистила ногти, когда они становились нестерпимо грязными. Женщина всегда остается женщиной. Ей надо было во что бы то ни стало добраться к своим, а потом дальше — в Москву. Она улетела оттуда, и туда ей надо было вернуться.

Леса, по которым она шла, были разные. Глухие и редкие. Смешанные и еловые. Наполовину вырубленные, поросшие пугающими издали корневищами, и молодые, чуть нарождающиеся, которых она тоже боялась.

Странная это штука — страх! Всем своим нутром Тася понимала, что бояться — стыдно и позорно. С детства знала людей, которые ничего не боялись. Сейчас с трудом вспоминала их, чтобы подражать их бесстрашию и выдержке. Вспоминала, старалась, но ничего не получалось. Страх не проходил, когда она прыгала с самолета под Минском. Не проходил, когда работала на рации. Не проходил потом, в тюрьме. И еще, еще позже. И вот теперь эти сожженные войной леса, и нетронутые, и хмурые, особенно к вечеру, из которых неизвестно как выйдешь. Леса, в которых попадались немцы, и леса, в которых попадались наши. И то и другое не годилось для нее.

Тася имела отдельную легенду на каждые пятьдесят — восемьдесят километров пути, и ей надо было продвигаться вперед, на восток, юго-восток, северо-восток, но все равно туда — к Москве.

И она шла. С утра шла, с пяти-шести часов до двенадцати дня. Привал, отдых на час-другой и опять вперед до вечера. Каждая из легенд вела ее к Москве. Все легенды вместе складывались в четкий маршрут — маршрут, который вел к Москве. Она знала, когда слева от нее оставалась железная дорога Минск — Бобруйск, когда справа находился Жлобин, а опять слева (значит, бери скорей вправо!) штаб группы германских армий — Центр.

Карту Тася изучила прежде чем тронуться в этот путь, и если было бы нужно, она могла бы почти точно изобразить ее на бумаге. Карта была в голове. И только маленькая бумажка в кармане — адрес якобы немецкого офицера, с которым она «подружилась» в Минске, помогал ей восстанавливать в памяти эту карту.

Имя — «Бруно» в этом адресе имело свой смысл.

Буква «Б» значила — «Борки». Деревня Борки. Там были свои люди. Там Тася должна отдохнуть, взять что-то из еды.

Она вышла к Боркам рано утром, как только рассвело. Деревня, чудом сохранившаяся, раскинулась и влево, и вправо, и куда-то вперед. Обычно в такие большие деревни Тася не заглядывала, и сейчас перетрусилась, вернулась назад, в лес, спряталась в кустарнике. Вряд ли тут нет немцев! И как найдешь второй дом с края? С края от леса? Ведь там впереди тоже лес. И тоже избы...

В лесу было прохладно и приятно, словно дома. Может, потому, что она уже столько дней провела в лесу и привыкла к нему? Или просто здесь в самом деле хорошо. Высоченные березы, ласковые, нежные, неповторимые, — рядом. И заросли орешника. И ольха, и могучий клен на полянке. И трава под ногами, которая так и говорит тебе: «Ложись! Отдохни чуток!» И птицы — то пугливые, то беззаботные, то занятые своими делами, то любопытные — на каждом дереве, за каждым кустом. У них какая-то своя, видно, очень важная жизнь, и это — интересно. И на земле — муравьи, всякие жучки и паучки — у них тоже своя жизнь!

За лесом — межа, поле и потом уже — деревня. Зеленая, манящая своим видом деревня. Там, наверно...

Тася отогнала от себя эти мысли.

Говорила моя забава,
Моя лада, любовь и слава:
— Вся-то жизнь твоя — небылица,
Вечно с былью людской ты в споре,
Ходишь-ищешь иные лица,
ожидаешь другие зори...

Стихи, неизвестные, далекие стихи, как-то невзначай вспомнились Тасе, и она с удивлением подумала: «Как все правильно! И иные лица — правильно! Не надо их искать...»

Но тут же вспомнилось другое:

Говорят, в Тюмени
Любят есть пельмени...

Сейчас стихи о пельменях пришли, как страшное зло.

Видно, в самом деле ей очень хотелось есть. Вспомнила, и горло перехватило, и слюна во рту. Пельмени, которые она ела единственный раз в жизни и то — в далеком детстве, не выходили из головы...

Тася вновь оказалась на опушке и направилась стерней к деревне. Решила: «Будь что будет. Второй дом с края. Второй... С края второй... Да, а какое сегодня число?»

Она стала вспоминать: «Четырнадцатого сентября я была в... «Правду» читала и «Красную звезду» за второе сентября. Пятнадцатое... Шестнадцатое... Овраг и там немецкие позиции — это семнадцатого, поза... нет поза-позавчера... Значит, сегодня двадцатое сентября. Двадцатое... Надо идти! Все равно надо! В случае чего...»

Пошла наобум влево — огородами, наконец проулком, между сараями, а после улицей. Вот и второй дом с края...

Дом как дом. Изба как изба. Вербка и клен возле палисадника. Скамейка без перекладины — остатки скамейки. В палисаднике кусты и пустые вскопанные грядки. Только одна грядка, правая, с ботвой картофеля. Калитка и чახлое крыльцо. На нем прибита подкова.

«Уже к счастью», — подумала Тася.

Она постучалась, а потом, как принято, открыла дверь — страшно скрипучую дверь в сени. Еще раз постучалась — теперь уже в главную дверь:

— Можно?

Дверь отворила женщина, не молодая и не старая еще, с растрепанными волосами и чем-то мокрым в руках.

— Я от Ивана Христофорыча, — сказала Тася.

— А кто такой Иван Христофорыч? Да вы заходите, заходите, милая...

«Значит, не сюда! — решила она. — Ошиблась!»

Тася уже решила повернуться и бежать, но вовремя удержалась:

— Разве что на минутку. А Иван Христофорыч...

— Не бойтесь, милая, заходите! Заходите! — повторила хозяйка.

Тася вошла в избу и обомлела. За деревянным столом сидел, откинувшись на лавке, немец в расстегнутом кителе. Он улыбался Тасе.

— Не обращайтесь на этого балбеса внимания, — сказала хозяйка. — Садитесь! Этот не очень вредный, да и по-русски ни слова не разумеет...

— Нет, я пойду, — настойчиво сказала Тася. — Извините! Пойду!

Она рванулась к двери, хозяйка — за ней:

— Подожди-ка минутку...

Хозяйка схватила что-то с печки и выскочила вслед за Тасей в сени.

— Вот возьми. Прохладно сейчас по ночам. И уходи скорее. Немцы замышляют тут что-то. Не сегодня-завтра...

В руках у Таси был платок, теплый, мягкий шерстяной платок.

— А я хотела... Спасибо!

— Постой еще минуту, я сейчас, — сказала хозяйка и вновь скрылась в избе. Оттуда донеслось:

— Майне либе, абер ман дарф дох нихт зо ланге! ¹

И:

— Сейчас, сейчас, подождешь!

— На вот тебе! На дорогу! — Женщина сунула Тасе какой-то сверток. — С богом! Уходи только скорее!

— Спасибо вам! Большое спасибо!

Тася выскочила из сеней.

«Какое, право, счастье, что она... Попадись здесь мужчина, немец придрался бы. Партизан, и все. А она сколько километров прошла. И сейчас вырвалась. Немец даже улыбался ей. Сволочь, идиот! Ничего он не понимает...»

— Но не успела она добежать даже до калитки, как за спиной раздалось почти шепотом:

— Хальт, хальт!.. ²

Немец в расстегнутом кителе выскочил вслед за ней. Тася дернула калитку и бросилась бежать. Немец догонял ее и, задыхаясь, продолжал шептать:

— Хальт, хальт!..

Она уже свернула в проулок между сараями, когда он нагнал ее.

¹ Дорогая, но нельзя же так долго! (Нем.).

² Стой, стой... (Нем.).

— Их либе дих, беграйфст ду, их либе! Цир дих нихт! ¹

Тася отбивалась, кусалась, ударила его, а он бормотал что-то и прижимал ее к земле.

...И опять она, как в детстве, подумала, что уж лучше бы она была мужчиной. Лучше бы погибла в первый день войны.

5

«В течение ночи на 18 ноября наши войска вели бои с противником в районе Сталинграда, северо-восточнее Туапсе и в районе Нальчика...»

«...На Центральном фронте 9 января наши войска вели бои на прежних направлениях...»

«...В течение ночи на 15 января наши войска в районе нижнего Дона, на Центральном фронте и на Северном Кавказе продолжали бои на прежних направлениях...»

Все это Тася слушала в госпитале. В госпитале, в Кунцеве, рядом с Москвой, где она пролежала октябрь, и ноябрь, и декабрь, и январь. Где и сейчас, в феврале, лежала.

Тася слушала сводки Совинформбюро, слушала другие вести с фронта, но она не знала, и тогда, в марте сорок третьего, не знала, двух документов, относящихся к прошлому году:

«21.9.42 года получил задание уничтожить деревню Борки. В ночные часы того же дня взводы 10 роты были инструктированы о предстоящем задании и сделаны соответствующие приготовления... Действия протекали в основном по плану. Лишь иногда должны были быть сдвинуты во времени. Этот сдвиг имеет следующие основания: на карте деревня Борки показана замкнутой группой домов. В действительности же оказалось, что это селение имеет протяжение в шесть-семь километров в длину и ширину. При рассвете мною был замечен этот факт, и поэтому я раскрыл окружение с востока и охватил деревню клещами. Однако всех жителей деревни не удалось схватить и доставить к месту сбора. Благоприятным оказалось, что цель сбора была до последнего момента от населения скрыта, на месте сбора царил покойствие, и число охранников ограничивалось минимумом. Команда могильщиков получила лопаты лишь на месте экзекуции. Тем самым население оставалось в неведении о предстоящем. Двое мужчин, пытавшихся бежать, упали после нескольких шагов под пулеметным огнем. Экзекуция началась в 9.00 часов и закончилась в 18.00. Из 809 собранных 104 были отпущены. Экзекуция протекала без всяких происшествий и оказалась вполне целесообразной. Изъятие зерна и инвентаря проходило планомерно.

Привожу численный обзор экзекуции. Ей подверглись 705 лиц. Из них мужчин 203, женщин 372, детей 130. Число собранного скота может быть приведено лишь примерно: лошадей — 45, рогатого скота — 250, телят — 65, свиней и поросят — 475, овец — 300...

При действиях в Борках было израсходовано винтовочных патронов 786 штук, патронов для автоматов 2496 штук. Потерь в роте не было.

И. о. командира 10 роты 15 полицейского полка обер-лейтенант Мюллер» ²

«...Настоящий патриот тот, кто смело смотрит в глаза смерти. Не надо слез. Не надо печалиться. Наша кровь не прольется даром. Крепитесь, крепитесь, не бойтесь и не отчаивайтесь. Эх! Жить чертовски хочется! Мстить этим варварам — вот что нужно делать. Ну, если бы мне уда-

¹ Я люблю тебя, понимаешь, люблю! Не ломайся! (Нем.).

² Донесение захвачено при разгроме штаба полка в декабре 1942 года в районе Россоши войсками 3-й танковой армии под командованием П. С. Рыбалко. (Перевод с нем.).

лось... Можете представить вы, с каким бесстрашием, с каким остервенением и бескрайним наслаждением я бы уничтожал этих гадов ядовитых, а ведь я два года назад не мог зарезать курочку. Жить, жить! Вот как хочется! Да не прятаться за спину товарищей, а с оружием в руках в ежедневной борьбе с ненавистными шакалами — в этом вся прелесть и вся цель жизни. Жить для Родины, для советского свободолюбивого народа, бороться за честь и свободу его — в этом вся прелесть жизни, это в данный момент идеал жизни.

Горячий привет живым, которые с оружием в руках отстаивают от лютого врага свою честь и независимость. Привет друзьям, товарищам...

Ваш Ваня Козлов». ¹

6

Ясное, не по-февральски чистое, голубое небо. А на фоне его — ели, ели, ели. И все в шишках. Тася никогда не видела столько шишек, будто нарочно развешенных на вершинах высоких деревьев. Кажется, что хитрые ели специально держат их повыше от земли, подальше от людей.

Шишки висят пучками, желто-бежевые под солнцем, ощутимо заметные на хвое — по пять-семь штук.

Сороки садятся на ели, опускают длинные клювы к шишкам — никак достать не могут. Приходится цепляться прямо за шишки — так клевать удобнее. Ветки качаются, осыпая снег, но это ничего. Когда нет сорок, клесты и синицы, чечетки и ореховки резвятся на елях, а иногда и пуночки — северные воробьи поднимаются на еловые вершинки и тоже ударяют клювами по шишкам.

Война войной, но как и прежде прилетают пуночки вместе с другими северными птицами зимовать в подмосковные леса. Здесь погода мягче и корма больше. Вот и летят они каждый год по знакомым маршрутам так же, как наши подмосковные птицы, перебирающиеся на зиму в более теплые края. Каждому свое: одним здесь, под Москвой, тепло, другим и на юге холодно.

Обычным воробьям зима нипочем. Они не взлетают на ели, а прыгают по снегу или болтаются на ветвях кустарника и небольших деревьев. И снегири, разжиревшие, довольные, ходят внизу, куда нет-нет да и падают шишки и семена. Походят-походят по снегу и на невысокий кустарник вспорхнут. Там посидят, покачаются, вроде отдохнут, и опять вниз — на снег, вслед за упавшей еловой шишкой. А может, и не за ней. Под елями мало снега, даже трава прошлогодняя торчит, и там корма хватает.

Наверно, когда-то здесь были настоящие леса, а теперь остались только эти ели, да вдали роща с редкими, зеленоватого цвета стволами осин, да еще справа у оврага ивы, на которых и сейчас, зимой, издали видны большие зеленые шапки.

Тася в последний раз вышла на прогулку. Завтра ее выпишут из госпиталя. Она уже совсем отошла. И от тяжелой контузии, полученной при переходе линии фронта, и от всяких болячек, которые нашли уже тут, в госпитале. Отошла и вновь может жить, радоваться, быть там, где была...

Радоваться? Если б не эта врачиха, можно было бы радоваться. А эта сказала вчера, как отрубил: «На выписку, но никакой речи о службе в армии быть не может! Все!»

Отвратная баба! Даже не баба, а мужик в юбке! Страшно гордится, что на ней форма, даже халат не застегивает, показывает всем: «Вот, мол, я какая!»

¹ Из предсмертного письма И. Х. Козлова, написанного в Минской тюрьме 27 декабря 1942 г.

Тася ходила среди деревьев по двору госпиталя и думала: «Дотянуть бы до завтра, до утра, а там...»

Стволы елей покрыты инеем. И хвоя в снегу, в инее. Когда подойдешь ближе, тронешь рукой ветку — видно.

Сейчас темнеет все позже и позже, а когда Тася попала сюда, около пяти, уже было совсем темно. Окна в палате занавешивали рано, выходить на прогулки ей не разрешали, и она только днем видела через окно вершины елей с шишками. И то, когда не было мороза и стекла оттаивали.

Но, видно, человеку всегда всего мало. Лежала в палате, мечтала: «Хотя бы гулять разрешили! Размялась бы, воздухом надышалась!»

Сейчас хочется скорей в Москву. Отсюда Москвы не видно, хотя она рядом, совсем рядом...

Наутро она получила бумаги, вещи и сухой паек. В бумагах указывались статьи и пункты, по которым она освобождена от воинской повинности («Повинности! Глупо!»), и говорилось о направлении ее в распоряжение райвоенкомата. В военкомат она пойдет, обязательно пойдет и добьется своего. Больше Тасе идти некуда...

Тетя Маша умерла после воздушного налета от осколка еще в прошлом году. Тася долго и много ей писала, уже неживой, и наконец получила ответ — от соседки... Идти в квартиру, где ее нет, не хотелось. Свои и все же чужие люди! О чем с ними говорить? Мать Коли в доме напротив. Но ведь она не знает о Тасе. Видно, не знает, раз Коля...

О Коле ей не хотелось вспоминать. Подумала, опять подумала о Москве. Ведь Тася не была в Москве с сорок первого. То, что было после Минска, не в счет. Машина с аэродрома — на улицу Дзержинского, а потом — санитарная, сюда, в госпиталь. Москва только мелькала в ее глазах, только мелькала...

Сейчас Тася шла по Минскому шоссе. Утренний, чуть морозный туман висел над дорогой и над Москвой, которая чувствовалась, не виделась, а именно чувствовалась впереди. По шоссе двигались и двигались воинские колонны. Танки шли, машины, артиллерия, конные части и санные обозы. Шли и шли туда — на фронт.

Все шли туда, и только она одна, кажется, шла в обратную сторону. Справа и слева заснеженные поля и редкие деревья. Дальше, ближе к Поклонной горе, — чаще, а потом уже целый лесок, чуть в низине, и там отдельная дорога. Тася невольно встрепенулась и даже шинель и шапку поправила на себе: кто не знал, что эта дорога вела к дому Сталина...

Дальше Тася шла как бы к себе домой. К дому у Дорогомиловского рынка, к дому, которого теперь не было, как не было тети Маши. К детству, которое прошло. К первой любви, и даже не одной, а двум сразу — к Коле и Леше, которых тоже нет сейчас здесь...

Улицы, погрязшие в снегу, гудели воинскими частями и редкими машинами. Окна нехотя освобождались от ночных маскировочных штор, открывая кресты, кресты, кресты — белые кресты на стеклах. Белые кресты на каждом окне. Одиноким людям появлялись на улице, занимая очередь у булочных и продовольственных магазинов. Витрины были прикрыты мешками с песком. Вдоль стен стояли ящики с песком. На стенах мелькали надписи и стрелки: «В бомбоубежище».

Странно, что она не была здесь так долго, а жизнь без нее шла, и вот сейчас идет, и она, Тася, — в общем-то посторонний человек здесь, которому даже некуда приткнуться, кроме райвоенкомата.

Да, она пойдет сейчас в райвоенкомат и не покинет его, пока не получит назначение. А если там откажут, сядет в троллейбус или в метро у Киевского вокзала и поедет на Дзержинскую, — туда, откуда ее направили в подполье. Там в конце концов есть люди, которые поймут...

Чем ближе она подходила к Киевскому вокзалу, тем чаще появлялась

мысль: «А не свернуть ли направо? Хоть на минуту? Направо и налево? Просто пройти по улице, посмотреть на дом, а потом уже...»

И она не выдержала: свернула направо, потом налево и пошла к Дорогомиловскому рынку. Почему-то она даже ускорила шаг, будто ее ждали и она боялась опоздать.

Кто-то толкнул ее:

— Простите!

Кто-то задел мешком:

— Ишь, раззевалась!

Кто-то, выпивший, выругался:

— А мы таких ППЖ...

Кто-то с сочувствием заметил:

— Замерзла небось, девонька! Нос-то потри...

Возле рынка толпился народ, но Тася смотрела налево, где был ее... ее дом, и ее детство, и все — далекое, довоенное.

Рядом у какой-то палатки стояли люди. Все — мужчины, все в потертых шинелях, телогрейках и полушубках. С костылями, палками, пустыми рукавами, говорили и пили, пили и говорили, и еще спорили, так спорили, что пар стоял над палаткой. Видно, войну вспоминали, каждый — свое...

Не дойдя до палатки, Тася перешла на другую сторону улицы. На голых деревьях дико-голодно кричали вороны. Хрустел снег на тротуаре. Тошная собака лениво обляяла Тасю и тут же ласково обнюхала ее сапоги, лизнула правый носок и вяло поплелась за ней, но прошла несколько метров и остановилась. Остановилась в растерянности и непонятном ожидании.

Тася не выдержала, вернулась назад к собаке, сняла с плечей «сидор», стала развязывать его.

— Подожди, подожди, дурочка! Сейчас!

Собака виляла хвостом и терлась о ее ноги.

— Сейчас, сейчас,— говорила Тася, доставая из вещмешка буханку сырого смержшегося хлеба.— Н-а! — Она отломилась от буханки кусок, прямо с краю, с корочкой, и сунула собаке.

Та, обалдевая от счастья, схватила кусок, виляя хвостом и одновременно рыча, уронила его в снег, вновь, уже по-звериному жадно, схватила его и, поджав хвост, помчалась назад.

— Дурочка! — повторила Тася.— Ешь, ешь, никто у тебя не отберет...

И дом ее, бывший дом, был уже рядом. Спрятавшийся за большими красивыми домами — двухэтажный, деревянный, из почерневших от времени бревен. Бревна перекошились, и оба крыльца перекошены. Левое даже больше, чем правое. А ведь правое ее. Было ли так раньше? Может, и было. Нет, не было.

«А если зайти, к Алешиным родителям зайти? — мелькнула мысль. Но она тут же отогнала ее: — Зачем? Нет, ни в коем случае...»

Напротив стоял такой же дом — двухэтажный, чернобревенчатый, с перекошенными стенами. Это...

Тася окончательно решила. Нет, она не пойдет ни туда, ни сюда. Сейчас же — в военкомат!..

Позади себя она услышала скрип, чье-то тяжелое дыхание и голос, странно знакомый и почти незнакомый:

— Тась, а Тась! Это ты?

Человек, безногий человек катился по тротуару на подшипниках, отталкиваясь деревяшками.

— А я там еще, у палатки, тебя заметил, да не решился...

— Коля!

Он был пьян. Тася сразу же заметила это: даже на тележке он покачивался и смотрел на нее снизу мутными, глупыми глазами.

— Отвоевался вот... Под корень подрубили! — произнес он.

И опять глупо, удивительно глупо, засмеялся.

Тася хотела нагнуться к нему и почти нагнулась, но вдруг выпрямилась, сама не зная почему. Поправила вещмешок за спиной, уцепилась за ляжки.

Теперь они молчали, долго молчали. Тася не могла произнести ни слова. И Коля только смотрел на нее. Вытер пот со лба, провел рукавом по лицу и — смотрел.

— Может, зайдём, а? Мать будет рада, — произнес наконец он. — А то...

— Конечно, обязательно зайдём! — вдруг сказала Тася. — И как тебе не стыдно так...

Странное это было сейчас слово — «зайдём». У двери она сняла его с тележки, обняла и пыталась поднять. Он отбивался, говорил: «Сам, сам!», а она продолжала его тащить на второй этаж, положила там, бросилась вниз за тележкой и опять наверх. Казалось, вот-вот у нее сердце лопнет...

— Я буду любить тебя, нянчить, на руках носить, родной мой, родной! — шептала она ему в первый вечер. — Только не надо так! Ничего страшного! Ну, ноги... Разве в ногах дело...

— Ага, — бодро отвечал он. — Тась, а деньги у тебя есть? Сбегай, купи, а-а? Ну, что тебе стоит! Ради встречи нашей. А-а?

Она побежала. И в этот вечер, и потом еще много раз бегала.

— Пей, только дома пей, умоляю! И не так много! Ладно? Вот и я с тобой... Только не ходи туда, в забегаловку эту!..

Тася готова была выпить сама больше, чем могла, лишь бы меньше досталось ему.

В другой раз:

— Ты же любишь меня, Коленька, верю: любишь! Я вижу, понимаю!..

— Откуда ты знаешь, что люблю? А-а? Ты, лучше чем рассуждать, налила бы. Ведь я видел: оставила! А-а? По маленькой. Хочешь, давай вместе!

...Тася выдержала месяц и еще пять дней.

Когда она уходила, Елена Николаевна, мать Коли, говорила:

— Что же теперь делать-то, Тасенька? Хоть в дом его какой определить инвалидный! Хоть куда! Сил моих больше нету!

Елена Николаевна выглядела совершенно беспомощно, растерянно.

— Я постараюсь, — пообещала Тася.

Через день она принесла Елене Николаевне направление.

— Вот, там ему будет хорошо. И работать будет. А я...

По радио передавали о митинге женщин — матерей и жен фронтовиков в Колонном зале...

Тася уходила. Даже не попрощавшись с Колей, уходила.

7

В октябре и ноябре в сообщениях Совинформбюро не раз упоминались знакомый всем Гомель и малознакомая Речица.

«...В районе южнее и севернее Гомеля наши войска прорвали оборону противника, форсировали реку Сож и, продвинувшись вперед на несколько километров, ведут бои непосредственно перед Гомелем. На остальных участках фронта — усиленная разведка и артиллерийско-минометная перестрелка.

В течение 12 октября наши войска на всех фронтах подбили и унич-

тожили 127 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 90 самолетов противника...»

Это — из оперативной сводки за 13 октября 1943 года.

«...Южнее и юго-западнее Речицы наши войска, сломив сопротивление противника, овладели сильно укрепленными пунктами его обороны Красное, Храбрый, Ровное, Коростень, Подмостье, Демехи, Молчань, Капоровка, Будка, Андреевка, Романовка, Осиповка, Удалевка, Тихановка и железнодорожной станцией Демехи, прервав таким образом сообщение по железной и шоссейной дорогам Гомель — Калинковичи...»

Это — из оперативной сводки за 15 ноября 1943 года.

Тася не слушала сводок. Некогда было. И — сводки передаются для тех, кто в тылу. Но Гомель и Речица... Она шла по этим местам тогда... И вот сейчас вновь те же леса — обратный путь.

Она узнавала знакомый ручеек, и овражек, и балку, и дерево, на котором сохранилась пометка, ее пометка — гвоздем. Не узнавались многие деревни, но она хотела их узнать и находила что-то знакомое вроде бы в незнакомых местах. Кажется, вот тут она была, а здесь ночевала, а здесь...

Снег запорошил знакомое и незнакомое, а год — целый год жизни сделал свое дело. Бомбы и снаряды порушили дороги и деревенские улицы, изменили леса и овраги, и все равно она угадывала знакомое. И в незнакомом видела знакомое: это место она тогда обошла, здесь убежала — ей встретились немцы, в эту рожицу не решилась идти — казалось, там кто-то есть. И земля перерыта траншеями, и кустарник тот же колыхается. Еще дороги и еще, и опять все в памяти...

Вечером ее разыскивали. Искали, оказывается, больше часа. Пока она стирала, искали. Пока сушила белье, искали. И вот нашли, когда она свалилась — легла спать.

— Понимаешь ли, тебя сам командующий армией вызывает, — говорили девчонки. — Что ты наделала, Таська! Ты понимаешь, сам генерал...

Штаб армии был рядом, и она, не очень понимая что к чему, быстро собралась, доложила дежурной по прачечной и помчалась через рошу в соседнюю деревню.

В последние дни шел и шел снег. Он завалил дороги, сохранившиеся дома, землянки, окопы. В лесу снега было меньше, чем в деревнях и на дорогах, и снег тут был не такой — пористый, усеянный хвоей и листьями, сучьями и горелыми ветками.

Тася шла напрямик, по насту, и лишь изредка ноги ее проваливались. Трещали сучья, хрустел снег, взлетали с деревьев перепуганные птицы. Осторожные белки перемахивали с ветки на ветку. Одичавшие кошки, а их много было в эту пору в лесах, испуганно светили глазами в вечерней мгле и тут же уныло, почти по-домашнему, мяукали.

Она успела вовремя — к двадцати ноль-ноль, как приказывали. Около штаба собралось человек двадцать из разных частей. Оказалось, что вызвали не только ее.

Пока ждали, гадали:

— Говорят, вроде, награды будут вручать...

— Что ж, все может быть...

— А если выговора? Ведь все партийные...

— Почему все?

— А что, ежели какое особое задание?

— Английскую шинель тебе дадут, а не особое задание! Вот тогда и попрыгаешь на морозе!

Вызывать стали по одному.

Первый же выскочивший из штаба солдат крикнул:

— Правильно, ребятки! Ордена! Вот — «Звездочку» дали!

Тася решила, что это какое-то недоразумение. Ее никто не представлял ни к какой награде. Да и не за что. И вообще у них во фронтовой прачечной нет ни одной награжденной.

Нет, здесь что-то не так!..

Уже все собравшиеся у дверей штаба офицеры и солдаты получили награды, а ее все не вызывали.

На улице холодало. Поднялся ветер, замел снег. Недовольный часовой у двери поднял воротник полушубка, затопал валенками, но увидев Тасю в короткой шинелке и сапожках, виновато кашлянул и опустил воротник, проворчал:

— Поднимайся сюда на крыльцо, ветра тут меньше... Тоже за наградой?

Она и в самом деле замерзла, но опускать уши шапки было как-то неловко и танцевать перед часовым неловко, хотя ноги коченели. И еще — то ли от холода, то ли от усталости: бежала сюда быстро да и последние три ночи спать толком не привелось, — очень клонило ко сну.

— Не знаю, — сказала Тася, поднимаясь на крыльцо. — Думаю...

— Легко вам, бабам, награды даются! — сказал пожилой часовой. — Ночь с начальником — и медаль!

Он не успел отскочить в сторону, как получил неловкую пощечину от Таси.

— Ты что? Сбесилась? Б...! Знаешь, что за нападение на часового бывает? Вот я сейчас тебя... Вместо медали штрафбат заработаешь!

— А вы!.. Ты что, тоже о медали мечтаешь? — зло бросила ему Тася. — А за б... вот еще тебе! — И она со всей силой ударила часового по шапке.

Выскочил посыльный, назвал Тасину фамилию, удивился:

— Что тут случилось?

— Никак нет, товарищ младший лейтенант! — доложил часовой, поправляя шапку. — Ничего не случилось! Никак нет!

Тася вошла в кабинет командующего злая, даже не представившись, как было положено. Рядом с генерал-лейтенантом, протянувшим ей руку, стоял полковник, совсем еще молодой, похожий больше на лейтенанта, чем на старшего офицера.

— Замерзла? — участливо спросил генерал и обратился к полковнику: — Распорядитесь-ка, Дмитрий Никитич, по части ужина. И водочку пусть не забудут. А то замерзла наша героиня!..

— Это ошибка какая-то, товарищ генерал-лейтенант! — выпалила Тася. — Наверно, что-то перепутали...

— Перепутали? Нет, ничего не перепутали. Мы не путаем!

Генерал удивился. Только тут Тася увидела его лицо. Опухшие глаза и розовый румянец на щеках. Морщинистый лоб и вздорно, почти по-мальчишески вздернутый нос. Лысеющий затылок и ни одного седого волоса на висках.

Он начал читать. Фамилия — ее, имя, отчество — ее, год рождения, звание, должность — ее...

— Ну, как?

Кажется, она осмелела, даже перед ним — генералом, командующим.

— Вроде, я.

— А случай под Севском помнишь, в августе? На реке Нерусса?

Теперь она вспомнила, только теперь вспомнила.

— Так там ничего особенного и не было, товарищ генерал...

— А я и не говорю, что особенное. Немецкая рота из окружения прорывалась?

— Прорывалась...

— И ты первая заметила?

— Ага...

— И вместе с тобой вся прачечная заняла оборону и не дала немцам уйти за Неруссу?

— Почему «вместе»? Все...

— Ну, вместе. Но ты лично уничтожила семь немцев, в том числе трех офицеров?

— Я не считала, товарищ генерал... Может, и семь...

— Так вот за это и получай,— сказал командующий.— Отечественная война второй степени. И поздравляю!

— Служу Советскому Союзу! — бодро отрапортовала Тася.

— Ну и хорошо,— сказал генерал.— А теперь пошли ужинать. Жрать охота!

В соседней комнате, на обычном крестьянском столе, покрытом стиранными простынями вместо скатертей, были расставлены три тарелки, три прибора, банки с консервами — американской розовой колбасой, капуста, огурцы и водка. Ужинали тоже трое — она, генерал-лейтенант и полковник.

Тасе было страшно неловко, и она не знала, что делать. Что делать, когда командующий без конца повторял ей: «Да ты ешь, ешь!» Что делать, когда полковник наливал в рюмку, приговаривая: «А сейчас мы за вас — женщин, выпьем!» Что делать, когда сержант, обслуживавший их, как в ресторане, сбрасывал ей на тарелку горячее, аккуратно подправляя ножом и вилкой зеленый горошек, картошку и каперсы.

Тася виновато ковыряла в тарелке, осушала, как по приказу, рюмку за рюмкой, и когда командующий встал, вдруг почувствовала, что она совершенно пьяна.

Полковник опять подошел к ней, что-то положил на тарелку, сказал:

— А лицо у тебя хорошее и — глаза...

— Если не ошибаюсь, была лейтенантом, работала в подполье на спецзадании? Так? — спросил командующий.

— Так,— пробормотала Тася.

— Потом рядовой пошла во фронтовую прачечную. Верно?

— Верно,— ответила Тася.

— И мало того, подвиг совершила,— продолжал генерал.— Да, да, подвиг! Если б не наши дурацкие порядки с системой награждения, правда, Героя бы ей дать! И правильно было бы! Так вот за нее и за таких, как она, Дмитрий Никитич! Поехали!..

Генерал совсем распалился, а Тася как раз отрезвела.

— Спасибо!

Она чокнулась и даже выпила.

Дальше все было как в тумане.

Тася помнила только один разговор:

— А может, переночуешь? А, завтра и бельишко мне постираешь?

— Зачем, товарищ генерал?.. Что у вас лучше девушек нет? Зачем вам я?

— А если ты мне нравишься?

— Чему тут нравиться, товарищ генерал! Руки какие, посмотрите. Все разъедены! Аж кожа слезает...

— Я не о том...

— А я о том, товарищ генерал. Вы простите меня, конечно, но все вы такие. Говорите, клянесь. Иногда послушаешь, так вроде даже неженатые все, а потом...

— Ну, а все же?..

— Нет, я поеду. И потом... Вы видите, что я толстая?

— Ну и что?

— Нет, а почему, понимаете?

— Что значит — «почему»?

— Ребенка я жду, товарищ...

— Где ж это ты успела?

— Долго рассказывать...

И еще помнила, как ее усадили в относительно теплый «виллис» и как перед этим она гордо прошла мимо часового, впрочем, может быть, и не того, кому она дважды съездила по физиономии, а сменившегося, но это и неважно. Ее провожал сам командующий и полковник Дмитрий Никитович, тоже, видимо, важный человек в штабе армии, провожал...

8

— А знаешь, Василь Николаич, все же пустая это затея с фронтовыми прачечными, чайными и даже батальонами связи,— сказал полковник, когда они собирались уже спать.— Как там, наверху, не понимают?

— Почему, Дмитрий Никитич? Почему ты так считаешь?

— Характера русской женщины мы не учитываем. Вот почему! — продолжал полковник.— Русская баба, как ни смотри, по натуре своей однолюбка. Скольких я перевидел на своем веку. Есть, конечно, отклонения, но в массе своей... Привяжется к одному мужику, прилипнет и не отстанет. Пусть такой он или сякой, а всю жизнь проживет с ним, да еще гордиться будет!

— Это верно, пожалуй... А что наши с тобой, Дмитрий Никитич, не такие же? Разве нет? — сказал генерал.— Правда, моя гуляла в свое время, когда я на Халхин-голе был. Да перебесилась... Вообще-то ты прав. Ясно, прав!

Они попрощались, легли, набросили на себя одеяла.

— И ведь эта такая же,— вдруг сказал полковник.— Как ты считаешь, Василь Николаич? Ей и фронтовая прачечная нипочем! Однолюбка!

...А Тасе в это время снился странный сон.

Будто день совсем обычный, даже тихий — ни тебе немецкой авиации, ни арналета. Как всегда, кипятила она белье в трех котлах, дровишки подбрасывала в огонь, рубашки и кальсоны помешивала, чтоб к краям не приставали. Рано еще было, а она уже встала и работала, и все девушки работали, потому что слишком большие партии белья пришли, а срок дали малый. Надо успеть!

Как это случилось, она не знала, но вдруг оказалось, что она почему-то спит.

Девушки ее будят, кричат:

— Что ты наделала, Таська! Понимаешь, сам генерал! И еще полковник! А у тебя котлы без воды! Белье сгорело!

Она бросилась к котлам: и верно, выкипела вся вода!

Схватила ведра и бросилась к колодцу. Наполняла ведра и — в котел. Один наполнила, второй, третий...

Руки болели. Поясница дико болела. И ноги... Ноги почти отказали. Она никак не могла передвигать их, ноги, свои собственные ноги.

А кто-то все равно кричит:

— Что ты наделала, Таська!..

Она смотрит и никак не может понять, кто же это кричит. Неужели генерал?

— Ты что? Сбесилась? Знаешь, что за нападение на часового бывает? Вот я сейчас тебя... Вместо медали штрафбат заработаешь! — слышит Тася.

— На выписку, но никакой речи о службе в армии быть не может! Вот так! Все! — слышит Тася и видит распахнутый белый халат, а под ним гимнастерка и орден Красной Звезды... Видит, вспоминает: «Отвратная баба... Мужик в юбке...»

В эти минуты Тася почему-то мучительно думает об одном — об улице Дзержинского. Как добраться туда? Ведь это долго — отсюда до Москвы, до улицы Дзержинского! И все равно как-то надо... Там все поймут! Там должны понять!

Она идет. Долго идет по лесам. Болота высохли. Жарко. И нечего есть. Она пьет воду из ручейка, а потом березовый сок. Делает пометки гвоздем на деревьях и обходит деревни, поселки, города. Когда надо пройти через реку — выжидает часами. Когда надо пройти через железную дорогу — вновь часами выжидает. Когда, наконец, заходит в деревни — риск... И вот уж — Москва. Она идет по Минскому шоссе — к дому...

— А на самом деле я просто Ваня,— слышит она.— Ваня Козлов. Иван Христофорович. Было б время, влюбился в тебя...

Где это? Ведь это было так давно!

И тут же голос другой, знакомый:

— Тась, а, Тась! Это ты?

Не человек, а часть человека на тележке с подшипниками произносит эти слова. У него нет ног. Совсем нет! А может, и у нее нет? Почему же ей так трудно передвигать ноги?

— Откуда ты знаешь, что люблю или не люблю? А-а? Ты лучше чем рассуждать, налила бы. Ведь я видел: оставила! А-а? По маленькой. Хочешь, давай вместе! — слышит она и сразу вспоминает, кто это.

Нет, значит, не она осталась без ног, у нее есть ноги — только болят они, и все, но это пройдет.

И тут:

— Немцы! Фрицы прорвались, понимаешь!

Тася понимает.

— Девочки! Только без паники, прошу вас, без паники!

Она понимает, что это не те немцы. Те не могли прорваться сюда! Значит, это какие-то окруженные, что вырываются к своим...

— Девочки,— кричит она,— занимайте оборону! А ты, Вика, через вон то заднее окно в штаб бежи, доложи!

Так и сказала: «бежи».

А немцы почему-то лезут прямо в окна. Тася аккуратно хватает каждого из них и бросает в котел. Одного бросила, другого, третьего, четвертого, пятого, шестого...

Вика вернулась:

— Тась! В штабе все знают! А ты что делаешь?

— Как что? — удивляется Тася.

— Им же жарко там будет,— говорит Вика.

— Почему жарко?

Наоборот, стало холодно, страшно холодно. Но тут распахнулась дверь и прямо к мешкам с грязным бельем подошел не генерал, а полковник, и Тася почувствовала, как стало тепло.словно это с улицы пришло тепло.

— Так это ты лично уничтожила семь немцев, в том числе трех офицеров?.. Лицо у тебя хорошее, глаза...

Она промолчала.

— Я не о том,— сказал полковник.— Как ты думаешь, Василь Николаевич!

— А хотите, я стихи вам прочту, товарищ полковник?

— Ты и стихи любишь? — спросил полковник.— Вот она какая у нас, Василь Николаич! — добавил он, обращаясь к генералу.

Откуда он появился тут, генерал? Ведь поначалу его не было, хотя девочки и говорили...

— Иногда люблю. А вот сейчас выпила... Можно, товарищ генерал?.. Слушайте.

Были битвы — люди пели...
По дорогам, летящим вдаль,
Оси пушечные скрипели,
Ржали мулы, сияла сталь...

— Так это же Багрицкий! — сказал полковник.

— Багрицкий...

— Как про нас...

— А девочки мои не понимают, — призналась Тася. — Читала им: слушают, молчат, а потом — ничего...

...Тася проснулась рано. Проснулась с головной болью и каким-то беспокойным чувством.

В этот день она получила письмо:

«Здравствуй, Тася! Пишет тебе это письмо знакомая тебе Елена Николаевна. Не сердись, что не ответила на твое письмо, но пока все было хорошо и писать как-то не хотелось, а сейчас вот пишу. Коля мой в инвалидном доме был сначала ничего. Я ездила к нему часто, хотя трудно это очень смотреть на таких, как он, когда их много. Но он и там пил, говорят. И сама я видела, потому что несколько раз он и меня, мать свою, не узнавал, и говорил глупости всякие, и ругался так, что сказать невозможно. А в последний раз, когда я приехала к нему, то хотела с ним о тебе поговорить, приструнить его по-матерински как следует. Думала, образумится он, придет в себя, а когда закончится эта проклятая война, все и наладится у тебя с ним. Конечно, жить с таким калекой, как он, тебе трудно, и все-таки думала я, что может быть. А приехала туда к нему, мне говорят, что он помер. От белой горячки и помер, потому что сердце его не выдержало, разорвалось. Вот и пишу сейчас тебе об этом, хотя времени много прошло с тех пор, три месяца, но я все никак в себя прийти не могла. Намучил он меня много, а все же — сын, родимая кровинушка. И больше не было у меня никого. А похоронила его я прямо на кладбище возле их инвалидного дома, в Суханове. Ты знаешь. Да, а у Алеша Дементьева дома беда за бедой. В прошлом году мама его умерла, а сейчас, совсем незадолго до Колиной смерти, похоронили и отца. Сам Алеша, как говорят соседи, на фронте. Под Сталинградом был, а под Курском его ранили. Но вроде все ничего. Зря это я пишу тебе наверно, потому что ты знаешь, но уж так вышло, что написала. А голова-то моя кругом идет, и что будет, не знаю. Только работа и спасает от всех переживаний... Обнимаю тебя, если тебе это не неприятно, и желаю боевых успехов на фронте, а главное — живой быть и здоровой. Я буду помнить о тебе всегда и ждать, когда ты вернешься! А захочешь, напиши. Буду радоваться. Ведь и писем мне получать теперь не от кого...»

9

«...Русская зима связана с продолжительными жестокими холодами (от -40°C до -50°C), часто перемежающимися оттепелью, снегопадами, буранами, туманом и плохой видимостью...»

(Приложение № 2 к Уставу сухопутных войск германской армии).

«...Зима в России — это ужасно! Говорят, что к ней привыкают со временем, но поверь, я привыкнуть никак не могу. Боюсь, что эта третья русская зима будет для твоего Отто последней...»

(Из письма домой Отто Ильгена, солдата 3 батальона 87 пехотной дивизии).

«...А зима у нас сейчас, Елена Николаевна, установилась хорошая,

не то что прежде — дожди и слякоть. Температура 18—20°, а по ночам и чуть больше, и снега много вокруг, и все очень красиво. Здесь особо эту красоту чувствуешь. Хоть и трудно, и опасно, и работы, конечно, очень много, а красоту ни с чем не сравнишь. Поглядишь на лес — заснеженный, вроде бы и не живой совсем, с березками и осинками, дубками и елочками,— и сердце радуется. Поглядишь на поля и реки, покрытые льдом,— и опять радуешься. А вообще-то настроение неплохое, потому что дела наши идут хорошо и войне скоро придет конец...

Если вернусь благополучно, обязательно навещу вас.

Ну а так — не отчаивайтесь. Того, что случилось, не изменишь, и может быть, это плохо, но я вот все со времени получения письма вашего думаю — уж лучше бы он, Коля, на фронте погиб...

Не сердитесь, если что-то не так написала, а затем приветствую вас, пожелания вам самые добрые шлю и тоже желаю здоровья. И до скорой, надеюсь, встречи! До свидания!

Тася».

10

К началу января сорок четвертого зима пришла настоящая. Снегу поднавалило в меру. Теперь уже и по лесу так, как прежде, запросто не пройдешь, и землянки по утрам приходится откапывать, и машины, и все большое, тяжелое хозяйство прачечной.

А оно, это хозяйство, без конца передвигалось с места на место, и Тасе вместе со своими подчиненными все время приходилось устраиваться заново, а главное — принимать грязное и взамен выдавать чистое белье.

Немцы всегда боялись зимы, но сейчас они, кажется, немного привыкли к ней. Больше они боялись другого — повторения Сталинграда, Курской дуги, Киева. И потому без конца выравнивали фронт, огрызались порой, а чаще уходили без боя, и нашим приходилось идти по их пятам.

Видно, у каждого дела человеческого есть своя особенность. Казалось бы, радоваться Тасе бесконечным передвижениям на запад, а она огорчалась. Передвижения мешали работе, и она сама, и девочки ее нервничали, как это умеют только женщины, когда они одни...

Тася с трудом справлялась с подопечными. От нее требовалось невыполнимое — чистое белье. А было — грязное белье и дорога. Дорога и новые партии грязного белья. И еще отношение к ним, как к чему-то второстепенному: отремонтировать машину нужно — последняя очередь, горючее — последняя очередь, наконец размещение — опять в последнюю очередь.

— Тут к тебе приехали! — сказала ей Вика с какой-то долей ехидства. — А ты ходишь!

— Ну что! И хожу: белье командиру дивизии отнесла, и начштаба — тоже. И что! Вы, что ль, пойдете?.. Скажи лучше, кто приехал.

— Не знаю кто! Майор по званию,— произнесла Вика. — Ох, и везет же тебе, Таська!

— Брось! — сказала Тася.

И не удивилась. Девочки злые, ехидные, от них любого можно ждать. И так острят, что к ней начальство равнодушно. Даже когда орден ее обмывали, острили. И понятно, хотя и обидно, а как не понять: работа адова, устают все чертовски, а тут еще — женщины. По двадцать — двадцать пять каждой. Руки разъедены, в мозолях и волдырях. Бесконечные стирки и сушки — фигуры наперекось пошли. Полнеть — не до того, а еще два-три года таких, и смотреть будет не на что.

Сама Тася заметно располнела в последнее время, но главного никто из девочек не замечал. И она, хотя и не раз порывалась сказать девчонкам об этом, главном, молчала. И, наверно, правильно молчала. И так без конца суды-пересуды, а тут совсем замучают расспросами и разговорами!..

— Кто? — спросила Тася, заранее простив Вике и тон ее, и все.

— Особист какой-то, майор... Смотри, Таська!

— Ну брось, брось! Не болтай!

Возле их прачечной стоял помятый, непонятной окраски трофейный «мерседес-бенц». И рядом с ним ходили двое — водитель в телогрейке и майор в светлом полушубке.

Особист? Но почему же особист! Особого отдела они не обслуживали.

Майор сказал:

— Мне приказано проводить вас к генералу Кучину.

Они ехали долго. По разбитым промерзшим дорогам и хрустальным лесам. Буксовали в полях и дважды пересекали чахлые речные переправы. Майор был словоохотлив и любезен, не позволял Тасе подталкивать машину и даже обрезал шофера, когда тот чуть не выругался:

— Как тебе не совестно, Трофим Ефимыч! С женщиной едем, а ты...

— Оговорился, — пробурчал шофер. — Прошу прощения..

После очередной переправы над дорогой повис туман. Белое молоко не разбивалось о ветровое стекло, не прорезывалось светом синих фар. Какими-то странными клочками туман захватывал вершины и стволы деревьев, часть дороги и ложбинки, полз по речному льду и по крышам одиноких домов.

Шофер выскакивал из машины, ругался, просил пощады. Майор успокаивал шофера, занимал Тасю и без конца смотрел на часы. И наконец, когда они вновь остановились около березовой рощи, не выдержал.

— Пожалуй, Трофим Ефимыч, мы тут и пешочком доберемся. Не возражаете? — спросил он у Таси.

Они шли в сплошном тумане среди стволов берез. Снег, березы и туман — все было белым-бело. Даже свет фонарика у майора был таким же белым.

— Сказка, правда? — спросил майор. — Почему-то «Снегурочка» Островского вспоминается. Поразительно, как давно я не был в Москве! А ведь когда там, никуда не успеваешь: ни в театр, ни на выставку, ни в кино. В лучшем случае, в цирк с ребятами...

В кабинете генерала Кучина, когда они наконец пришли на место, работало радио.

— Нет в Манчжурии более ненавистного народу человека, чем продавший японцам Пу-И, назначенный ими «императором» марионеточного государства Манчжоу-Го. Это ставленник Японии... — передавало радио, пока генерал не выключил приемник.

— А мы вас уже несколько дней разыскиваем, — сказал Кучин, — но и вы все передислоцировались, и мы... Очень рад, очень рад! — генерал перехватил ее взгляд в сторону приемника. — Если хотите послушать, пожалуйста!

— Нет, что вы! Просто я давно радио не слушала, — сказала Тася.

— Тогда разрешите — к делу...

Ей поручалось перейти линию фронта севернее Озаричей, встретиться в условленном месте с представителем соединения белорусских партизан и согласовать с ним ход дальнейших совместных действий в направлении на Бобруйск и дальше — на Минск.

— Вам, старой подпольщице, и карты в руки, — сказал генерал. — Важность задачи понимаете?

— Понимаю...

— Может, есть сомнения?

Сомнение у Таси было. Одно, может, самое важное. «Но кажется, еще рано,— решила она.— И не замечает никто — рано! Успею!»

— Нет, сомнений у меня нет,— сказала она.

— Ну и добро! — согласился генерал.— Завтра с утра сдавайте свое хозяйство. Мы предупредим кого следует. А потом за вами придет машина. О деталях договоримся с представителем штаба партизанского движения. Как раз завтра он подоспеет сюда...

11

В дневнике боевых действий штаба Н-ского партизанского соединения появилась такая запись:

«4. 1. 44 г. через связного штаба Белорусского фронта получили данные, которые помогут проведению совместных с частями Советской Армии действий в операциях против группы немецких армий «Центр» и, в частности, против 2-й немецкой армии, в районах Жлобин, Озаричи, Паричи и участка железной дороги Бобруйск — Минск. В свою очередь, переданы командованию Советской Армии последние данные о боевых действиях партизанского соединения по уничтожению живой силы и техники противника, участию в «рельсовой войне» и т. д.»

Генерал Кучин записал в своем фронтовом дневнике, который он вел тайно от всех («Неудобно! Еще заподозрят в сентиментальности или, чего хуже, графоманстве!»):

«27 янв. 1944 г. Уже третий год войны идет, а я все не устаю поражаться, какие истинно удивительные качества и черты характера в нашем человеке открыла эта война! До чего ж он красив, благороден и скромен, наш русский человек! Вот и еще один пример. Девушка. Двадцати лет. Имя — Тася. Москвичка. Трудная судьба: в сорок первом была заброшена в минское подполье. Попала в тюрьму. Бежала. Контузия, ранение. Дошла к своим. Госпиталь. Освободили по чистой. И вновь — фронт. Отказалась от звания, пошла во фронтовые прачки. Мы нашли ее случайно и, конечно, поздно. Она, как раз она подходила для одного важного дела. Я ждал ее, думал, встречу девушку... Как-никак двадцать, это не наши — за сорок. А пришла женщина, усталая, серьезная и готовая на все. Мы послали ее за линию фронта к партизанам. Послали с очень важным поручением. Спрашивал ее: «Готова ли идти?» Сказала: «Готова!» Я, вероятно, ничего не понимаю в этих вещах, но сейчас поражаюсь, как она согласилась. Она сделала все, что было нужно, и благополучно вернулась к нам, принесла обратные сведения, и вскоре у нее начались схватки (я помню, как это было у нас, когда родился Женька: еле довез Светочку до роддома, она родила Женьку через тридцать пять минут). Мы, мужики, не знали, что делать. Вызвали кого-то, отправили ее в ближайший санбат, а она крепилась и молчала. Только уже потом, когда несли ее на носилках к машине, сказала мне: «Простите, товарищ генерал, что так получилось!..» Вот он и характер наш, и душа!.. Не знаю, любовь ли у нее настоящая, или просто — случай, каких много бывает здесь, на войне, но все же я думаю о ней с великим уважением. И не только о ней. Как трудно нам, мужчинам, на войне! А часто ли мы думаем о том, как трудно им, женщинам, девушкам, порой совсем девчонкам, надевшим форму в семнадцать — восемнадцать лет, не имеющим ни опыта жизни, ни опыта любви, во все верящим искренне, чисто, по-детски... А ведь их на фронте полмиллиона. Целая армия! Как же мы, старшие, должны беречь их! Честь, женское достоинство, веру — все беречь... Что-то я расписался сейчас, может — ночь сегодня спокойная, может, просто душу хотелось вылить? Об этом же не скажешь никому и нигде вслух. А сказать хочется, пусть

и буду я выглядеть в неприглядном свете. Недаром посмеивались надо мной еще в ИФЛИ. И потом — в управлении. «Гнилым интеллигентом» величали, и «философом», и «оторвавшимся от жизни потусторонним мечтателем». И все же мечтать надо, и в людях видеть хорошее — надо...»

12

Леса, леса и опять леса вокруг. Кустарник голыми ветками прижился прямо к окнам, и лес шумел совсем рядом, и по утрам синицы скакали по подоконникам, заглядывая в палату, любопытствуя, шевеля и покручивая пухлыми телами и круглыми забавными головками. И еще прилетали после синиц какие-то серые, с рыжими боками птицы: длинный клюв, почти синичье любопытство, но в отличие от синиц у них была и напористость — они не просто заглядывали в палату, а стучали клювами в стекло, словно требовали еды...

В медсанбат Тасю везли необычно.

— Куда мы едем, на восток? — спрашивала Тася.

— Почему на восток? На запад!

— Как на запад? Я только что...

— Наши пошли вперед...

Вперед? Значит, двинулись вперед и тылы, и штабы, и медсанбаты, и ее прачечная, наверно, тоже опять передислоцируется. Как там ее девочки? Ох, опять хлебнут горя, хватят лиха. Эти переезды...

Они ехали час или больше по снежным, окаменелым морозным дорогам. Машину трясло, заносило то вправо, то влево, то она совсем останавливалась: впереди — скопления войск, и шофер ожидал очереди.

...В палате оказалось пять коек. Трое девушек с ранениями, одна, правда, уже женщина пожилая, говорят, жена начштаба армии, как и Тася, — с родами, но еще не разрешившаяся, и вот она. Говорить о своем почему-то стеснялись, и все, если и говорили, то о птицах этих, которые прилетали на подоконник или садились на соседние ветки и дальние лапы елей, если, конечно, был день, когда и с койки все видно.

Спорили о повадках синиц. Кто-то вспоминал, что синицы любят сало, и потом все гадали, где раздобыть кусочек сала и повесить его через форточку на нитке.

— Вот уж они обрадуются, — говорили. — Повиснут на этой нитке, как циркачи какие, и давай клевать, клевать.

Синиц часто спугивали с подоконника не только серые непонятные птицы, а и обычные воробьи. Их было много — активных, взьерошенных, злых.

Как-то Тася увидела, как согнали воробьи с подоконника синиц, вспомнила.

— Девочки, — сказала она, — а знаете, я читала когда-то об этом, не помню только у кого. Но вот как приблизительно: «В далеком детстве слышал я от бабушки своей сказку о синице, которая за морем, в клетке жила. И вот вырвалась раз та синица на волю из клетки и так быстро полетела к родному гнезду, что не рассчитала своих сил, не долетела до знакомого берега — упала в море. Упала, но сердце ее горело таким сильным огнем, что огонь этот высушил сине море. И спаслась синица, и до родины своей — до гнезда своего — долетела!.. И я люблю этих птиц-синиц. Каждую зиму, когда трудно бывает с кормом, я через форточку сыплю на подоконник хлебные крошки и зерна, если они есть под рукой. Корм зовет синиц, и они прилетают ко мне на подоконник. Но прилетают не только синицы, а и воробьи, гнездящиеся под теплой крышей дома и в чужих скворечниках. Они уже тут как тут. Мне не жалко хлеба и зерен. Я добрый. Но не люблю я воробьев за нахальство: стоит только одному-двум сесть на подоконник, как на их чирикание слетается

целая стая. И прожорливые, жирные хамы выживают тихих уступчивых синиц. И так день за днем...» — Все, — сказала Тася. — Дальше не помню. А вот это почему-то запомнилось...

— Если б так только у синиц было! — сказала одна из девушек.

Потом все ломали головы по поводу серых птиц с рыжими боками и длинными клювами, и каждая из обитательниц палаты высказывала свое:

— Мухоловки!

— Не должно их вроде быть зимой, по такому морозу.

— Это, скорей, эти самые, как их — трясогузки!

— Трясогузки разве такие?

— Дятлы не могут быть?

— Какие ж это дятлы! Воробьи это! Известные нахалы!

Тася немного, совсем, пожалуй, немного, знала о птицах. И, конечно, это были не мухоловки, и не трясогузки, и не дятлы. И она возразила бы... Но все лежавшие в палате были старше ее. И... она просто не знала названия этой серой, с рыжими боками птицы.

Чтобы как-то поддержать разговор и просто переключить бессмысленный спор, она спросила своих соседок:

— Скажите, а кто это Пу-И?

— Кто? Кто?

Кажется, все удивились. А ей казалось, что все должны знать.

— Нет, я просто по радио передачу слышала: «Пу-И, ненавистный император Манчжоу-Го...»

— А где это, Манчжоу-Го?

— Что-то не слышала!

— Государство, что ли?

Тася сама толком не знала. Подумала, сказала:

— Манчжоу-Го это где-нибудь в Маньчжурии, наверно. — Потом вспомнила ту же передачу в кабинете генерала Кучина. — Да, конечно, в Маньчжурии...

Короче — говорили, спорили, доказывали что-то друг другу, хотя и забавно это было: каждая-то думала совсем о другом, и время не то было — война, и никто не имел ни малейшего представления о том, о чем говорил и спорил.

Вот и Тася.

«Странно, — думала она, — что и в школе училась, и отметки хорошие приносила, а ничего толком не знаю. До сих пор не знаю. Как какое дерево от другого отличить — не знаю. Какие птицы водятся в лесах — не знаю. Что такое болото, а что такое топь — не знаю. И немецкий — через пень-колоду... А ведь нужно все это человеку, как нужно! И не просто в войну, тут сама война научить сможет, хочешь не хочешь — научит и так. Ничего мы толком не знаем: ни лесов, ни полей, ни трав, ни узоров на избах, ни птиц, ни зверей, ни насекомых... А ведь все — земля твоя, Россия, Родина, о которой столько пышных слов и частых разговоров, что привыкаешь к ним и пропускаешь мимо уха. Война пришла и пробудила то, о чем мало говорили, а если и говорили, то не всегда теми словами...»

Их дом, в котором размещался сейчас медсанбат, не был похож ни на избу, ни на обычный дом, ни на сарай, ни на то, что принято было называть словом «общежитие». Дом не просто в лесу, а дом, выросший в лесу, вросший в лес. Как дерево, вросший. Как куст орешника, вросший. Как гриб, как ягоды, как цветы. Вроде бы и барак, но нет — не барак. Длинный, бревенчатый, обитый планками. Каждая планка покрашена в голубой и белый цвет. Окна голубые, стены разные. Надо уметь! И на войне надо уметь! Крыльцо с одной стороны и крыльцо — с другой. И то и другое крыльцо тоже двухцветное: белая краска соседствует

с голубой, голубая с белой. На окнах наличники, а над крыльцом — орел, вырезанный из дерева. Ступеньки и пол — рыжевато-коричневые. Трубы покрыты белой масляной краской. Каждый кирпичик сам по себе покрашен. И внутри все так: как на вечные времена, даже любовно...

Этот дом построили немцы. Отлично, красиво, прочно, удобно построили. И очень аккуратно, не сломав ни одного дерева вокруг, не задев ни единого кустика. Так же аккуратно, как разрушили и выжгли все деревни в округе, так же аккуратно, как уничтожили всех старше сорока пяти, моложе пятнадцати и непригодных, так же аккуратно, как вывезли в Германию всех трудоспособных...

Теперь этот дом, единственный сохранившийся, был нашим госпиталем. И в нем лежала Тася вместе... Не просто вместе с четырьмя соседками, а и со своим (своим!) сыном. Удивительно это было, необычно и радостно — сын! Беспомощный, красный, с синими пятнами на левой щеке — сын! Кричащий, беспокойный, вздрагивающий от прикосновения рук — сын!

— Теперь-то уж тебя отчислят из армии,— говорили ей соседки.

А ей было хоть бы что: ведь есть он — сын!

— Домой поедешь, домой,— говорили ей.

А ей было все равно, был дом или нет: ведь есть он — сын!

— В Москве сейчас небось хорошо! Не то что в сорок первом! Счастливая — через недельку, глядишь, и в Москве будешь! — говорили ей.

А ей было все равно, куда она поедет: хоть в Москву, хоть куда! Лишь бы с ним — с сыном!

«Таська, что ж ты молчала, дурочка наша? А мы все равно узнали и поздравляем тебя с сыном... Все девочки тебя поздравляют!»

Это — записка от Вики.

«Восхищаюсь Вами и горжусь, хотя немного и ругаю... Узнал о том, что у вас родился сын. Рад и от всего старого солдатского сердца поздравляю. Еще один мужчина на свете — это хорошо! Пусть только он не увидит никогда того, что увидели и пережили мы (я имею в виду и вас, и себя, и всех нас), пусть растет и крепнет в мирные годы. Посылаю Вам и наследнику скромный подарок. Не обессудьте...»

Это привез посыльный от генерала Кучина.

И еще одна записка, над которой Тася долго гадала — от кого:

«Поздравляю! Да здравствует фронтовой наследник! Ура! Ваш Д. Н. С.»

Наконец сообразила по первым инициалам — полковник из штаба армии, где она получала орден.

Хорошо, когда люди даже на войне думают друг о друге...

...Немцы бомбили лес так, будто он был важнейшим военным объектом. Пять заходов сделали на лес восемь «хенкелей», пять раз сбрасывали они бомбы.

Тасю несли к машине на носилках две девушки-санитарки, и она, корчась от боли, сжав зубы, шептала:

— Где он? Ну, ради бога, скажите, где?

Девушки не обращали внимания, продолжали нести ее.

— Где, понимаете, он? Он...

Тася никак не могла сейчас вспомнить нужное слово. Знала, о чем, о ком просит, а слово потерялось. Как найти его? Ведь они должны понять, кого ей нужно!

И вдруг, когда девушки уже подносили ее к санитарной машине, Тася вспомнила.

— Сына! Сына немедленно дайте мне сюда! Немедленно! Дайте же, я вам говорю, сына! — требовала Тася, почти радостная оттого, что вспомнила нужное слово. — Я никуда не поеду, слышите?

— Но он же... Вы понимаете...— сказала одна из запыхавшихся девушек, когда носилки с Тасей опустили на снег.— Вам же повезло еще! Вы живы!

— Тебе нельзя волноваться! Ты ранена! Нельзя! — строго сказала вторая, тоже еле переводя дух.— И потом ты ж видела — налет... Ребеночек твой... Мы сейчас отправим тебя в тыл!

— Все равно дайте! — требовала Тася.— Никуда не поеду! Умру, а не поеду, если не дадите...

Девушки переглянулись.

— Что делать? А-а? — спросила одна.

— Я сбегаяю,— сказала вторая.

Через несколько минут она вернулась с чем-то завернутым в простыню, положила это безжизненное, завернутое на носилки рядом с раненой.

— Теперь кладите в машину,— сказала Тася, прижимаясь к маленькому, чуть теплому свертку.— Везите хоть в тыл, хоть куда! И — спасибо вам, девочки!

...Вечером в штабе одной из мотомехдивизий допрашивали через переводчика летчика со сбитого немецкого бомбардировщика «ХЕ-111».

— Вы знали, что вы бомбили? — спрашивал пленного капитан.

— Абер найн, мән хат унс айнфах квадрат гегебен.¹

— А то, что в этом квадрате нет никаких военных целей помимо госпиталя, вы знали? Кресты на крыше видели?

— Абер найн...²

— Что же вы тогда в конце концов видели? Вы же не слепой. Нашивки обер-лейтенанта носите! Отвечайте...

— Их вусте вирклих, вусте, мир вурде гезахт, дас ин дизем квадрат, дас хайст им валде, дас дойче командо лаг. Унзере трупен хаттен ес гебаут. Унд дас зих хир дер руссише штаб бефинден золь.³

— Гадина,— сказал капитан.— Тупая гадина... Можете не переводить. Уведите!

13

В доме уже привыкли, что Алексей Архипович уезжает рано. И встает, и завтракает на скорую руку, и выходит из дома — все рано. Около семи его уже нет. Он старается никого не беспокоить, но все равно жена поднимается каждое утро вместе с ним и теща начинает бродить по коридору. И только дети спят. «Тише, тише!» — шепчут все друг дружке, думая о детях, но этим «тише» как раз и будят Вовку. Он тоже — ранняя птица, и просыпается прежде, чем папа уйдет на работу. Не в пример сестре своей, старшей сестре Марине, которую все равно надо будить полчаса, без конца напоминать, что ей надо в институт, что она опоздает... Она и правда встает в последнюю минуту, вечно опаздывает, но потом, оказывается, не опаздывает. Как-то успевает, хоть и ехать ей на другой конец города.

Нынче Алексей Архипович и завозился в постели, и поднялся еще раньше, чем всегда. Как ни старался тихо, а все равно услышал:

— Ты что? — Жена с трудом разбирала на часах время.— Шести еще нет, Алеш...

— Спи, спи, я так...

¹ Никак нет, нам просто дали квадрат. (Нем.).

² Никак нет... (Нем.).

³ Я действительно знал, знал, мне сказали, что в этом квадрате, то есть в лесу, находился штаб германского командования, построенный нашими войсками. И что здесь должен находиться штаб русских... (Нем.).

Все равно она встала и, накинув халат, пришла вслед за ним на кухню. Алексей Архипович знал, что будет так, больше того, обрадовался, как всегда, вниманию жены, но, конечно, сказал:

— Зачем ты? Я ведь и сам бы...

— Волнуешься? — спросила жена.

— «Волнуюсь» — не то слово, просто... Как сказать тебе: новое место. И, конечно, плохо спалось...

Он приехал в хирургическую клинику, как ему казалось, раньше всех. На вешалке не было еще гардеробщиц. Не было и дежурной в окошечке у входа, которая обычно, как он заметил, сдерживала посетителей. Не было никого в коридоре первого этажа, и у лифта никого не было. Он, странно, по-мальчишески озираясь по безлюдным коридорам, нажал кнопку лифта, больше так — на всякий случай. Какой лифт в такое время! Но лифт работал, и кабина пришла вниз.

Алексей Архипович нажал кнопку пятого этажа.

На пятом этаже было пусто. Алексей Архипович шел по длинному коридору, на всякий случай поглядывая налево и направо — на дверные таблички. Впрочем, он знал, что его кабинет в противоположном конце. Он лишь раз был здесь, но все помнил. Военная привычка, старая, давняя, а действует до сих пор: он запоминает все, как говорили в ту пору, визуалью, с первого раза...

Он открыл форточку в своем кабинете, надел халат и натянул белую шапочку на голову, выкурил почему-то сразу две сигареты подряд и только потом еще раз осмотрелся.

«Шкаф надо бы сменить! — подумал он между прочим. — Какой-то старомодный. А столик, пожалуй, мал. На нем и не положишь ничего». Он хотя и привык к педантичной аккуратности, а все же стол — это стол. На нем надо и бумаги разложить, и истории болезни, и руки... Куда их денешь, эти огромные длинные руки, которые делают операции, которым и отдыхать надо. И на месте прежней своей работы — в научно-исследовательском институте, — и дома он привык к тому, чтобы после дел сесть за стол и спокойно положить на него руки. В институте письменный стол у него был огромный, темный, почему-то из домашнего немецкого гарнитура, с львинообразными массивными ножками. И этот стол, потертый, с пятнами от клея и от лекарств, прожженный во многих местах курильщиками, так и не покрытый вновь лаком, о чем не раз говорилось, был дорог Алексею Архиповичу, и сейчас, здесь, на новом месте работы, он его вспоминал с благодарностью. И дома у него был такой же большой стол. Не совсем такой, но тоже большой и выдержавший все испытания временем и даже победивший жену его. Люся после каждого очередного ремонта (жене казалось, что они делают ремонт в квартире слишком редко, ему, наоборот, — что слишком часто. Но все же она права, вероятно с точки зрения здравого смысла, ремонт через пять-шесть лет — это редко) приобретала с какими-то бесконечными сложностями новую мебель и каждый раз покушалась на его стол — конечно, старомодный, на его книжный шкаф — конечно, старомодный, на его фотографии на стенах. А что особенно несовременного было на этих фотографиях? Он, в ту пору Лешка Дементьев, — глупая физиономия, вещмешок на плече, винтовка, странно, не по-военному зажатая в руках. И еще — он же, но в сорок четвертом: дурацкая шапка на голове и не менее глупая улыбка, медали — во фронт, как бляхи, и рядом она, Люся, без медалей и без орденов, которые были у нее, в гимнастерке с расстегнутым воротом, и — главное — с важным лицом. Ну ладно, случилось тогда так, что они снялись вместе в таком смешном виде. И все же... зря, наверно, он согласился с Люсей и убрал после ремонта эти фотографии. Ведь здравый смысл здравым смыслом, а женская логика...

Черт возьми, есть она, к сожалению, эта женская логика. Ну ладно, бог с ними, с этими фотографиями, но почему надо прятать в ящики стола в самом деле уникальные вещи, которые он привозил из зарубежных командировок. Пивная кружка, например, сделанная непьющими шведами. Или индийская головоломка с четырьмя головами кобр, вырезанная из одного куска дерева. Или непальский будда, в мало, правда, пристойном виде, которого ему вручил король Непала — дай бог памяти, чтобы назвать его имя! — Махендра Бир Бикрам Шах Дева.

Алексей Архипович механически закурил еще одну, третью, сигарету и только после этого прислушался. Нет, тихо в коридоре и вообще в клинике — тихо. Подошел к окну: снег шел вперемешку с дождем, вороны каркали на деревьях, скользили там, внизу, какие-то пожилые женщины с ведрами и пробирками, с бумагами в руках и сумками. Кто-то, видно, работал, кто-то уходил с ночного дежурства...

Он взглянул на часы: без двух восемь.

Ему почему-то стало стыдно всего, о чем он только что размышлял с самим собой. Он вспомнил Вовку: «Ты что, папа, на новую работу идешь?» Вспомнил Люсю: «Ни пуха ни пера тебе! Ну!..» Вспомнил спящую Марину, которая до сих пор осталась для него Маринкой, хотя ей скоро и двадцать. И даже тещу... Пусть она не очень понимает, почему он сегодня почти не спал и встал так рано...

Двадцать лет хорошего и плохого, трудного и радостного, и все это — жизнь, без которой не было бы ничего сейчас, без которой ничего не может быть завтра. А он — стол вспомнил, шкаф, безделушки! Нет, здесь, конечно, стол надо сменить и шкаф тоже. А дома... Разве это главное...

Он вышел в коридор. После ремонта больные еще не поступали. Потому и медперсонал в клинике был не весь, приходили лишь самые необходимые люди. И он сегодня не мог не прийти. Как же, первый день... Он решил осмотреть палаты и операционные, благо, и время есть, и никто не мешает.

Где-то кто-то возился. Алексей Архипович слышал скрип: явно мыли окна, протирая их газетами. Он заглянул лишь в две-три палаты, но скрип повторился, и он пошел на него.

Палата. Очередная палата. Распахнутое окно и женщина, не молодая, полная, в замусоленном халате на подоконнике.

— Вы же простудитесь, зачем так? — сказал Алексей Архипович. — И почему так рано вы здесь?

— Почему рано? — обернулась она. И — поразила Алексея Архиповича чем-то... — Просто окна мою. Ведь через три дня больные придут.

Он не поверил своей догадке и все же решился:

— Тася!?

Она соскочила с подоконника, вытерла руки о халат, посмотрела на него — и ничего не поняла.

— Откуда вы знаете?

— Тася! Это же я — Алеша! Неужели ты... — почти закричал Алексей Архипович. — Забыла, не помнишь?

Она не могла узнать его. Может, только что-то чуть знакомое? Но Алеша, Алеша, Алексей... Это было совсем другое, не связанное с этим человеком в белом халате и белой шапочке...

— Алексей Архипыч я, Лешка, Алешка Дементьев, неужели не помнишь? — спросил он, глядя прямо в ее лицо. — Ведь ты это, Тася?

Они встретились дома у Алексея Архиповича. Поначалу все было чинно, словно на дипломатическом приеме. И хотя Вовка бегал без конца от стола куда-то в соседнюю комнату, и хотя Марину через каждые пять-десять минут вызывали к телефону, ужин сохранял нарочитость официальной встречи.

— А все же вы далеко забрались, Людмила Петровна,— говорила Тася.

— Ну, что вы,— улыбалась Люся.— Разве Зюзино — это далеко? И метро рядом, и автобусное сообщение. Скоро и троллейбус, кажется, будет...

Сам Алексей Архипович почему-то чувствовал себя неловко, мельтешил, старался угодить за столом то Тасе и Марине, то Люсе...

Все стало проще после трех-четырёх рюмок. Вовку уложили спать, Марина пошла в кино на последний сеанс, а оставшиеся опять налили по полной.

— Я хочу выпить,— сказал Алексей Архипович,— за Люсю, то бишь, жену мою, Людмилу Петровну, и за тебя, Тася, друга детства, и за всех женщин, прошедших войну!

Все чокнулись, Тася сказала «спасибо».

Выпили, после чего и воспоминания у всех нашлись, и темы для общих разговоров.

— У меня Андрюшка тоже в Бауманское поступил, по конкурсу хорошо прошел,— говорила Тася.— Вот бы как-нибудь встретиться нам всем, я бы Андрюшку своего с вашей Мариночкой познакомила. Одногодки они, интересно! Вот вы, Алексей-то Архипыч, знаете, как...

Алексей Архипович:

— Тась! Опять ты со мной на «вы»?

— Да что вы! Это я просто так, к случаю...

Потом, словно вспомнила:

— Андрюшка мой стихи любит. И наука у него, и стихи...

— Так ты... Значит, в тебя сын, раз стихи любит! — сказал Алексей Архипович.

— Да, вот подсказать не можете ли? — сказала Тася.— Читали мы как-то с Андрюшкой поэта такого, Бориса Ручьева. «Любава» — называлась. А потом искали что-нибудь его, не нашли. Я все лотки обегала и в магазины книжные заходила, и Андрюшка — ничего не нашли. Не поможете, Алексей Архипыч? Может, вам легче где-то достать?

— Постараюсь, Тася,— пообещал он.— Борис Ручьев,— говоришь? Постараюсь! Запомню!

И опять шли воспоминания. Видно, уж таков по натуре русский человек, что случись ему выпить рюмку-другую, никак без воспоминаний не обойтись. А если уж фронтовики бывшие встретились, то — без фронтовых воспоминаний. Тася вспоминала что-то свое, и Люся вспоминала. И Алексей Архипович, наперекор здравому смыслу, перебивал женщин и долго, слишком подробно повествовал о каких-то своих боевых эпизодах.

Жена его Люся нарушила весь этот разговор, сказав:

— Ну, а теперь посуду соберем! Пора накрыть под горячее!

— А вообще-то я счастливая! — неожиданно сказала Тася.— Правда, счастливая! Войну прошла — живой осталась. Сына взяла из детского дома, малюсенького, года с половиной, вырастила и вот вроде в люди вывела! И сама! Вот хоть и на пятый десяток дело идет, здорова и пен-

сию получаю! А тут, понимаете, к двадцатилетию Победы орден мне еще вручили, за сорок первый, третий по счету, и медаль «Партизану Отечественной войны». Полковник в военкомате вручал, важно так, как генералу какому...

— И еще медаль будет,— сказал Алексей Архипович.— В честь двадцатилетия Победы...

Он провожал ее поздно. Хотел вызвать такси — она отказалась. Хотел довести на автобусе до метро — тоже отказалась.

Пришлось проводить до лифта, нажать кнопку.

— Ну, хоть так...

— До свидания, Алексей Архипыч! — сказала она.— Очень хорошо все у вас было.

— Опять ты со мной на «вы»?

— Так это, не сердитесь,— сказала она.— Ребяток целуйте. Хорошие они у вас!

Как раз пришел лифт, и Алексей Архипович открыл дверцу.

— Ну, спасибо тебе, Тася! За то, что пришла, спасибо! А завтра увидимся в клинике...

Она вошла в кабину лифта, но придержала рукой дверь.

— Вот, Алексей Архипыч, вы все: на «вы», на «ты»!» А я ведь, Алеша, если по чести сказать, больше всего тебя и любила всю жизнь... Так вот!.. Ну, прощай! До завтра!

И она захлопнула дверь.

И кабина пошла вниз.

БЕССОННИЦА СТРАНСТВИЙ

• • •

Что-то мне, товарищи, не спится.
Думаю.

Вздыхаю.

Не усну.

Пестрые косматые лисицы
Из костра взбегают на сосну.
Вот она, опять закуковала
Серая кукушка в стороне,
Годы полновеснее металла
Весело пророчествуя мне.
Глупая!

Кукует до полночи,

И откуда ей, кукушке, знать —
Я хочу для рук своих рабочих
Времени у века подзанять.
Выгореть хочу строкой люблюю,
Чтобы у людей горел огонь...
Сердце, опаленное любовью,
Прячется под грубую ладонь.
А в бору шумит ночная птица,
Все не уберется на ночлег.
Что-то мне, товарищи, не спится,
В атомный,

в космический

наш век.

• • •

По земле путешествовать мне бы
И о странствиях дальних

рассказывать,

Но не знаю я звонкого неба

И лесов твоих,

южная Азия.

И не видел я сизой — с отливом
В черноту — амазонской волны.
Я лишь мял придорожные ивы
Над водою своей стороны.
Мне нездешнее облако снится,
Но когда я кидаюсь ничком

В медоносные травы —

сеница

Золотым озирает зрачком
Эти пальцы мои, эти русые,
Конопляные космы волос,
И бормочет мне песенки русские,
Прибаутки московские дрозд.
Он такое умеет высвистывать
Из затона недремлющих трав,
Что со злобы чернеют транзисторы,
Всех певичек своих растеряв.

И тогда исчезает свеченье
Амазонской тревожной воды.

По закону земного вращения
Надо мной проплывают плоды.

И подобно зеленым планетам,

Надо мной невесомо висят

Колокольчики бабьего лета,

Опершись на сырой палисад...
Я себе этот мир открываю,

Да едва ли дойду до черты,

До границы,

до самого края,

До глубинной его красоты.

• • •

Ее цветы,

как бабочки, пестры.

Но ядовит у живокости корень,

Но запах живокости тошнотворен...
Не зря ее

кидали на костры

Еретиков,

не верящих в Христа,

Мыслителей,

стремящихся к познанию,

И если умирал в пути изгнанник —
То живокость садили неспроста
У проклятой могилы...

Пусть она

Предупреждала грозно бы святош:

«Сомненье — грех! Мечта о счастье
— ложь!

А правда прежде времени вредна...»

Живут средневековые наветы,
И судят о цветке и вкривь и вкось,
И лишь одни настырные поэты
Упорно воспевают живокость.

• • •

Каракол.

Каратал.

Каратау...

Это — клетот орлов в поднебесье,
Это — сумрак пустыни белесой,
От ветров почерневшие травы.

Это — воздух, расплавленный зноем,
И распевы песков воспаленных,
И зеленая тень на знаменах,
И шнурок бахромы, и витое

Изречение на древней гробнице.
Каракум.

Каракуль.

Каракол —

В камышах мохноногие птицы,
Азиатских веков частокол!

Имена эти в сердце кричат
И никак не улягутся в тени,
Я мечтою ушел по колени
В их сухой лихорадочный чад.

Не экзотика бывших племен,—
Снова душу мою беспокоят
Голубые зрачки водопоев
И орлов угасающий стон.
И зовут меня черные травы
В дорогие, как память, края...
Каратал.

Каракол.

Каратау —

Неужели вы —
сказка моя?

**Пусть подумают,
что хотят**

Обливаясь потом,
Тазу бревно:
Ох, тяжелое,
Черт возьми!
Давит,
Словно пушечный ствол,
Оно,—
Поднажми, сапер,
Поднажми!
Ты ни разу
Не выстрелил
По врагу —
Заржавел карабин
Немой.
Ты
Чугунную землю
Долбил в пургу,—
Что ты скажешь,
Придя домой?
Нет,
По вражьи цепям
Ты не бил в упор.
Что подумают?
Ой, солдат!
Впрочем,
Что о том
Толковать,
Сапер:
Пусть подумают,
Что хотят.
Слышишь стук топоров
И посвист пил?
Слышишь звон лопат?
Не робей:
Ты
Под самый корень
Войну срубил,
Ты
Могилу выкопал ей!

Вспоминается лес

Вспоминается лес,
Где стволы оголенно торчали.
Встали сосны окрест,
Подпирая друг друга плечами.
Вспоминается склон,

Где дымилась рассветные росы.
Отступил
Батальон,
Но деревья вцепились
В откосы.
Прикрывая собой
Батальон,
Отходивший к оврагу,
Вышли сосны на бой
И обратно —
Ни шагу,
Ни шагу!
Позабыл их комбат
Занести в батальонные списки.
Пни,
Чернея,
Торчат,
Молчаливые,
Какobelisks.

Подкова

Дороги.
Бьющий в лица ветерок.
Вы, может быть,
Не видели такого:
В асфальт дорожный
Врезана
Подкова
У въезда
В захолустный городок?
Бензиновый дымок.
Шуршанье шин.
В лучах подкова
Вспыхивает резко:
Она отполирована до блеска
Резиновыми скатами машин.
Видать,
Не нужно было молотка:
Ударом лошадиного копыта
Она в асфальт была
Навечно вбита —
Подкова
На пороге городка.
Грузовики проносятся гудя.
Давно ли здесь она —
Гадать не будем:
Подкову
Подарил на счастье людям
Трудяга-конь,
В отставку уходя.



Рисунок И. Кононова

ДНЕВНИК ИНЖЕНЕРА ГЕИНЫ

РОМАН

СУББОТА. ВЕЧЕР

Поезд из Варшавы прибыл в Б. в 19.30. Я соскочил на перрон и огляделся — Геина должен был встретить меня на вокзале, я предупредил его по телефону.

— Гданьским скорым? — переспросил он.

— Да, экспрессом, в субботу, — подтвердил я...

...Двое стариков разговаривали у пивного киоска, молодая девушка в брючках покупала газеты. Я прошел через переполненный зал ожидания и очутился на широкой площади.

Давно, на второй или третий год после войны, я был в этом городке. Первый репортаж начинающего журналиста. Я ходил еще в мундире и искал потрясающих тем. Но не нашел ничего интересного: разрушенное, пустое местечко, главная улица — сплошные руины, и лишь первые несмелые черты восстановления. Сегодня же меня сразу поглотила красочная толпа туристов, привлеченных полноводным озером и прекрасным лесом, расположенным на окрестных холмах.

Я медленно шел по главной улице — Аллее Болеслава Храброго. В газетном киоске разузнал дорогу до Моджевской. Пройти мне надо было порядочный кусок: до конца Аллеи, потом повернуть на Садовую, затем взять влево... Но я все-таки решил не брать такси — до встречи с Геиной мне хотелось еще немного побыть одному. Может быть, и хорошо, что Эдвард не пришел на вокзал...

С озера тянуло легким ветерком; июль в этом году был жаркий, в Варшаве даже вечера не приносили прохлады. Я глубоко вдохнул влажный воздух и ускорил шаги; только сейчас я почувствовал радость, которая приходит в первый вечер отпуска. Но, к сожалению, это длилось недолго.

Я тут же вспомнил Еву, ее прощальные слова. «Ты должен его убедить, понимаешь?»

Никому другому я не обещал бы ничего подобного, ей же отказать не мог.

В поезде, да и всю ночь перед отъездом я старался не думать о цели моей поездки в Б. Я знал, что не смогу сразу начать разговор с Геиной, не смогу убедить его, не найду нужных аргументов. И вообще — существовали ли такие аргументы?

По телефону я сказал Геине, что думаю написать о нем и его изобретении. Он рассмеялся:

— Об изобретении — никаких подробностей, обо мне — все, что хочешь. Я задержу тебя на несколько дней. Ведь ты еще не был в отпуске? Вот и отдохнешь...

Кончилась Аллея. Я дотащился до маленькой площади; направо убежала узенькая улочка. Прочел: «Садовая». На углу — большое кафе с красивой террасой. Заглянул внутрь и тут же увидел Пету! Он сидел у самого барьера и сосредоточенно меня рассматривал. Узнал он меня? Я видел его неоднократно. Он бывал с Евой в кафе на Фокзале, я встречал их вместе в театре. Как мог я не запомнить его лицо! Значит, он тоже здесь! Приехал к Геине? Ева могла и не знать, что он также решил действовать.

В конце концов какое мне до всего этого дело? Меня интересует только Ева.

Не поклонился ему — мы никогда не были представлены друг другу. Поглядел на его лысый череп, на почти квадратное лицо и только после этого перевел взгляд на девушку, сидевшую с ним рядом. Она спокойно потягивала через соломинку какой-то желтый напиток. Ее лицо тоже показалось мне знакомым. Высокая бронежка с очень темными глазами... Я миновал кафе и повернул на Садовую.

Оказалось, что Геина живет на углу Садовой и Моджевской. Красивый одноэтажный дом был отделен от улицы небольшим садом. Толкнул калитку и тут же увидел Эдварда — он ждал меня на крыльце. Последнее время мы виделись с ним редко; пару месяцев назад я встретил его в Варшаве и сейчас не сразу заметил, как сильно он изменился. Черные набухшие мешки под глазами, серая кожа; похоже, будто он вовсе не бывает на солнце; в улыбке, которой он меня приветствовал, таилась ка-

кая-то совершенно несвойственная ему неуверенность и озабоченность. Неужели он знает о настоящей цели моего приезда? Но я тотчас же отбросил эту мысль.

— Извини, что не встретил тебя,— сказал он.— но у меня полон дом гостей, масса работы, я ужасно устал и плохо себя чувствую. Вообрази — послезавтра я должен ехать в Варшаву! Вчера пришел вызов.— И быстро прибавил: — Но это не должно влиять на наши планы. Ты все равно останешься хоть на пару дней!

Вот так так! Значит, на все у меня только один вечер и один день?!

Пройдя обширный холл, мы поднялись по лестнице в мансарду: разделенные узеньким коридорчиком две маленькие комнатки, в конце коридора — чердак.

— Думаю, тебе здесь будет удобно,— сказал Геина, открывая одну из дверей.— Ванна — внизу. Остальную мою резиденцию я покажу тебе через минуту.

— Неплохой домишко ты себе отгрохал!

Он усмехнулся.

— Да. Люблю этот домик. Его проектировала моя жена. Ты ведь знаешь, она была архитектором. Мы с ней каждую мелочь обсуждали. А теперь...— он махнул рукой.

Мне понравилась комнатка. Широкое окно выходило в сад, у окошка — столик, удобное кресло; диван и два стула дополняли скромную меблировку.

Он показал мне свои владения. Дом был действительно хорошо спроектирован и удобно, прочно построен. Может быть, не так уж современно, но безусловно удобно. Обширный холл нижнего этажа состоял из двух частей: большого зала и узенького коридора с лестницей на мансарду. Из коридора был также вход на кухню, а из холла направо двери в столовую, напротив — в спальню и в ванную, прямо — в кабинет хозяина. Широкие застекленные двери кабинета, самой большой комнаты, выходили на террасу, а оттуда — в сад. Было еще два выхода в сад — по узкой дорожке вокруг дома и из кухни, через маленький дворик. Весьма удобное и целесообразное расположение.

Мы вошли в кабинет. Потом, когда все уже произошло, я смотрел на эту комнату иначе. Но в первый вечер она показалась мне веселой, именно веселой — светлая легкая мебель, яркая занавеска на двери, сосновые полки, не перегруженные книгами. Стол, почти пустой, если не считать пепельницы и письменного прибора, стоял у окна. В углу, близ дверей на террасу, — низкий, светлый столик и низенькие креслица. Геина пригласил меня присесть в одно из этих кресел и вынул из бара две рюмки, бутылку... В первый раз с минуты нашей встречи он посмотрел на меня более сердечно.

— Я действительно рад, что ты приехал,— сказал он.— Давно хотелось поболтать с тобой. Столько раз я приглашал, а ты ждал, пока понадобится тебе какой-то репортаж!

Я мог бы сразу сказать, что этот репортаж — моя собственная выдумка, но промолчал и поднял рюмку.

— Твое здоровье!

— Знаешь,— сказал Геина.— Я все чаще думаю о прошлом. Все чаще возвращаюсь к тем годам. Никогда бы не поверил...— Он рассмеялся.— Никогда бы не поверил, что буду писать воспоминания...

— Ты говорил мне пару месяцев назад,— сказал я осторожно,— что думаешь издать свой дневник.

— Да.— Он стал сразу как-то серьезнее.— Это уже почти решено. Рукопись я беру с собой в Варшаву.

— Какие годы ты описываешь?

— Конечно то, что мне кажется самым важным: конспирация, пар-

тизащиты и потом — армия. Но мои армейские дела ты знаешь, они ведь и твои.

— Охотно почитаю.

— Нет, я сам тебе прочту. Те куски, к которым я больше всего привязан. Помнишь Черный Шопс?

Конечно я помнил. Помнил и то, о чем хотел бы забыть. Но сейчас наши общие дела показались мне далекими и неважными.

— Я охотно прочитал бы, — сказал я упрямо, — весь дневник целиком. Можешь мне просто дать его на ночь.

Геина снова наполнил рюмки.

— Конечно дам, — ответил он помедлив. — Но только не сегодня. Знаешь, у меня такая ндиотская манера, как, впрочем, у всех непрофессионалов, — я пишу прямо на машинке и в единственном экземпляре. Хотелось бы еще поработать сегодня над текстом. Впрочем, у нас еще много времени, — добавил он.

— Не очень-то, раз ты должен послезавтра уезжать.

— Но ты ведь подождешь меня? Дня через два я вернусь. Ты должен подождать!

— Вероятно, не смогу — в среду обещал быть в редакции.

— Ну, позвонишь, объяснишь... Видишь ли... — Он замолчал, словно собирался сообщить мне что-то неприятное. — Завтра день рождения Иоанны. Восемнадцатилетие.

— А я еще не познакомился с твоей дочерью...

— Познакомишься через минуту. Она пошла с Петой в кафе.

Значит, та девушка в кафе была дочкой Эдварда! Пета приехал к нему и жил в этом доме! Нет, этого я не мог предположить. Под одной крышей с этим человеком...

Я угостил Эдварда папиросой, потом долго искал спички. Заметил ли он мое смущение?

— Ты знаешь Пету? — спросил он.

Я дал ему прикурить, глубоко затянулся сам.

— Слышал о нем.

— Пета — один из директоров Варэкспорта. Приехал в сущности, сюда по делам службы, но я, конечно, пригласил его к себе.

Слова «в сущности» и «конечно» Геина подчеркнул. Может быть, это мне только показалось?

— Другой мой гость, — продолжал Геина, — вернее, гость Иоанны, — художник Лобонский из Гданьска. Как раз о нем я хотел бы с тобой поговорить.

— Слушаю.

— Нет, не сейчас. Сначала ты должен с ним познакомиться. Может быть, это глупо, но знаешь, когда у тебя взрослая дочь... Завтра всю компанию увидишь. Мы устраиваем небольшой прием по случаю дня рождения Иоанны.

«Это тоже меня не минуло! — подумал я. — Когда же, черт возьми, я смогу поговорить с Геиной?!»

— Будет также парень Иоанны, — продолжал Геина. — Жених. — прибавил он язвительно.

— Жених? Кто же он?



Збигнев Сафьян принадлежит к поколению польских писателей, которое созревало и мужало во время войны. Он родился в Варшаве в 1922 году. В годы войны был солдатом 2 Армии Войска Польского. Затем стал журналистом. В 1955 году вышел из печати первый роман Збигнева Сафьяна «Весна приходит осенью». В своих книгах «Прежде чем они выступят» (удостоена премии Министерства Обороны Польской республики) и «Потом наступит тишина» писатель возвращается к темам войны.

З. Сафьян — автор нескольких сборников рассказов, цикла телевизионных фильмов под общим названием «Ставка, большая чем жизнь».

— Офицер местного гарнизона, Здислав Кенджинский.

— Я вижу — ты не в восторге?

— Верно, — неожиданно нервно заговорил Геина. Только сейчас звучали в его голосе те острые нотки, которые я так хорошо знал. — Девочке всего восемнадцать, она только на втором курсе и уже собирается замуж! Надо же иметь хоть крошечку разума в голове! Да еще офицер... Он останется в армии. Трудно допустить, чтобы его перевели куда-нибудь в большой город. И что же? Забросить учебу и стать домашней хозяйкой?!

Я засмеялся.

— Конфликт старый, как мир. Отец хочет учить дочку уму-разуму, а она влюбляется...

Геина не ответил на мою улыбку.

— Это очень серьезно, — продолжал он. — Должен тебе искренне признаться — я не люблю этого парня. Раздражает меня его самоуверенность. И неумение ждать. Они хотят осенью пожениться, но я категорически против...

— Сомневаюсь, — произнес я, хотя совсем не хотел спорить с Геиной, — что ты таким способом чего-нибудь добьешься. Подумай, — прибавил я, — как легко ты можешь оказаться в смешном положении...

— А я не боюсь этого!

В кабинет вошла Иоанна. Она показалась мне сейчас красивее, чем там, в кафе. Наверное, она нравилась мужчинам и прекрасно об этом знала.

— Отец мне много рассказывал о вас, — сказала она, — подавая руку.

Я буркнул в ответ какую-то банальность, а Иоанна подошла к столу, глянула на бутылку.

— Коротали время... — иронически бросила она.

— Мы достаточно долго тебя ждали.

— Пан Пета, — рассмеялась она, — должен был мне рассказать все варшавские анекдоты. А я умею так искренне слушать старые анекдоты, что кажется, будто я их слышу первый раз. Ну, а теперь пошли. Геня уже подает ужин.

Пета и Лобонский сидели уже за столом. Увидев меня, Пета покраснел и, знакомясь, не назвал своей фамилии.

— Вы знакомы? — во второй раз спросил меня Геина.

— Знаем друг друга в лицо, — ответил за меня Пета.

Второй гость Геинов Лобонский, высокий, худой, в хорошо сшитом элановом костюме и в белой рубашке, с лицом манекена из журнала мод. «Такие молодые люди, — подумал я, — пользуются успехом у женщин, но редко достигают чего-нибудь в искусстве».

В дверях показалась Геня с блюдом жареной рыбы. Это была неприветливая пожилая женщина, лет около пятидесяти, с очень сухим и морщинистым лицом.

Рыбу, однако, она приготовила замечательно. Я положил себе на тарелку солидную порцию и стал рассматривать собравшихся. Все ели молча; Геина, как всегда, очень поспешно, Лобонский медленно, тщательно препарируя скелет, Пета тыкал вилкой в белое мясо, время от времени поглядывая на меня.

— Как тебе сегодня работалось? — прервала молчание Иоанна, обращаясь к Лобонскому.

— Великолечно. Я был на Замковой Горе. Очень светлое, почти белое на солнце плато с голубым пятном озера, окруженного темной линией леса...

— Художник! — буркнул Пета. — Вы что, пишете цветные пейзажи для украшения квартир?

— Специально для вас напишу такой с удовольствием, — любезно ответил Лобонский. — Продолговатый или квадратный, чтобы повесить над кроватью?

— Они так всегда! — рассмеялась Иоанна. — Директор не ценит живопись.

— Ценю, ценю. Знаю, сколько это стоит!

Гея внесла чай и шарлотку. Шаркая ногами, обутыми в домашние шлепанцы, она обошла стол, ставя перед каждым чашку.

— А вы подолго в Б.? — обратился ко мне Лобонский.

— На пару дней.

— Задержим его, — отозвался Геина. — Ты найдешь здесь массу тем для своей газеты. Хватит на серию репортажей.

— Журналист, — утвердительно произнес Лобонский. — Ну, тут для вас широкое поле деятельности. Вы первый раз в Б.?

— Был здесь однажды очень давно. Хватило маленькой прогулки с вокзала, чтобы убедиться, как здесь все переменялось.

— Переменялось, переменялось, — проговорил Геина. — Я вижу это прежде всего на примере фабрики.

— Папа всегда об одном и том же!

— Именно — об одном и том же! — снова те острейшие нотки в голосе. — Когда я сюда приехал, здесь была только куча развалин, выжженные немцами полуразрушенные фабричные цеха и отряд пионеров, состоящий из таких же дилетантов, как я, тогда еще даже не инженер! Жили мы в деревянном бараке, проекты чертили на полу, у нас даже стола настоящего не было.

— А теперь ваша продукция докатывается до самых отдаленных частей света! — произнес Пета.

— Верно! — Геина сделал большой глоток чаю. — Да, это приносит удовлетворение. Хотя там, в бараке, будущее представлялось нам чем-то вроде непрерывного праздника. Мы не знали тогда, что повседневность поглотит наши возвышенные мечты...

— Прекрасно сказано, — усмехнулся Пета. — Я так и подумал, когда мне сообщили о твоём изобретении, что и этот успех ты воспримешь как вещь обычную, каждодневную. Ты никогда не устраивал для себя личных праздников...

Геина посмотрел на Пету. Это был странный взгляд. Я заметил в нем капельку иронии, презрения и вместе с тем сочувствия. Сочувствие у Геины?

— И тогда ты решил, — медленно проговорил Геина, — несмотря ни на что все-таки встретиться со мной. После стольких лет. Раньше тебе это никогда не приходило в голову?

— Я уже говорил тебе, — с вежливым упорством произнес Пета. — Нужно ли нам снова к этому возвращаться?

— Нет, сейчас, наверное, нет, — подтвердил Геина и посмотрел на меня. — Простите нас.

Иоанна рассмеялась.

— Боже! — воскликнула она. — Вечно какие-то счеты! Вечно ударяют вам в голову какие-то старые истории. Поэтому нам иногда так трудно договориться с вами. Мы-то целиком, без остатка существуем в настоящем! Правда, Витольд?

— Да, — ответил Лобонский, — мы погружены в сегодняшний день, и ничего нам больше не надо. Рыба была великолепная, шарлотка замечательная, жара немного спала, завтра раненько мы пойдем на пляж, а вечером выпьем за твоё здоровье...

— Действительно, — Геина поднялся. — Ничего вам больше не на-

добно! Но иногда забвение нашего прошлого может обернуться опасностью и риском для вас.

— Я знаю, пан инженер, и разделяю ваши взгляды,— ответил Лобонский.

— Да перестаньте вы наконец! — крикнула Иоанна.— Что это за диспут во время ужина? Кто хочет кофе, кто будет играть в бридж, а кто собирается погулять?

— Прошу извинить меня,— сухо произнес Геина,— я должен работать... Этот неожиданный вызов...

— А зачем тебя вызывают? — спросил Пета.

— Для доклада.

— Министр еще не знает твоих проектов? Мне говорил Ломский — знаешь такого? — что ими заинтересовался кто-то на самом высоком уровне.

— Не исключено...— холодно произнес Геина.— Ломский обыкновенный болтун.

— Ну, знаешь! Этот парень многое может!

— Мы все можем многое... на словах... Не люблю я ездить в Варшаву и отираться по кабинетам. У меня — свое дело, своя лаборатория, и этого мне вполне достаточно. Правда, пан художник?

— Безусловно, пан инженер,— любезно ответил Лобонский.

— Конеч, все, точка! — опять крикнула Иоанна.— Папа, отправляйся в кабинет, ты сегодня совершенно невозможен! Геня принесет тебе кофе. А мы выпьем по рюмочке коньяку и усядемся за бридж.

— Мне очень неприятно,— сказал Пета,— но и меня сегодня прошу уволить...

— Ну, как хотите. В таком случае, я пойду прочитаю детектив.

— Конечно, ведь Здислав сегодня занят на службе,— заметил Лобонский.

— Ты его замещаешь, Витольд! Однако делаешь это неуклюже.

Я пожелал всем доброй ночи и вышел из столовой. Вечер был потерян — с Геиной поговорить не удастся; оставался один только завтрашний день. Знать хоть бы наверняка, что я смогу на полчаса остаться с ним один на один! Может быть, я вообще напрасно дал Еве слово?

Я остановился в темном коридоре в мансарде: по левой стороне — двери в мою комнату, напротив живет Пета, а где же спит Лобонский? Наверное, в столовой... Геина в кабинете. Запирает ли Иоанна на ночь свою комнату?.. Что это приходит мне в голову!..

Отворил свои двери, повернул выключатель. Через открытое окно влетела бабочка и начала кружиться вокруг лампы. Я уселся за стол и открыл свой блокнот. Может быть, все-таки что-нибудь записать? Никогда в жизни я не составлял планов разговора с друзьями!..

В дверь постучали. Я не успел ответить — на пороге стоял Пета.

— Входите,— сказал я, закрывая блокнот.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. УТРО И ПЕРЕД ПОЛУДНЕМ

...Проснулся я поздно. Когда открыл глаза, меня ослепило солнце. Почувствовал я себя замечательно. Так и должен чувствовать себя человек в первый день отпуска, в чудесный летний день, когда жалко потерять хотя бы минуту отдыха! Но радужное настроение тотчас исчезло, как только я выглянул в окошко и увидел прогуливающегося по саду Пету. Он тоже заметил меня и любезно поклонился.

Мне вспомнился его вчерашний визит. «Что ты хотел выведать у меня? — подумал я.— Что тебе рассказывала Ева? Вместе ли вы затеяли это дело или действуете каждый сам по себе?»

Я отошел от окна. Вернулось вчерашнее настроение.

«Зачем, к черту, я полез в это дело? — думал я, спускаясь в столовую. — Но с другой стороны — мог ли я отказать Еве?»

Мне очень хотелось поговорить наконец с Геинной, но было как-то боязно. Не заглянув к нему в кабинет, я вышел на улицу. Передо мною была совершенно пустынная в этот час Моджевская. По узенькой дорожке, пробежавшей как раз под окнами спальни и кабинета, я обогнул дом и углубился в сад. Проходя мимо террасы, услышал голоса Иоанны и Геины. Они ссорились.

— Не будь ты средневековым отцом! — возбужденно говорила девушка. — И не упрямься! Мы же раньше были с тобой друзьями...

— Пойми, я хочу тебя уберечь от глупости. Ты не хочешь ни от чего отказаться, не в состоянии пожертвовать ни одним своим капризом! Не умеешь ждать...

— А я не желаю ждать! Не умею и не люблю. В конце концов...

В глубине сада на скамейке сидел Пета. И тут я решил: во что бы то ни стало мне надо сейчас же поговорить с Геинной!

Я вошел на террасу.

— Как дела? — спросил я. — Разрешите принести вам мои наилучшие пожелания, Иоанна. Прошу простить, что пока с пустыми руками.

Геина поднялся из-за стола.

— Тебе повезло, — сказал он. — Прекрасная погода. Советую отправиться на пляж. Иди-ка с Иоанной. Я должен еще поработать.

Нет, этого я не ожидал!

— Не сердись, старик! — продолжал Геина. — Мы уж вечером с тобой потолкуем, после именинного ужина. Молодежь потанцует, поиграет в бридж, а мы...

Как и прежде, спорить с Геинной было бесполезно. Ну что ж, до вечера, так до вечера...

На пляж мы направились по совершенно выжженному солнцем лугу. В прозрачном воздухе четко вырисовывались дома на противоположном берегу озера. Отсюда они выглядели, словно вырезанная из разноцветной бумаги детская картинка.

Иоанна шла на полшага впереди. В шортах и белой блузке она казалась стройнее, чем вчера.

— Нравится вам здесь? — спросила она, замедляя шаг. — Мы пошли рядом по узкой тропинке. — Я познакомлю вас с моим женихом. Они, наверное, уже на пляже, Здислав и его товарищ. — Заглянула мне в глаза. — А вы действительно настоящий друг отца?

Меня немного смутил ее вопрос.

— Как будто да.

— Потому что пан Пета тоже так говорит, но... — она замаялась, — это какая-то странная дружба. Отец никогда раньше о нем не вспоминал. Он появился здесь неожиданно, отец сам пригласил его к нам, а теперь ведет себя так, что мне порою бывает просто стыдно... На месте Петы я бы уехала! Вы, конечно, знаете, что отец иногда бывает невыносим!

— Может быть, вам только так кажется. В конце концов они ведь знакомы давным-давно.

— Возможно... Вчера утром, когда они разговаривали в кабинете, я слышала, как отец кричал на него. Попросту — кричал.

— Старые друзья часто ссорятся.

— Возможно. Я ведь тоже ссорюсь с отцом. И знаете почему?

— Знаю, — рассмеялся я, — из-за жениха.

— Именно. Никак не пойму, почему так происходит: он такой современный, молодой, однако никак не хочет нас понять. Не любит Здислава, считает его мальчишкой, уверен, что замужество искалечит мне жизнь. Какие глупости!

— Речь идет о вашей учебе.

— Учеба! — Иоанна неожиданно засмеялась. — Отец уперся и считает, что у меня есть талант. Но я-то знаю — нет у меня таланта. Самое большее — по окончании института я смогу быть учительницей рисования, а я хочу вернуться в Б., зажечь вместе со Здиславом и отцом в нашем доме, спокойно работать на фабрике или в школе... все равно где...

— Однако надо же закончить институт.

— Все как сговорились — повторяют одно и то же! Я вам скажу по секрету: мне очень трудно учиться. Пробиваюсь сквозь экзамены буквально силой. Есть там пара молодых преподавателей, ну и... Лобонский помогает.

— А Здислав ничего против этого не имеет?

— Против помощи Лобонского? О, он мне доверяет, — ответила она так серьезно, что я улыбнулся.

Луг неожиданно оборвался, и я увидел пляж — длинную, узкую полоску песчаного берега. Иоанна скинула туфли. Я последовал ее примеру и погрузил ноги в горячий мягкий песок. Потом мы бегом пустились к озеру и зашлепали по воде вдоль берега.

— Пани Качмарская, — неожиданно произнесла Иоанна, кланяясь высокой, красивой женщине, игравшей в мяч с коренастым, толстым мужчиной. — И пан Дзюжинский. Ну и ну!.. Вы не слышали об Ирене?

— Никогда в жизни.

— Сегодня вы с нею тоже познакомитесь. Она была пассией моего отца.

— Была пассией... Иоанна!

— А вы не огорчайтесь! Не люблю, когда старшие огорчаются нашей маперой говорить...

— Вот я уже и причислен к старикам, — вздохнул я.

— Простите. Кое-что мы все-таки знаем о жизни наших родителей. Сотни раз я забавлялась, когда видела, как отец старался сделать вид, что ничто их не связывает — его и Ирину. Не перестал скрывать даже тогда, когда они вместе отправились в Закопане. Такой уж он. Думала, что у меня уже будет мачеха, но потом что-то у них разладилось.

Я засмеялся.

— Вас забавляет, что я без перерыва болтаю? Жаль, — вздохнула она с комическим сожалением. — Но кто же не любит посплетничать? Особенно женщины моего возраста. Однако этот Дзюжинский выбрался на пляж с Качмарской... Если узнает жена Дзюжинского, ого, какой будет скандал! Не мешало бы нам выбрать местечко где-нибудь поблизости.

Но мы все-таки пошли дальше. Солнце припекало уже основательно, пляжная сумка Иоанны оттягивала мне плечо.

— Ну, где же этот ваш Здислав?

Она не успела ответить, к нам подходил Здислав, а за ним... Да, конечно, я узнал его сразу, хотя не виделись мы порядочно: Тадек Володко, сын моего командира полка. Только сейчас я почувствовал себя действительно старым...

Я пожал Здиславу руку. Он понравился мне с первого взгляда: великолепно сложенный высокий блондин. «Наверное — исправный офицер, — подумал я. — Но Геина хотел бы интеллигента...»

— А вот капитан Тадек Володко, — улыбаясь, произнесла Иоанна.

— Узнаешь меня, Тадек? — я не был уверен, могу ли обращаться к нему просто по имени.

— Конечно, — ответил он. — Я знал, что ты приедешь.

Это «ты» меня несколько омолодило. Он сильно изменился: лицо как

будто то же — лицо мальчишки со вздернутым, широким носом; однако голубые глаза утратили прежнюю мягкость.

Здислав и Иоанна, взявшись за руки, побежали к озеру. Я остался с Володко. Удобно вытянувшись на песке, я курил и глядел в небо: солнце, видимое сквозь темные очки, превратилось в желтый кружочек на темно-синем фоне.

— Ты еще пишешь? — спросил я.

Когда-то, лет пятнадцать назад, старик Володко (старик! всего на каких-то десять лет он был старше меня) рассказывал мне о литературных увлечениях сына. Тадек читал нам тогда свои рассказы; ничего уже не помню, но, кажется, они не были особенно хороши.

— Вспомнил! Моя работа не имеет ничего общего с литературой. Я офицер службы разведки.

Я сильно затянулся папиросой.

— И Здислав тоже?

— Нет. Здислав армеец, строевой офицер.

Помолчали. Компания, усевшаяся неподалеку от нас, принесла с собою транзистор, мы услышали сигнал трубача с башни Мариатского костела.

— Ты должен мне рассказать, — произнес я, чтобы прервать молчание, — какую-нибудь интересную историю, раскрытое тобою дело... Я с удовольствием бы записал...

— Может быть, что-нибудь и найду, — буркнул Володко. — Только, видишь ли... эти интересные дела редко напоминают сенсационные романы. Кропотливая, мелочная работа.

— Раскрыть преступление всегда интересно.

— Да, конечно. Для тех, кто этим не занимается постоянно. — Он встал и вынул из сумки купальную шапочку. — Купаться будешь?

ВОСКРЕСЕНЬЕ. ВЕЧЕР

Гости начали сходитьсь около шести. В столовой Иоанна готовила кофе и прохладительные напитки. В кухне Геновефа жарила утку. Меня и Лобонского мобилизовали открывать бутылки. Геина все еще сидел в кабинете, работал.

Первая пришла Качмарская. Преподнесла Иоанне узенький золотой браслет — очень дорогой подарок. Уселась на диван и начала щебетать.

— Я сегодня видела тебя, Иоанна, на пляже... Чудесное было купанье... Вы тоже были? Ах, вы из Варшавы? Простите, не расслышала имени. Вы что-то пишете, правда?.. Очень интересно... Мы здесь в провинции... А где Эдвард?

— Папа сейчас придет, — ответила Иоанна.

Действительно, тотчас же появился Эдвард вместе с инженером Дзюжинским и его женой. В костюме инженер выглядел гораздо лучше: хорошо сшитый пиджак, в меру узкие брюки. Жена его — худенькая, милостливая, с большими темными глазами. Покраснела, подавая мне руку. Мне показалось, что я видел ее когда-то, но не мог вспомнить где...

— Ах, — произнесла она. — Как же быстро уплывают годы. Иди, я обниму тебя, Иоанна. Помню, как ты играла в куклы с нашей Стефой.

Дзюжинский уселся на диван рядом с Качмарской. Пета прогуливался по комнате, я нашел себе чудесное местечко у маленького столика в углу под окном.

— Итак, прежде всего — карты, — заявила Иоанна. — Перед ужином вы должны меня порадовать солидным бриджем.

Она стала перечислять:

— Пани Ирена, пан Пета, семейство Дзюжинских...

— Может быть, организуем две четверки? — отозвался Дзюжинский.
— Отпадает. Играет один Витольд. Володко вообще не играет, а Здислав — кое-как. К тому же, их еще нет.

— Может быть, ты сыграешь? — обратился Дзюжинский к Геине.

— Я просил меня сегодня освободить.

— Не нужно никого умолять, — резюмировала Иоанна. — До ужина играем внятно. Остальных прошу пить, заниматься умными разговорами и спокойно ждать, пока будет готова утка. После утки — танцы.

В дверях столовой появились Здислав и Володко. Тадек с цветами, Здислав с маленьким пакетиком. Вероятно, внутри лежало колечко; Иоанна осторожно раскрыла коробочку и поцеловала Здислава в губы.

— Мое обручальное кольцо, — запела она и сделала несколько танцевальных па.

Я смотрел на Геину. Он стоял у окна; лицо его было не то что бледным, а каким-то серым. Не глядя, он нехотно пожал руку Здислава. Однако Володко он приветствовал ласковой, хотя и немного вымученной улыбкой.

— Итак, за здоровье молодой пары! — произнесла Качмарская, поднимая бокал с вином. — Пей, Эдвард, такой чудесный день...

Геина подержал бокал в руке, потом собрался поставить его на подоконник, но он соскользнул на пол и со звоном разбился.

— Стекло! На счастье! — воскликнула Дзюжинская.

В глазах Иоанны появились слезы. Она наклонилась, собрала с полу осколки. На них еще поблескивали золотистые капли вина.

— Ну-с, садимся за бридж, — сказал Дзюжинский, который, по-видимому, лучше всех ориентировался в ситуации. — Прошу, тяните карты, кто будет первым выходящим.

Первой выходящей оказалась Качмарская. Она подошла к Геине, остановилась рядом с ним у окна. Я сидел неподалеку, медленно потягивая из рюмки, и невольно слышал их разговор.

— Кажется, ты утром уезжаешь?

Долгое молчание.

— Ты кончил?

— Да.

— Увезешь завтра в Варшаву?

— Возможно. Не думал, что тебя это интересует.

— Мне кажется, я имею право интересоваться, — очень тихо произнесла Качмарская.

Геина кивнул и отошел к Здиславу, который сидел рядом с Иоанной.

— Пан поручик, — сказал он, — я думаю, нам не помешает прогуляться по саду?

Геина вышел первый, Здислав за ним; он обернулся в дверях и еще раз глянул на Иоанну. Та ответила ему улыбкой. Потом улыбка исчезла с ее лица, она стала нервно перебирать карты.

Над играющими медленно выросло облако табачного дыма. Володко пошире распахнул окошко, однако вечер не принес еще прохлады.

— Может быть, пойдем в сад? — предложил я.

— Не надо, — он уселся рядом со мной. — Пусть себе спокойно побеседуют. Возможно, что-нибудь из этого и выйдет.

Качмарская снова подошла к окошку, секунду постояла, потом вышла из столовой, тихо прикрыв за собою дверь.

— Пани Иоанна! — позвал Пета. — Я выиграл эти пять каре.

— Вы раздаете, — сухо сказала Дзюжинская. — А ты, — обратилась она к мужу, — почему выходишь с пик, когда я сбрасываю восьмерку трэф?!

— Я не заметил...

— Не заметил! Ясно. Вместо того, чтобы играть, ты смотришь на Ирену!

— Однако, моя дорогая!..

После этой игры Пета поднялся из-за стола.

— Ну, пани Иоанна, мы в выигрыше,— сказал он и направился к двери.

— Кто сейчас выбывает?

— Я,— сказала Иоанна.— А где Качмарская?

Ирена появилась на пороге.

— Я опоздала? — спросила она с беспокойством.

— Едва успела,— ответила Дзюжинская.— Все идут к Вацлаву.

К нашему маленькому столику подсели Иоанна и Лобонский.

— Где же этот пан Пета? — спросила Дзюжинская.— Нужно перед ужином закончить роббер.

Лобонский поднялся, открыл двери в холл.

— Пан Пета! Пан Пета! — крикнул он и едва не столкнулся с ним на пороге.

— Иду, иду! — отозвался директор Варэкспорта.

Я вышел из столовой. В холле уже горел свет, двери кабинета были закрыты, входные — тоже.

Когда возвращался, увидел Здислава. Он стоял перед дверьми в столовую, как бы не решаясь их отворить. Заметил меня только тогда, когда я оказался рядом. В электрическом свете лицо поручика показалось мне страшно бледным, рука, лежащая на ручке двери, заметно дрожала. Он не сказал ни слова, только чуть отодвинулся, пропуская меня вперед. Игроки как раз закончили роббер. Качмарская опять уселась на диван, мимо нас прошел Дзюжинский, направляясь к выходу.

Иоанна, оттащив Здислава к окошку, что-то тихо ему объясняла; он стоял молча, понуро. К ним подошел Володко и обнял приятеля за плечи; Здислав на него и не глянул. Тем временем Геновефа начала накрывать на стол, с упреком поглядывая на Иоанну. Качмарская и Дзюжинская стали помогать старухе; Пета вышел куда-то; стало немного тише.

— Я должна помочь Гене,— сказала Иоанна.— Бутылки открыты?

— Справимся,— улыбнулся Лобонский.— О выпивке можешь не беспокоиться.

Мы стали пододвигать стулья к столу; Иоанна указывала кому где сидеть, считала рюмки; Лобонский принес две бутылки и поставил их возле своего прибора.

— Буду подчащим,— заявил он.

— Ну ладно,— сказала Иоанна, оглядывая стол.— Это как будто все. Можно начинать. А где же отец?

— Наверно, все еще в кабинете,— сказала Качмарская.

— Я схожу за ним,— вызвался Лобонский и выбежал из столовой.

Прошла минута, может быть две, и вдруг раздался крик Лобонского. Потом я услышал тиканье часов и сорвался с места может быть секундой позже Володко, который был уже возле двери. Мне запомнилось лицо Иоанны, словно запечатленное на моментальной фотографии: застывшее, тревожное и удивленное.

В кабинете было очень светло, двери на террасу распахнуты. Геина лежал в луче света, падавшего от лампы; рядом с ним на коленях стоял Володко. Лобонский всем телом прижимался к стене. Я услышал плач Иоанны, потом он внезапно оборвался. Качмарская, нежно обняв девушку, увела ее в спальню.

— Боже мой, боже! — выла Геновефа. Она одна сохранила способность говорить.

Володко поднялся с полу и сухо произнес:

— Инженер Геина мертв. Убит. Прошу всех вернуться в столовую и никуда не выходить.

Подошел к столу и поднял телефонную трубку.

НОЧЬ С ВОСКРЕСЕНЬЯ НА ПОНЕДЕЛЬНИК

В полном молчании мы сидели в столовой, стараясь не смотреть друг на друга. Сидели за накрытым к праздничному ужину столом, каждый на предназначенном Иоанной месте, словно веря в то, что все еще можно исправить, что через минуту мы поднимем бокалы и споем «Сто лет», поздравляя именинницу. Только Здислав не занял своего места. Он одиноко стоял у окна, спиной к нам, как бы боясь, что мы увидим его лицо. Я думал о нем. Не о Геине, не об Иоанне, а именно о нем. То, что он вернулся из сада грустный, расстроенный, заметили все. Что он чувствует сейчас? О чем думает? Но ведь... Нет, это чудовишно, неправдоподобно!

— Господи, кто же это сделал? — внезапно произнесла Качмарская.

Никто не ответил, однако в душе все были благодарны ей за то, что она, наконец, прервала тягостное молчание.

— Я постучал в дверь кабинета, — тихо начал Лобонский. — Мне никто не ответил. Я подумал, что инженер, вероятно, еще в саду. Открыл дверь, хотел позвать его с террасы. Я решительно ничего не заметил, когда стоял на пороге — солнце светило мне прямо в глаза... Только через мгновение... Он лежал на полу между столом и книжной полкой, лицом вниз. Штык торчал у него под лопаткой. Тот короткий немецкий штык, что всегда лежал у него на столе...

— Я помню этот штык, — негромко подтвердил я.

— О, молчите, молчите, — вскрикнула Качмарская. Потом впервые громко расплакалась...

Я почувствовал на себе взгляд Меты. Превозмогая себя, посмотрел ему прямо в глаза; он был очень бледен. С силой затянулся папиросой. Короткое мгновение мы смотрели друг на друга, потом Пета отвел взгляд, схватил стоящую перед ним рюмку и залпом выпил вино, сильно закинув назад голову.

Перед домом и в холле началось движение, шум, смысл которого мы отгадывали без труда... Вероятно, никто из нас, собравшихся здесь обыкновенных людей, не имел до сих пор дела с убийством, но, конечно, каждый мог вообразить, что должно происходить после того, как убийство обнаружено. Схему, известную нам по детективным романам, фильмам и сенсационным хроникам, мы должны были сейчас пережить лично. У крыльца остановилась машина, в холле раздался шаг, сюда, в столовую, стали доноситься обрывки каких-то разговоров. В двери заглянул офицер милиции, потом вошел сержант службы разведки, внимательно оглядел нас, произнес «добрый вечер» и уселся в кресло возле маленького столика у окна.

Мне хотелось пить, я был голоден, но не решался смотреть на еду. Будут ли нас допрашивать еще сегодня? Видно, сержант службы разведки уселся здесь, чтобы предотвратить какой-либо сговор между нами... Как долго будут длиться все эти предварительные процедуры? Кажется, уже прибыл врач и фотограф, специалисты по отпечаткам пальцев и следов на полу, уже производят обыск в кабинете... Когда соберут все внешние данные, они вспомнят о нас. Неожиданно горло мне перехватил страх: Геина убит, и сделать это мог только кто-нибудь из сидящих в этой комнате! Значит, также и я...

Наконец нам приказали оставить отпечатки пальцев на специальной таблице. Я старался убедить себя, что это простая формальность, но все

же не мог держаться спокойно. Пета, Лобонский, Дзюжинский также не владели собой. Только Качмарская держалась так, словно все, что произошло и что еще должно произойти, ни в малейшей мере ее не касается. Плакать она перестала и внешне была уже совершенно спокойна.

Через окно ворвался порыв холодного ветра, и в ту же минуту по крыше и подоконнику забарабанил дождь. Здислав высунул голову; дождь стекал по его лицу.

— Льет,— сказала Дзюжинская. Как раз в эту минуту Володко появился в дверях. Здислав порывисто обернулся.

— Можно мне пройти к Иоанне? — спросил он.

— Еще не сейчас,— коротко ответил Володко. Потом обратился ко мне: — Могу ли я попросить тебя?

Я встал. Мгновение мне казалось, что я не удержусь на ногах. Сколько усилий мне понадобилось, чтобы преодолеть маленькое пространство между столом и дверьми!..

— Ты будешь вести следствие? — спросил я, когда мы оказались в холле.

— Да, я,— буркнул Тадек.— Наверное, я.

— Не милиция?

— Геина работал также для армии. Ты об этом не знал?

В кабинете сидел поручик милиции. Геины здесь уже не было, остались только следы крови на полу, на столе громоздились бумаги, вытасченные из ящиков и шкафов. Есть ли между ними дневник?

Поручик милиции аккуратно засовывал в ящики стола какие-то серые стандартные папки с надписями «Дело». Он кивнул мне, не прерывая своего занятия.

— Я хотел, чтобы ты помог нам установить последовательность всего случившегося,— сказал Володко.— Не считай это, пожалуйста, допросом,— успокаивающе прибавил он.

— Я готов...

— И вообще помоги следствию, ты ведь знал Геину лучше, чем кто-либо из нас. Кроме того, ты, кажется, хотел писать о нем?

— И буду о нем писать...

— Не сомневаюсь... Надеюсь, и о следствии... если, конечно, это окажется возможным... Вы ничего не имеете против? — обратился он к поручику.

Тот махнул рукой:

— Мне-то что? Заниматься этим делом будете вы. Я только жду официальных распоряжений, чтобы отдать все в ваши руки и отправиться домой... Впрочем,— прибавил он,— у меня уже сложилось определенное мнение.

Я удивленно посмотрел на него. Какое же мнение могло у него сложиться? Ведь следствие еще не началось!

Володко предложил мне сесть как раз в то самое кресло, в котором сидел вчера Геина во время нашего первого разговора.

Я заставил себя закурить; медленно возвращалось ко мне спокойствие. Действительно ли Володко хочет иметь помощника и одновременно хроникера, фиксирующего все перипетии следствия, или он уже начал игру со мной? Что может он знать о цели моего приезда в Б.? Вернее всего — ничего. Но как мне держаться? Рассказать? Зачем? Умолчать? Ясно одно: ни за что на свете нельзя впутывать в это Еву! А Пета? Ну что — Пета? Я ведь решительно ничего о нем не знаю... Спокойствие! Это сейчас — главное...

— Как он погиб, Геина? — спросил я.

— От точного удара штыком под лопатку. Лежал здесь, между столом и полкой, в полутора метрах от двери на террасу... А сейчас постарайся сосредоточиться и припомнить все точно: по предварительным дан-

ным Геина погиб между 19.15 и 19.45. Что в это время происходило в столовой?

Офицер милиции закончил укладывание бумаг.

— Вот предварительный список, товарищ капитан... Для того чтобы установить, что похищено, надо побеседовать с дочерью покойного... В этой папке то, что вы хотели взять с собой.

— Спасибо,— сказал Володко.— Итак? — обратился он ко мне.

— Подожди... В бридж играли впятером: Дзюжинские, Пета, Иоанна и Качмарская. Около маленького столика сидели мы вдвоем, потом к нам подседа Иоанна, потом Лобонский, затем Качмарская.

— Так мы ни до чего не дойдем. Давай с самого начала: Геина и Здислав вышли в сад. Который это был час?

Я прикрыл глаза. Заметил ли я тогда, который был час? Большие стенные часы висели как раз напротив.

— Без четверти семь! Точно! Я посмотрел на часы как раз в ту минуту, когда они выходили из комнаты.

— Это совпадает с моими подсчетами. Вот, смотри,— он показал мне свой блокнот: — Геина и Здислав вышли из столовой без двадцати минут семь. Кто выходил после них?

Только сейчас я начал понимать, как трудно припомнить мелкие, незначительные, казалось бы, детали того, что происходило так недавно, детали, неожиданно приобретшие первостепенное значение. Я надолго задумался. Так, так... ну, ясно, Качмарская вышла первая. Подошла к нашему столику, а потом покинула столовую.

— Качмарская. Как раз она была первой, выбывавшей в бридже.

— Я вижу, ты помнишь все лучше, чем я,— сказал я с укором.

— Нет ничего более хрупкого, чем память! Который это мог быть час?

— Ну, скажем, пять минут восьмого. Через пару минут к нам подошла Иоанна, а Качмарская вошла и вступила в игру.

— Значит, Качмарская могла находиться вне столовой от десяти до пятнадцати минут?

— Примерно,— подтвердил я.

Офицер милиции поглядывал на нас молча, не вмешиваясь в разговор. У меня создалось впечатление, что подробности, которые Володко тщательно восстанавливает, не кажутся ему такими уж важными.

— Ну, а потом?

— Ясно. Теперь помню точно — следующий вышел Лобонский. Он принес нам «Арманьяк». Иоанна разлила его по рюмкам и вышла с Геней в кухню. Могло быть уже примерно половина восьмого... Если мы, конечно, правильно устанавливаем время....

— А Пета?

— Помнишь, поднялся крик у карточного стола — «где Пета?», и Лобонский побежал к двери, а Пета как раз в это время вошел.

— Сколько минут он мог быть вне столовой?

— Не знаю.— Я прикрыл глаза и произнес негромко: — Потом выходил я.

— Так,— сказал Володко.— Ты. Где ты был?

— У себя в комнате. Вынул из чемодана папиросы и тотчас спустился вниз.

— Итак, ты вернулся вниз. Не заглядывая в кабинет? Не встретил ли кого-нибудь в холле?

— В холле я увидел Здислава.

Теперь заинтересовался тот, из милиции.

— Откуда выходил Кенджинский?

— Не знаю. Он стоял у двери в столовую.

— Это значит,— опять спросил милиционер,— что он открывал двери? Или просто стоял около них?

— Я подошел в тот момент, когда он уже держался за ручку двери, потом открыл ее и пропустил меня вперед.

— Который был тогда час? — спросил Володко.

Я пожал плечами.

— Кажется, минут двадцать восьмого...

— Дальше?

— Затем вышел Дзюжинский и опять Пета. Игру прервали, все крутились по дому, Иоанна и Геновефа накрывали на стол к ужину...

— Только никто не заглядывал в кабинет,— сказал милиционер.

— Кроме убийцы...

— Итак, мы установили,— начал Володко,— что между семьей и семьей из столовой выходили все. И у каждого было достаточно времени...

Поручик скривился.

— К чему это — «все»? Я не хочу вмешиваться, повторяю, я жду только официального распоряжения, но не могу понять, куда вы клоните? И для чего расширяете круг подозреваемых?..

— А я не расширяю...

— На вашем месте я раньше всего допросил бы Кенджинского.

— Да, вы правы.— Казалось, что Володко думает о чем-то совершенно постороннем.— Я жду дактилоскопических выводов.

— Ну что вам даст дактилоскопия? На штыке следов не было. Убийца действовал в перчатках.

— Но следы были на замках шкафов и на столе.

— Наверное — следы Геины... В ящиках стола — совершенный порядок. Ключи торчат в замках. Мы не знаем, может быть, вообще ничего не пропало...

— Что-нибудь обязательно пропало. Только я еще не знаю — что...

— Не думаю,— ответил поручик.— Никаких следов поисков...

Володко подошел к столу.

— Видите,— сказал он,— видите вот эту тоненькую царапину возле замка? Словно кто-то силился открыть ящик отмычкой — и она соскользнула...

— Это может быть старая царапина. Зачем отмычка, если есть ключ?

— Да, да, конечно... Не можете ли вы позвонить этим вашим ребятам из лаборатории? Может, у них уже что-нибудь есть...

Поручик поднял трубку и несколько секунд держал ее прижатой к уху.

— Есть в этом доме еще один аппарат?

— Да,— сказал я.— В спальне.

— Попроси сюда Здислава,— обратился ко мне Володко.— И загляни в спальню. Посмотри, как чувствует себя Иоанна, ну и... сам понимаешь...

В столовой напряжение несколько ослабло; Геновефа принесла утку и накладывала на тарелки огромные порции. Глянула на меня, когда я входил.

— Жалко, если испортится,— сказала она.

— Вас просит Володко...— сказал я Здиславу.

Он тотчас вскочил, одернул мундир и направился к двери. Все молча поглядели ему вслед. Я вышел за ним, прошел через холл, постучался в спальню. Кто-то тихо отозвался:

— Прошу...

Иоанна сидела на коврике возле кровати. Она уже не плакала. В ее покрасневших, окруженных тенями глазах таился страх.

— Иоанна,— сказал я,— это ужасно. Я очень вам сочувствую. Рассчитывайте на меня...

— Я знаю, что могу рассчитывать на вас. И на всех,— ее голос дрогнул.— Только скажите мне — ведь это не он, наверное не он?..

— Нет, конечно, не он,— подтвердил я и почувствовал, что у меня задрожали руки.— Не думайте об этом. Все выяснится...

— Если бы Гея принесла мне кофе... Я буду, наверное, нужна... там. Скажите, что я могу. Я все могу...

Я отдал распоряжение Геневефе насчет кофе и вернулся в кабинет. Володко и Здислав сидели у маленького столика, офицер милиции за письменным столом. Все одновременно посмотрели на меня, потом Володко указал мне на стул, стоящий рядом с ним.

— Итак,— продолжал он,— разговор принял острый характер. Ты выложил Геине свои аргументы...

— Вообще-то, говорил больше он,— тихо отозвался Здислав.— И очень неприятные вещи...

Офицер милиции с особым вниманием приглядывался к Кенджинскому. Чувствовалось, что он придает огромное значение каждому его слову, фиксирует в памяти каждую деталь и явно готовится к атаке.

— Что именно? — продолжал Володко.

— Что я поступаю безответственно, что порчу Иоанне жизнь, что между нами слишком большая разница в годах, что мы не будем счастливы и, наконец... Геина предупредил меня: он сделает все, чтобы не допустить нашего брака. Мечты Иоанны о жизни в этом доме втроем он считал глупостью и ребячеством...

— А ты?

— Я... видишь ли, я заранее продумал то, что должен был ему сказать... Я никогда не помешаю Иоанне в ее учебе, а, наоборот, буду уговаривать продолжать занятия. Мы любим друг друга, и нам будет хорошо вместе. И мое начальство пойдет мне навстречу, я ведь тоже хочу учиться...

— А он?

— Что все это несерьезно. Вернее, он сказал более резко: «Не горит! Иоанне только восемнадцать. Может еще три года подождать».

— Вы не согласились с ним? — вмешался поручик милиции.

— Нет. Не согласился.— Здислав поднялся со стула.— Я сказал ему, что удивляюсь. Удивляюсь старому партизану, который так смотрит на человека в мундире...

— И тогда?..

— И тогда он крикнул, чтобы я ему не морочил голову школьными истинами... Я встал и ушел...

— Сейчас, сейчас, позвольте, снова вмешался поручик.— Вы встали со скамьи. Так? И что было дальше?

Неужели Здислав не понимает всей серьезности ситуации?

— Встал со скамьи и ушел.

— А Геина остался? — спросил Володко.

— Он продолжал сидеть, когда я отошел. Даже не пошевелился.

— В котором этом могло быть часу? Ты не посмотрел на часы?

— Нет...

— Каким путем вы возвращались в столовую? Через кабинет или по тропинке вокруг дома?

— По тропинке...

— А почему не кратчайшей дорогой? — спросил поручик.

Голос, которым он задал этот вопрос, был суров, настойчив.

Здислав растерянно посмотрел на милиционера.

— Не знаю... Не хотелось сразу возвращаться в дом...

— Итак, ты ушел,— спокойно сказал Володко,— и в холле встретил вот его...

— Да,— подтвердил Кенджицкий.— Но я не сразу вернулся в дом. Я задержался у калитки, даже открыл ее, курил, думал...

— И долго вы так думали у калитки? — иронически бросил милиционер.

— Не знаю. Возможно, минут пятнадцать.

— Может быть, кто-нибудь заметил вас? Вы ни с кем не разговаривали, никого не видели?

— Никого. Ну... конечно, много людей проходило мимо, возвращаясь с пляжа, но я...

Он вдруг замолчал, поглядел на Володку и неожиданно сорвался с кресла. Потом произнес задыхаясь, с трудом выталкивая из горла слова:

— Послушайте... Вы думаете?! Вы думаете, что это я?! Володка, друг, ну скажи, правда ведь — ты не можешь так думать?!

Володка молчал. Молчал и поручик. Здислав внезапно весь сжался, умолк и сел обратно в кресло.

— Спрашивайте,— сказал он тихо.— Спрашивайте обо всем.

— Где твои перчатки? — Володка смотрел ему прямо в глаза.— Те, в которых ты всегда ездешь на мотороллере?

— Как всегда... я оставил их вместе с шапкой на вешалке в холле.

Поручик сорвался с места и вышел, не прикрыв за собою дверь.

— Их там нет,— вернувшись через минуту, сказал он.— Есть только ваша шапка.

Здислав беспокойно пошевелился.

— Может быть, я оставил их в багажнике... Однако нет, я помню, они были на вешалке.

— Проверим и в багажнике.

Володка вышел, и мы услышали, как он отдает кому-то распоряжение. Странно, несколько минут назад я был в холле, в спальне — и никого не заметил.

— В июле,— сказал офицер милиции,— мужчины обычно не носят перчаток... Женщины... и то только по вечерам...

Здислав недоуменно посмотрел на него.

— Почему вас интересуют мои перчатки? Что тут общего?..

Поручик не ответил. Взгляд Володка скользнул по нашим лицам, обратился на поручика, потом остановился на мне.

— Послушай, когда Геина вошел в столовую, он был в пиджаке или в одной рубашке?

— Кажется, в рубашке...

— А в саду?

— Точно — в рубашке,— отозвался Здислав.

Только сейчас я заметил, что пиджак Геины висит на спинке кресла.

— Где он мог держать ключи? — тихо спросил Володка. И тут же ответил сам себе: — В кармане пиджака? А может быть — в брюках? Потому что откуда же... — и тотчас прервал себя.

В кабинет вошел сержант.

— Докладываю, гражданин капитан, в мотороллере нет никаких перчаток.

— Итак — пропали ваши перчатки,— бросил поручик милиции.— Странно...

— Я... — начал было Здислав, однако его прервал сдержанный голос Володка:

— На сегодня достаточно. Возвращайся в столовую. Протокол... оформим завтра...

Мы снова остались втроем. Я думал, что офицеры тотчас начнут обсуждать данные, полученные от Здислава, возникнут первые концепции, мнения их обязательно не совпадут; поручик явно подозревает в убийстве

Кенджинского. Его реакция на пропажу перчаток была совершенно недвусмысленной. А Володко? Ведь они со Здиславом друзья?!

Однако оба офицера молчали. Володко наклонился над своим блокнотом, поручик закурил, не выражая ни малейшего желания открывать дискуссию. Я почувствовал себя почему-то неуверенно; мне казалось, что они оба ждут чего-то от меня, каких-то объяснений.

— Ну что ж! — наконец произнес Володко. — Пора, кажется, пригласить сюда Иоанну?

Поручик кивнул. В эту минуту вошел сержант.

— Ничего не найдено, — доложил он.

— Попросите сюда дочь инженера, — приказал Володко.

Вошла Иоанна. Оба офицера встали и сдержанно выразили ей свои соболезнования. Они вели себя так, словно извинялись за свое присутствие в доме в эту трагическую минуту.

— Садитесь, Иоанна, — произнес Володко, — мы постараемся не мучить вас долго, только два-три вопроса...

— Я готова. Не беспокойтесь.

— Знаете ли вы, что находится в ящиках стола и в шкафу?

Она задумалась.

— Скорее — нет. Отец всегда сам убирал у себя. Я только иногда вытирала пыль на столе, он любил, когда я это делала при нем... — голос ее дрогнул.

— Так, понимаю. — Володко подошел к столу, выдвинул ящики. — Просмотрите, пожалуйста, бумаги. А вот составленный нами список.

Иоанна долго рассматривала листок бумаги, поданный ей Володко. Я видел, как трудно ей давалось спокойствие.

— Письма от мамы, — шептала она. — Мои письма. Проекты и счета по дому, поздравления друзей по поводу Государственной премии... Не знаю, может быть это и все. — Губы ее скривились и задрожали. — А где же дневник?!

— А вы читали дневник? — спросил Володко.

— Где он? Неужели пропал?

— Да. По-видимому, дневник вашего отца украден... Вы читали его? — повторил Володко.

Нет. Иоанна не видела дневника.

— Отец писал его в течение последнего года. Когда я приехала на каникулы, он сказал, что думает его издать и что прочитает мне некоторые куски. Но я... — она опустила голову, — не очень-то этим интересовалась... Там все о старых, давних днях, об оккупации...

— Так, значит, отец писал только о годах войны?

— Не знаю, — в глазах девушки блеснули слезы. — Может быть, и о более позднем времени. Он многое пережил уже здесь, в этом городке. Строительство фабрики, споры об этом изобретении.

— Знал ли Кенджинский о дневнике? — вмешался в разговор поручик.

Иоанна посмотрела на него удивленно.

— Здислав? Конечно, знал. Я сама ему рассказывала. Но какое ему было дело до дневника? Послушайте... — она посмотрела на нас со страхом, — о чем вы, собственно, думаете? Кого подозреваете?

— Успокойтесь, прошу вас, — голос Володко был мягок, почти ласков. — И для вас и для нас самое важное — установить истину.

— Он не мог этого сделать!

Молчание.

— Почему вы ничего не ответите? — Она пристально посмотрела на Володко. — Почему он не пришел ко мне? Почему он оставил меня одну?!

— Я запретил ему.

— Запретили? Вы? По какому праву?

— Я хотел прежде поговорить с вами, Иоанна,— тихо ответил Володко.— Это важно для вас и... для меня. Прошу вас, скажите мне искренне: очень ли вы считались с мнением отца?

Иоанна задумалась. Казалось, она вот-вот заплачет.

— Да, это так, я с ним очень считалась.

— Вышли бы вы за Здислава, если бы отец все-таки не согласился на ваш брак?

— Прошу вас, не задавайте мне таких вопросов! Все равно, при любых обстоятельствах я вышла бы за Здислава, но я хотела, чтобы в этом доме мы зажили все втроем...

— Так,— протянул поручик. Он хотел еще что-то прибавить, но Володко помешал ему.

— Знали ли вы, по какому поводу отец собирался в Варшаву? — спросил он поспешно.

— Конечно. На конференцию в министерство и в издательство.

— Кто еще знал о целях его поездки?

— По-моему, все. И Качмарская, и Дзюжинский, и Пета, и Витольд.

— Здислав также?

Она кивнула.

— Качмарская часто бывала у вас в последнее время?

— В последнее время — нет. Когда-то очень часто... Вы же знаете...

— Все в городе знают,— пожал плечами поручик.

— По какой причине произошел разрыв? Отец говорил когда-нибудь с вами об этом?

— Отец не говорил со мною о таких вещах...

— А Качмарская?

— Ирена? Вначале она меня немного опекала, словно будущая мачеха. В прошлые каникулы ходила со мной всюду — на пляж, в магазины, в кафе... Потом все как-то сразу изменилось...

— Вы устали? Может быть, прервем?

— Нет, нет, не хочу. Не хочу оставаться одна... Они там все принялись за утку. Может быть, подать и вам?

Никому не хотелось есть. Попросили только кофе. Когда Геня принесла чашки, я поглядел на часы. Было уже больше десяти. Что Володко собирается всю ночь заниматься допросами или, как он их называл — предварительными беседами?

— Еще пару вопросов, Иоанна. Отец когда-нибудь прежде говорил о Пете?

— Никогда не слышала этого имени.

— Каковы были их взаимоотношения? Не заметили ли вы чего-нибудь, ну, скажем — странного?

— Странного? — она пожалала плечами.— Отец был скорее холоден к нему... однако...

— Прошу вас говорить совершенно искренне.

— Однажды я слышала, как они ссорились. В кабинете. Отец был сильно возбужден. Я слышала голоса, но не знаю, о чем был спор.

— Вы ничего не слышали?

Она нахмурилась. Подумала секунду.

— Кажется, ничего. Только одну фразу Петы, но я не уверена... Что-то вроде: «Ты не можешь так поступить со мной!»

— И последнее на сегодня — когда вы познакомились с Лобонским?

— С Витольдом? В прошлом году, в Гданьске. Он очень способный художник. И помогал мне в учебе. Ну, я и пригласила его к нам.

— Благодарю вас, Иоанна! — Володко поднялся.

— Минуточку,— вмешался поручик милиции.— Скажите, пожалуйста, в то время, когда Геня и Кенджинский разговаривали в саду, вы выхо-

дили из столовой? Было так: Лобонский вернулся с коньяком, и через минуту служанка вызвала вас на кухню...

— Припоминаю...

— Вы ничего не видели? Никуда не заходили?

Иоанна на минуту задумалась.

— Нет. Я с порога заглянула в кухню, потом собралась идти в ванную.

— Значит, вы были в ванной?

— Нет. Ванная была занята.

— Как? — воскликнул Володко. — Ванная была занята?

— Совершенно верно.

— Прошу как следует все припомнить, это очень важно, — подчеркнуто серьезно произнес Володко. — Вы оставили Геновефу в кухне, попробовали отворить двери ванной и вернулись в столовую. Все ли были в это время в комнате?

Иоанна прикрыла глаза.

— Кажется, да. Точно. Около маленького столика сидели вы оба. И Лобонский. У карточного — вся четверка. Вистовали.

— Пета сразу после этого вышел! — сказал Володко, заглянув в свои записи. — Спасибо, это все.

Иоанна встала; когда отворяла дверь, еще раз глянула на нас. Хотела что-то сказать, но сдержалась. Только в глазах ее я снова заметил страх...

Володко молчал, склонившись над своими записями.

— Около половины восьмого, — возбужденно заговорил поручик. — За маленьким столиком пьют коньяк, который только что принес Лобонский. Все находится в столовой. Все в столовой, — повторил он. — Кто же может занимать ванную? Ясно — убийца, который только что покинул кабинет.

Я посмотрел на свои руки — они снова слегка дрожали. Вынул из кармана пачку папирос «Кармен», протянул Володко; тот отказался, поручик закурил.

— Вы проводите следствие, — сказал он. — Однако мне кажется... опыт подсказывает, что самые верные решения большей частью — самые простейшие. Мне очень неприятно... вас это должно огорчить... но я бы уже обратился к полковнику за ордером на арест.

— Да, — ответил Володко, — я понимаю. Все очень логично — в ванной мог быть только Кенджинский. Или..

— Или кто?

— Или Геина. Если предположить, что убийство совершилось через пару минут после половины восьмого.

Поручик на минуту задумался.

— По словам Кенджинского Геина оставался в саду. Как долго? Потом вернулся один в кабинет. Кенджинский утверждает, что стоял у калитки, но свидетелей нет.

— Нет свидетелей, — повторил Володко.

Опять мне показалось, что думает он о другом.

— Беда, — прибавил он тихо. — Надо все начинать сначала.

— Дом и сад обысканы, товарищ капитан.

Уже обыскали!

— И обыск ничего не дал.

— А письма?

— Не думаю, чтобы они имели какую-либо связь с этим делом. Почему вы не спросили о них у дочери убитого?

«Какие письма? — растерянно думал я. — Неужели кроме дневника были еще какие-то письма?»

Володко промолчал. Он спрятал лицо в ладони и долго сидел неподвижно. Потом встал и отворил двери в холл.

— Попросите сюда гражданку Качмарскую, — сказал он. — Мы будем выслушивать остальных в том порядке, в каком они выходили из столовой, — объяснил он нам.

Я глянул на часы — было уже почти одиннадцать.

Вошла Качмарская, кутаясь в голубую шаль, и уселась в кресло, неподалеку от Володко. В первый раз я посмотрел на нее внимательно: темные волосы, спадающие на лоб, узкое, худощавое лицо, прямой нос, изящно очерченные губы. Обаятельная, беспокоящая красота. Почему Геина бросил ее? Или, может быть, это она бросила Геину? Думаю, те же самые вопросы задавал себе в эту минуту Володко.

— Я слушаю вас, — сказала она низким, глубоким голосом. Выглядела она совершенно спокойной.

Володко предложил ей папиросу.

— Как давно вы знакомы с Геиной?

Она медленно выдыхала дым.

— Очень давно. Сейчас мне кажется, что с сотворения мира... Когда я приехала сюда после окончания института, Геина уже жил в Б.

— В каком это было году?

— Неужели такое давнее прошлое может иметь что-нибудь общее с сегодняшним вечером?.. Это был 1952 год. Я начала практиковать у адвоката Свентецкого.

— И тогда же между вами установились близкие отношения?

— Товарищ капитан! — голос ее звучал сухо и резко. — Не думаю, что перипетии нашей дружбы могут стать предметом следствия. Я охотно отвечу на все вопросы, однако хотела бы избежать темы, которая для меня достаточно болезненна.

— Понимаю. Пани адвокат великолепно знакома с процедурой...

— Конечно, — прервала она. — В мои планы вовсе не входит доставлять вам лишние хлопоты... Словом... Когда я приехала в Б., Геина был женат. Наша... дружба, которая в этом местечке, — она презрительно скривила губы, — была на устах всех местных сплетниц, началась значительно позже... Позже, чем сплетни на эту тему...

— Вы извините меня, но я должен задать еще два вопроса, связанные с этим делом: собирались ли вы пожениться?

— И второй?

— Что произошло за последние несколько недель между вами и инженером?

Качмарская ответила не сразу. Когда начала говорить, я почувствовал, как осторожно она выбирает каждое слово.

— Нет, я никогда не собиралась выходить замуж за Геину, а почему — объяснять не буду. На второй вопрос я также не смогу вам ответить удовлетворительно. Отношения между людьми складываются по-разному, неровно. Я думаю, вы не ждете от меня подробного психологического анализа?

Она подняла на него глаза. Большие, слегка покрасневшие.

— Мои отношения с Геиной не имеют никакого значения для следствия...

— Может быть, вы предоставите оценки мне?

— В последнее время ничто меня с Геиной не связывало.

Володко кивнул, глотнул холодного кофе из стоящей перед ним чашки.

— Знали ли вы, зачем Геина едет в Варшаву?

— Да. Какая-то конференция в министерстве.

— Слышали ли вы что-нибудь о дневнике инженера?

Прошло несколько секунд, прежде чем она ответила равнодушно:

- Слышала кое-что.
- Что именно? — переспросил Володко — Не можете ли вы мне сказать: Геина начал писать свои воспоминания тогда, когда еще отношения между вами были, так сказать... нормальными?
- Качмарская посмотрела ему прямо в глаза.
- Меня не интересовали литературные опыты моего умершего любовника, господин капитан!
- Это означает, что вы не читали дневника?
- Я не могла бы сформулировать точнее!
- И не интересовались им?
- Я уже ответила.
- А ее разговор с Геиной в столовой?!
- И инженер никогда ни о чем вам не рассказывал?
- Прошу меня извинить, но это детский вопрос. Конечно же мы говорили о многом... Мужчины вообще любят вспоминать, они влюблены в свои переживания!.. Однако от женщины трудно требовать, чтобы они помнили все... все, что им пришлось пережить.
- Однако,— перебил Володко,— вас интересовал дневник Геины?
- Качмарская не ответила ни слова.
- Ну, как хотите. Думаю, мы еще вернемся к этой теме.
- Мне кажется, что не так уж трудно установить истину,— сказала Качмарская,— Впрочем... Прошу спрашивать дальше...
- Вы покинули столовую примерно в пять минут восьмого?
- У вас великолепная память!
- Ваше отсутствие длилось около десяти минут?
- Очень возможно,— с лица Качмарской не сходила проницательная улыбка.
- Где вы были?
- Убила Геину и вернулась к начатой рюмке коньяка.
- Попрошу вас не шутить!
- Это вы, по-моему, шутите, капитан. Я пошла немного подышать свежим воздухом. Вы сами знаете, как душно было в столовой.
- Куда?
- В... в сад.
- Я заметил блеск заинтересованности в глазах поручика милиции.
- Какой дорогой прошли вы в сад?
- Качмарская внезапно утратила самоуверенность.
- Дорожкой вдоль дома... И вернулась той же дорогой.
- А почему не через кабинет?
- Не знаю... Я думала, что там может быть Геина...
- Но ведь вы знали, что Геина в это время сидел в саду с Кенджинским?
- Возможно... Не подумала об этом...
- Что вы делали в кабинете?
- Я не была в кабинете!
- Как хотите. Обращаю ваше внимание, что вы можете оказаться в трудном положении.
- Оставьте мне заботу об этом!
- Ладно. Что вы увидели в саду?
- Сидящих на скамейке Геину и Кенджинского. Я не хотела им мешать...
- Когда вы в последний раз были в кабинете?
- Не знаю. Не помню. В конце концов я достаточно частый гость в этом доме.
- Офицеры переглянулись.
- Ну, кажется, на сегодня все,— сказал Володко.— Советую вам, пани адвокат, подумать до утра. Это очень серьезно...— Качмарская

молча поднялась и направилась к двери.— Не будете ли вы так любезны попросить сюда Лобонского?

Художник выглядел очень усталым. Он уселся на краешке стула и сразу закурил.

— Это ужасно,— произнес он.— Чем я могу быть вам полезен?

— Как давно вы знали инженера Геину?

— Я познакомился с ним десять дней назад, когда приехал с Иоанной в Б.

— Знали ли вы, что Геина пишет дневник?

— Знал, но меня это никогда не интересовало.

— Сколько вам лет, Лобонский? — неожиданно вмешался поручик.

— Двадцать восемь.

— Вы по специальности художник?

— Да. Прежде всего — плакатист,— усмехнулся Лобонский.— Могу похвалиться определенными успехами в этой области.

— Знаете ли вы, что у Иоанны есть жених?

— Конечно. Наши отношения были чисто товарищескими.

Володко перелистал свой блокнот. Потом неожиданно вытянул из-под бумаг, лежавших на столе, длинный серый конверт. Высыпал его содержимое: листочки бумаги, покрытые четкими ровными строчками. Я узнал почерк Геины. Вот о каких письмах шла речь! Что, однако, общего может иметь с ними Лобонский? Я пристально смотрел на художника: он не отрывал взгляда от стола, лицо его словно отяжелело. Минуту длилась тишина. За окном снова шел дождь, крупные капли ударялись о каменный настил террасы.

— Узнаете? — спросил Володко почти шепотом.

— Да,— сдержанно ответил Лобонский. Поднял глаза и прямо посмотрел на поручика.

— Это обнаружено во время обыска в вашем чемодане. Прошу ответить на вопрос: каким образом вы оказались владельцем писем Геины, написанных им Иоанне?

— Я взял их у нее в Гданьске перед выездом сюда.

— С ее ведома?

Минута молчания.

— Без ее ведома,— в тихом голосе художника я не обнаружил ни капли страха.

— Значит, вы их украли?

Молчание.

— Вы украли эти письма,— повторил Володко.— Зачем вы это сделали?

— Меня интересовало все, что касалось Иоанны.

— Вернее — все, что касалось Геины?

— Именно. Геина меня сильно интересовал,— Лобонский весь напрягся; он говорил теперь громко, возбужденно.— Интересовал как отец Иоанны. Да, да, я не могу, не буду отпираться, можете думать, что вам угодно! В день отъезда я был у нее и увидел эти письма. Я думал, что это от него, от Кенджинского... И взял их... Из ревности... Даже не знаю, для чего. Хотел отдать, когда увидел, что это письма отца...

— Почему же вы до сих пор их не отдали?

— Не мог... не хотел признаваться. Я решил сделать это так, чтобы она не заметила...

— У вас было, кажется, достаточно возможностей сделать это.

— Я все время откладывал и откладывал...

— Что вы искали в письмах Геины?

— Но я же не знал, что это письма Геины!

Володко собрал письма и вложил их обратно в конверт.

— Я отдам этот пакет Иоанне,

— Прошу вас, не делайте этого! Позвольте мне сделать это самому!
— Посмотрим. Вы читали их?
— Просматривал. Когда я убедился, что это от отца, они перестали меня интересовать.

— Знала ли Иоанна, что вы влюблены в нее?

— Я не могу ответить точно. Возможно — догадывалась.

— А инженер Геина?

— Никогда ему не признавался.

— Я тоже так думаю,— усмехнулся Володко.— Однако он относился к вам не очень доброжелательно.

Лобонский выпрямился.

— Я никогда не был в претензии на инженера Геину. Это был человек крупный. Я любил его.

— Ах... вы его любили! И может быть, потому так заинтересовались его письмами.

— Я уже сказал и не буду повторять,— тон Лобонского становился все более агрессивным.— Вы великолепно знаете, что был кто-то другой, действительно не любивший Геину.

— Как я должен вас понять?

— Мы оба это знаем...

— Пан Лобонский! — Володко ударил кулаком по столу.— Ваша обязанность — отвечать на вопросы!

Лобонский молчал. Он крепко стиснул губы и прищурился, словно свет лампы резал ему глаза.

— Все видели: я пошел наверх за бутылкой коньяка. Мои вещи стоят в той комнате, которую занимает сейчас Пета.

— Итак, вы взяли бутылку и спустились вниз. Почему это длилось так долго?

— Почему — долго? Да, я входил еще в ванную.

— Перед тем как подняться или на обратном пути?

Мне показалось, что Лобонский немного замаялся.

— Я вышел из столовой,— проговорил он медленно,— зашел в ванную и после этого поднялся наверх.

— Почему вы сразу об этом не сказали?

— Люди как-то не придают значения таким «происшествиям», как пребывание в ванной!

— Предположим... Вы первый открыли убийство. Прошу вас, расскажите еще раз, как это было.

— Ну, сели мы ужинать, а Геина все еще не появлялся. Я побежал за ним. Он лежал в кабинете, как раз вот здесь — между столом и полкой...

— Что же вы тогда сделали?

— Не помню. Со мною было нечто вроде шока. Кажется — крикнул, а потом упал на пол рядом с ним...

— Можете ли вы что-нибудь еще добавить?

— Кажется, ничего. Я был потрясен. Это напоминало кошмарный сон...

— Хорошо, благодарю вас.

Итак, сейчас очередь Петы. Знает ли Пета о моей дружбе с Евой? Не мог же я бесконечно двигаться, как во мгле, ничего не зная точно! Как мне поступить? Как, к дьяволу, должен я себя вести?

Великолепно держится этот Пета! На квадратном лице — ни следа волнения. Спокойно присматривается к Володко, угощает его папирсом.

— Как давно вы знали Геину, пан Пета?

— Очень давно.

Он говорил медленно, обдумывая каждое слово, но без всякого сму-

щения и совершенно четко. Так ведут себя люди, которым нечего скрывать!

— В сорок втором году мы были с ним в одном отряде, потом наши дороги разошлись.

— То есть? Прошу поподробнее.

— Слишком долго рассказывать. Впрочем, вы сами помните — весна сорок второго года была только началом. Мы жили тогда в маленьком келецком местечке Острыне. Там формировался наш отряд. Мы провели пару удачных диверсий. Летом, во время нападения на жандармский пост, наш отряд был разбит.

— Как это было?

— Долго рассказывать,— повторил Пета.— Вкратце: план операции был хорошо продуман. Цель: освобождение арестованных за день до этого жителя местечка. Мы уже заняли пост, когда прибыли грузовики с солдатами. Мы этого не ждали и были застигнуты врасплох. Из всего отряда спаслись только я и связистка. Мы думали, что Геина тоже погиб. Оказалось, он был только ранен, и несколько недель его укрывали у себя крестьяне. А потом, за все время оккупации, мы так больше и не встретились.

— Ваша подпольная кличка?

Пета замялся.

— Дикая Кошка.

— А Геины?

— Бартек. Потом,— прибавил он,— Геина вступил в армию, а я оставался штатским. Так наши дороги разошлись.

— Когда же вы встретились вновь?

— Ну... что Геина жив, я узнал давно. Говорили мне — он закопался в этой дыре. Однако встретились мы только этой зимой в Варшаве на какой-то конференции.

— И он тут же пригласил вас к себе?

— Старая дружба,— мягко усмехнулся Пета,— не всегда выдерживает проверку временем. Даже дружба партизанская. В Б. я приехал по делам службы. Я, как вы знаете, являюсь одним из директоров Варэкспорта. Выяснял здесь возможности экспортировать продукцию местной фабрики.

— Это означает, что отношения между вами и Геинной были скорее холодными?

— Ничего такого я не хотел сказать,— та же мягкая улыбка.— Просто кроме давнего партизанского эпизода ничто нас уже не связывало.

«Геина может сильно навредить мне,— сказала мне три дня назад Ева.— Мне и человеку, которого я любила. Нет, я уже не люблю его. Однако он возбуждает во мне жалость. Теперь это только прошлое, по существу никого не касающееся. Должны ли мы вечно возвращаться к прошлому? Должны ли мы всегда, постоянно, вечно и за все рассчитывать? Пусть Геина оставит его и меня в покое... Пусть не разрушает жизнь, которую мы построили с таким трудом!..»

— Однако,— продолжал допрос Володко,— отношения между инженером Геинной и вами складывались не очень гладко? Вы ссорились с ним?

— Ссорились? — удивился Пета.— Ах да, пару раз мы громко поспорили. У нас были совершенно разные взгляды на некоторые вещи.

— Например?

— Не понимаю, почему это может вас интересовать. Ну, помимо всего прочего, речь шла о расширении строительства фабрики, о возможности экспортировать ее продукцию, ну и в частности — об изобретении Геины.

— Вас интересовало изобретение инженера?

— Очень, особенно учитывая характер моей работы в Варэкспорте. Я хотел бы, чтобы цеха как можно скорее приступили к выпуску продукции, а Геина все время твердил, что он не готов, что необходимо внести в проект кое-какие небольшие улучшения. Он не торопился...

— Скажите, эта разница во взглядах относится и к прошлому?

На квадратном лице Петы не дрогнул ни один мускул.

— Не припоминаю,— ответил он равнодушно.— Не думаете ли вы, что люди моего поколения вечно копаются в старых историях?

Меня удивлял метод, избранный Володко. Почему он ничего не спрашивает о дневнике? Почему так мягко обращается с Петой, которого воспоминания инженера касались в наибольшей степени?

— Вы, конечно, знали, зачем Геина собирался в Варшаву?

— Безусловно. На конференцию специалистов, на которой вновь должен был обсуждаться проект Геины.

— Других поводов для поездки не было?

— Других я не знаю.

Он угостил нас «Грюнвальдами». С его лица медленно сходило напряжение; в уголках губ я заметил нечто вроде улыбки.

— Ну что ж,— буркнул Володко.— Вернемся еще раз к сегодняшнему вечеру. Когда Геина и Кенджинский разговаривали в саду, вы играли в бридж, правда?

— Именно.

— Выходили ли вы из столовой?

Пета на мгновение задержался с ответом.

— Да. Помню, когда Иоанна поставила передо мною рюмку коньяку, я разложил карты и вышел.

— Куда?

— Я решил добежать до киоска и купить папиросы.— Лицо Петы было сейчас напряженно и серьезно.— Как вы знаете,— продолжал он,— киоск находится на углу Садовой, так что я рассчитал, что успею, но когда вернулся, меня уже ждали.

Володко внимательно всматривался в лицо говорившего.

— Встретили ли вы кого-нибудь около калитки или перед домом?

— Нет. Я никого не видел. Ни в холле, ни по дороге.

— Вы в этом совершенно уверены?

— Совершенно уверен.

В кабинете наступила тишина. Володко склонился над своими записями, а я только через некоторое время понял всю весомость показаний Петы. Ведь если Здислав говорил правду, Пета должен был встретить его у калитки. Я вышел из столовой почти тотчас же вслед за Петой и через минуту встретил Кенджинского уже в холле. А он, кажется, около пятнадцати минут провел перед домом. Значит, один из них заведомо лгал...

— Вы никуда больше не заходили?

— Нет,— ответил Пета.— Я бы не успел.— Замаялся на мгновение.— Возвращаясь, я хотел заглянуть в ванную, но она была занята.

— Ну что ж,— снова повторил Володко.— Благодарю вас. Но если...— в голосе его внезапно прозвучала неприкрытая угроза.— Какие вы курите папиросы?

— «Грюнвальд».

— Благодарю вас.

...Приближалась полночь. Володко сидел в расстегнутой рубашке с очень усталым, измученным лицом. Но глаза его были все так же внимательны и серьезны. Поручик милиции с трудом сдерживал зевоту. Оба они минута за минутой фиксировали течение трагического вечера, сравнивали записи допросов, скрупулезно проверяя каждую мелочь.

Оставались недопрошенными еще супруги Дзюжинские и Геновефа; ну, Геню меньше всего можно подозревать — зачем бы ей убивать своего хозяина? Однако часто наименее подозреваемые как раз и оказываются убийцами. А Лобонский? Не нравится мне этот гданьский художник. Для чего он взял письма? Наконец, Качмарская. Старая схема — влюбленная и покинутая женщина. Еще красивая, еще надеется вызвать восхищение, но уже в том возрасте, когда каждое увлечение кажется последним...

Инженер Дзюжинский, очень нервный субъект на кривых ножках, мог рассказать весьма немного. Он всматривался в Володку с нескрываемым страхом, словно ожидая удара, которого не сможет парировать. Говорил едва слышно.

— Что связывает вас с Качмарской? — спросил Володка.

— С Качмарской? — повторил Дзюжинский. Он все глубже зарывался в кресло, обмякал: щеки его приобрели серый оттенок. — Но меня ничто не связывает с Иреной!

— Я предупреждаю вас, — деревянным голосом сказал капитан Володка, — что мы здесь для того, чтобы выяснить истину, открыть правду. Всю. Для вас же выгоднее не лгать.

— Я не понимаю, — голос Дзюжинского стал пискливым: голос труса, вынужденного обороняться. — Какую связь с убийством Геины может иметь мой флирт с Качмарской?

— Итак, вы с ней флиртовали? — легонько усмехнулся Володка.

— Флиртвал не флиртвал. — Дзюжинский постарался выпрямиться, сильно опираясь руками о поручни кресла. — Можно сказать и так. Однако это ведь еще не преступление!

— Нет, не преступление. Вы, по-видимому, знали об отношениях, связывавших Качмарскую и Геину?

— А кто этого не знал?

— Геина слышал об этом вашем... флирте?

— Не думаю. — В глазах Дзюжинского снова мелькнул страх. — Не знаю... Однажды он встретил нас вместе. Но мы никогда не говорили с ним на эту тему.

— Вы не очень-то любили Геину?

— Я не понимаю этих инсинуаций...

— Вы не очень-то любили Геину, — утвердительно повторил Володка. — Вы протестовали против того, чтобы реактор, который он изобрел, назвали реактором «Г».

— Протестовал. — Голос Дзюжинского снова стал пискливым. — Да! Я считал, что это коллективная работа...

— А последнее его изобретение?

— На эту тему я еще нигде не высказывался.

Дзюжинский поднял голову и прищурившись посмотрел на Володку. В его голосе появилась с трудом обретенная уверенность.

— А куда вы выходили из столовой во время бриджа?

— В ванную.

— Она была свободна?

— Свободна.

— И в кабинет вы не заходили?

— Нет, не заходил, — снова голос его потерял самоуверенность.

На пороге показался сержант.

— Гражданин капитан, — доложил он. — Одна из женщин упала в обморок.

Мы выбежали в столовую: на диване без сознания лежала Дзюжинская; Качмарская и Геновефа суетились возле нее.

— Может быть, вызвать врача? — спросил Володка.

— Зачем? — Качмарская посмотрела на него с откровенной зло-

стью.— Нужно просто отправить ее домой и уложить в постель. Как долго вы намерены еще задерживать нас?

— Можете расходиться по домам,— сухо ответил Володко.— Но, предупреждаю — без моего разрешения никто не имеет права покинуть город...

— До виллы Дзюжинских всего два шага,— перебила Качмарская,— но я надеюсь, что вы все-таки одолжите нам свою машину?

— Она в вашем распоряжении...

Кенджинский, который все это время сидел за столом, совершенно равнодушный ко всему происходящему, встал и подошел к Володко.

— Не позволишь ли ты мне повидаться с Иоанной?

— Думаю,— ответил капитан,— что для тебя будет лучше... и для нее, если ты сегодня от этого воздержись. Подожди меня здесь, вместе поедем в полк.

Здислав кивнул и вернулся на свое место у стола.

Володко пригласил в кабинет Геновефу.

Она сидела в своем черном праздничном платье прямая, серьезная, без следа тревоги и волнения на сухом лице. Руки привычно положила на колени. Некрасивые, морщинистые, с короткими грубыми пальцами, руки тяжело работающей старой женщины.

— Как давно вы служите у Геины?

— Да с десять лет уже будет. Еще когда они жили на Аллее Храброго и Иоася ходила в детский сад.

— Довольны вы своей службой?

— Да не жалуюсь. Инженерша, упокой господи ее душу, была немало строга, но сам хозяин — что твой ангел, право. Никогда на человека не крикнет, злого слова не скажет. Мы тут вдвоем с ним жили. Бывало говорил: «Что бы я без Геновефы делал? Геновефа все сама знает, лучше меня».

Все это она произносила ровным голосом, словно то, о чем говорила, было ей совершенно безразлично.

— Когда Иоанна познакомилась с Кенджинским?

— А будет тому уж наверное года два. Они вместе ездили на экскурсию, по озеру плавали... Хозяин сперва смеялся, а потом, когда увидел, чем это пахнет, пришел ко мне и говорит: «Видишь, Геновефа, она еще дитя, а уже у нее замужество в голове». Однако если молодые что решили, никто им помешать не может! Ирена, то есть Качмарская, посмеивалась над нашим хозяином, говорила: «Все равно ты ее не удержишь».

— Кажется, инженер Геина не любил Кенджинского?

— Разве я знаю? Кажется — не любил.

— Может быть, вы нам скажете — когда начали портиться отношения между инженером Геиной и Качмарской?

— Так разве я знаю? Думала, они поженятся, поступят как бог велит — ведь хозяин еще молодой был, а Качмарская женщина красивая. Приходила и приходила, в последнее время и в кухню стала заглядывать, иногда бифштексы какие-то особенные жарила, на рождество мазурку спекла; ничего, порядочная женщина; хоть и адвокат, а ничего не скажешь...

— Ну, а самое последнее время она больше не приходила?

— Да нет, заглядывала, только реже и...

— Ну, что вы хотели сказать?

Геновефа беспокойно пошевелилась.

— Только, прошу прощения, не оставалась больше на ночь...

— А вы не догадываетесь почему? Что между ними произошло?

— Что я могу знать? Разное у хозяев бывает. Может быть, из-за

этого инженера Дзюжинского, с которым Качмарская начала крутить. Да где ему до нашего хозяина?!

— А видели вы их когда-нибудь вместе?

— Кого? Дзюжинского и Качмарскую? Может, и видела. Не помню. Болтали в городе; люди, ведь все всегда знают. От людей не скроешься!

— Ну, а как это было сегодня вечером? Вы все время сидели в кухне?

— Утка у меня жарилась. Такую замечательную утку купила, на редкость. Яблоками начинила.

— Окно кухни выходит в сад. Вы ничего не видели? Прошу вас хорошенько припомнить.

— Да как же не видела! Хозяин и Кенджинский сидели на скамейке.

— Прошу вас, будьте внимательны: вы выходили из кухни, чтобы позвать Иоанну...

— А, выходила...

— Скажите, Кенджинского и Геину вы видели до выхода из кухни или когда уже вернулись?

Взгляд Геновефы рассеянно блуждал.

— Если правду сказать, поточнее, оно мне так представляется: словно бы поглядела я в окошко, увидела — сидят, потом открыла духовку, подлила жиру на утку, опять в окошко глянула... Они сидели, разговаривали, и как раз пани Ирена, то есть Качмарская, остановилась на дорожке, посмотрела на них и вошла в кабинет...

Володко быстро встал и прошелся по комнате.

— Геновефа, — сказал он, — это очень важно. Вы видели, как Качмарская входила в кабинет?

— А, видела, — голос старухи был так же ровен и равнодушен, как прежде. — Потом я занялась бутербродами. Иоася велела накладывать на хлеб селедку вместе с кусочками сыра. Такое чудачество! Ну, я и наклаживала.

— И в окно больше не смотрели?

— Не смотрела... Глянула снова на утку и вышла из кухни. — Она слегка сморщилась. — Хотела зайти в ванную — руки от селедки отмыть, да она была занята.

— Ванная была занята, — тихо и подчеркнуто серьезно произнес Володко, — и вы остановились в дверях столовой. Кого вы там увидели?

— Да всех! Только не было хозяина и Здислава. Дзюжинские и этот Пета играли в карты... Иоанна с остальными и тот художник сидели у маленького столика.

— Так. Потом вы вернулись в кухню вместе с Иоанной?

— Ну конечно. Вынули утку.

— И в окно вы больше не смотрели?

— Не помню... А может быть, вам еще кофе приготовить?

Володко посмотрел на часы.. Было уже около часу. Дождь прошел. Поручик широко распахнул двери террасы, и прохладный, влажный воздух ворвался в комнату.

— Поздно уже. Благодарим вас. Можете идти спать.

В голове у меня царил ужасающий хаос. Я безнадежно пытался разобраться в этом лабиринте человеческих драм и страстей, которые привели Геину к смерти.

Володко закрыл свой блокнот и поглядел на поручика.

— Не завидую вам, товарищ капитан, — буркнул тот. — Красивенький паштет получается!

— Да. Но я рассчитываю на вашу помощь.

— Ясно, я не отказываюсь. Ведь не первый раз мы с вами вместе работаем. Только... — вздохнул он. — Здравомысляя, против Кенджинского столько улик, что ничего не стоит получить приказ об аресте.

Володко не ответил.

— Однако,— продолжал поручик,— неясностей тоже много. Качмарская была в кабинете. Отсюда и оттиски ее пальцев на столе. Убийца, однако, действовал в перчатках. В ящиках торчали ключи, значит, отмычка была не нужна. Если Пета говорил правду — в ванной находился Кенджинский. Он также последним видел Геину. Но если Пета лгал, то или он сам убил Геину, выходящего из ванной, или что-то скрывает по неизвестным причинам. Во всяком случае, если мы предположим, что Кенджинский все-таки действительно стоял возле калитки, что противоречит показаниям Петы, Геина должен был погибнуть уже после выхода директора из столовой. Итак, убийца — или Пета, или тот, кто оказался в кабинете после него. Тогда из списка подозреваемых следовало бы исключить Качмарскую и Лобонского. Следовало бы. Хотя... — он легонько постукал карандашом по столу. — Скажем — кто-то извне. Подошел со стороны озера через сад; если даже Кенджинский действительно стоял у калитки, он все равно мог пройти незамеченным. Однако — что за чудеса с перчатками?! Этот икс должен был бы сперва пройти в холл, снять с вешалки перчатки Кенджинского, после этого пройти в кабинет и убить Геину. Нелепость!

— Вы несправимы,— усмехнулся Володко.— Несправимы в своем преклонении перед вещественными доказательствами. Вы совершенно не считаетесь с противником и не принимаете во внимание, что ситуация, в которой отдельные кирпичики не притираются друг к другу, могла быть разработана заранее, специально, чтобы направить нас по ложному следу. Пропажа перчаток Кенджинского еще не доказывает того, что ими воспользовался убийца. То, что кто-то пробовал открывать ящики стола, еще не означает, что он обязательно должен был пользоваться отмычкой, а не торчащими тут же ключами, и даже не означает, что преступник вообще хотел забраться в стол... С самого начала,— Володко встал со стула,— я нахожусь под впечатлением одной мысли: кто-то заведомо и необыкновенно ловко старается нас обмануть и запутать...

Поручик усмехнулся.

— Так всегда,— сказал он,— моя концепция вызывает ваше сопротивление...

— Не сердитесь... Нет у меня еще ключа... Но я чувствую — наше внимание сознательно направляют не туда...

— Вы не верите в вину Кенджинского?

— Верю, не верю... Здислав мой друг. Я доверяю ему. И поэтому я исключаю... почти исключаю предполагаемые мотивы убийства...

— Какие мотивы?

— Нет... Еще рано говорить на эту тему. Подумайте, однако: разговаривают в саду. Разговор все более обостряется. Встают и вместе направляются в кабинет. И Кенджинский, под влиянием аффекта, убивает Геину. Убивает при помощи штыка — ударом в спину. Но ведь в саду на нем не было перчаток. Значит, прежде чем убить, он должен пойти в холл и снять перчатки с верхней полки вешалки. А потом он еще открывает ящики стола, вытаскивает дневник... Но это же психологически неправдоподобно! И то, что убил, и то, что убил именно так. Или... — Володко все быстрее ходил по кабинету. — Это не было убийство, совершенное в состоянии аффекта, горяча. Это было преднамеренное, заранее подготовленное убийство... но возможно, замысел возник за несколько минут до совершения преступления. Замысел простой и коварный. Он или она знает, что подозревать будут Кенджинского, однако, великолепно ориентируется и в том, что каждый из присутствующих мог иметь свои мотивы для убийства. И вот он создает соответствующую ситуацию, фабрикует следы...

— Чертовщина какая-то,— бросил поручик.

— Ничуть. Качмарская входит в кабинет. Хочет подождать Геину. На кресле висит пиджак, ключи торчат в замках. Что она ищет в ящиках? Возвращается Геина...

— И Качмарская убивает? А потом лжет...

— Если бы Кенджинский находился в ванной,— продолжал Володко, не обращая внимания на замечание поручика,— зачем бы ему было это скрывать? Он говорит, что стоял у калитки пятнадцать минут; но ведь гораздо безопасней было бы сказать: «был в ванной», там же его никто не мог видеть.

— Не забудьте: если поверить Кенджинскому,— значит, лжет Пета...

Володко потряс в воздухе рукою:

— Это-то меня и беспокоит: простейший, как бы заранее предложенный выбор! Но,— он глянул на часы,— уже почти два. Кажется, на сегодня хватит. Завтра увидимся...

Он внимательно посмотрел на меня.

— Думаю однако, что ты мне тоже поможешь...

Я ничего не ответил. Устал я смертельно. Мы вышли в холл. Володко отворил двери в столовую и позвал Кенджинского, я же поднялся к себе наверх, зажег свет. За окном вновь монотонно пошумливал дождь.

У меня уже не было сил спуститься вниз, в ванную. Я быстро разделся и открыл шкаф, чтобы повесить костюм. С левой стороны, у стенки, стоял мой саквояж. Но я точно помнил, что положил его на верхнюю полку, над вешалкой. Я торопливо открыл его: мелочи, которые я так старательно укладывал в Варшаве, кто-то, явно торопясь, кое-как запихнул в саквояж. Бритва, вынутая из футляра, лежала на самом дне. «У службы разведки не было причин так торопиться,— подумал я.— Значит, кто-то помимо них производил у меня обыск?»

Я погасил свет и улегся. Но заснуть не мог. С силой прижмуривал веки, потому что мне казалось — стоит открыть глаза, как я тотчас же увижу перед собой Геину... Прошел час, может быть — полтора, а может, всего только минута, когда я услышал шум, доносящийся снизу. Хлопнула дверь, потом снова наступила тишина. Я решил встать и поглядеть, что там происходит. Босиком, в пижаме я вышел из комнаты. В коридорчике было темно; в холле, куда я старался заглянуть сверху, тоже темно и пусто. Но я ждал. Стоял и ждал довольно долго. Неожиданно медленно и бесшумно растворились входные двери. В светлом прямоугольнике стоял мужчина. Я не видел его лица, но тотчас узнал его. Он вошел в столовую. Я не мог ошибиться — это был Лобонский. Заметил ли он меня? Кажется, нет. Я ждал еще несколько минут, но ничто уже не нарушало тишины...

Проснулся я неожиданно. День был погожий, ясный. Еще полусонный я сорвался с кровати и во второй раз услышал крик. Именно этот крик и разбудил меня. Женский голос причитал по-деревенски: «О господи боже!» Я натянул штаны прямо на пижаму и сбежал вниз. Почти одновременно со мной, может быть на минуту позже, в холле появился Пета. Иоанна, Лобонский и Геновефа были уже здесь. Я быстро оглядел их и почувствовал нечто вроде удовлетворения: все были на месте.

В кабинете царил хаос: ящики стола выдвинуты, бумаги в беспорядке разбросаны по полу, с некоторых полок кто-то в спешке скинул книги. На ковре следы грязи. Двери на террасу широко распахнуты; ветер развевал занавески.

— Прошу ничего не трогать,— сказал я, невольно повторяя банальность из криминального романа.

Геновефа безмолвно пошевелила губами.

— Это вы первая вошли в кабинет? — спросил я старуху.

— Да, да,— быстро и охотно ответила она.— Я заварила кофе, но все еще спали. Я и подумала, что успею немного прибраться в кабинете. Надо же... И как стала на пороге да увидела эти бумаги...

— Я уже не спала,— тихо сказала Иоанна. Она тоже была босиком и в халате.— Услышала крик Гени и так испугалась..— Она смотрела на меня со страхом, точно так же, как вчера.

— Возвращайтесь к себе в спальню,— сказал я и, осторожно ступая по ковру, подошел к телефону. Как хорошо, что Володко оставил мне свой номер! Теперь, глядя на Лобонского и Пету, я рассказал ему о том, что произошло.

Володко не скрыл своего удивления.

— Взломали кабинет? — повторил он.— Странно. Скажи, чтобы никто ничего не трогал. Я сейчас буду.

Мы ждали его в столовой, молча пили кофе. Ведь можно было заподозрить каждого из нас; мы уже не доверяли друг другу. Пета вытащил пачку «Грюнвальда», угостил нас. Его полные волосатые руки дрожали, когда он подавал мне спичку. Что искал человек, который после убийства, после обыска, вломился в кабинет Геины? Что он мог еще найти? Почему оставил такие явные следы?

На пороге появилась Иоанна. Она была уже одета.

— Вас к телефону,— обратилась она ко мне.— Говорите из спальни.

Я побежал в спальню, полный самых худших предчувствий. Здесь, в этом городе, у меня не было никаких знакомых. Кто мог вообще знать, что я задержался у Геины?

— Это ты? — голос Евы был близким, ясным и спокойным. Я опустился на незастланную кровать — комната завертелась у меня перед глазами.

— Ева, ради бога, откуда ты говоришь?

— Из кафе, с Аллеи Храброго,— услышал я.

— Ты знаешь, что случилось?

— Нет.

— Геина умер,— сказал я.— Убит.

На другой стороне провода долгая тишина.

— Ева! — позвал я.

— Да, я здесь.— И через мгновение: — Я обязательно должна с тобой повидаться. Немедленно.

— Когда ты приехала в Б.?

— Вчера в полдень. Но никак не могла с тобой соединиться...

— Слушай,— сказал я очень тихо.— Жди меня в кафе. Я не знаю, когда смогу прийти. Но все равно, жди хотя бы до обеда.

Я уже не вернулся в столовую. Пройдя через весь дом, я вышел на Моджевскую улицу, осененную еще влажными тополями и совершенно пустынную в этот час. Через минуту приедет Володко и я должен буду ему все рассказать... До разговора с Евой?

В эту минуту я услышал, как подъехал мотоцикл — Кенджинский соскочил и подвел мотороллер к дому. Едва поздоровавшись, он смущенно попросил меня:

— Не можете ли вы позвать Иоанну?

Он осунулся, меня поразило нескрываемое страдание на его лице.

— Ладно, подождите,— сказал я.— Сейчас здесь будет Володко. Ночью кто-то взломал двери в кабинет и устроил там форменный погром.

У парня болезненно скривились губы.

— Я уже знаю,— сказал он неохотно. Снял шапку, пригладил волосы и тихо прибавил: — Я верю, что мы поймаем его... Вы не представляете, как ужасно, когда тебя подозревают... Вы служили в армии? Сегодня я доложил своему командиру, все рассказал и просил сделать соответ-

ствующие выводы. А он сказал, что вполне доверяет мне. Доверие? Никогда не думал, что оно так необходимо человеку...

Я позвал Иоанну. Они прошли по тропинке в сад. Иоанна не смотрела на Эдислава, боялась глянуть ему в лицо...

Володко приехал вместе с сержантом, который был здесь вчера, и еще с двумя какими-то штатскими.

Они тщательно осмотрели кабинет. Изучали следы на ковре, каким-то порошком посыпали стол, ящики, книжные полки. Осмотрели все до единой книги, сброшенные с полок. Потом Володко долго пробыл на террасе. Он внимательно осмотрел каждый метр каменного настила; вернулся в кабинет и положил на стол маленькую серебряную брошку в форме натянутого лука. Я с беспокойством рассматривал эту безделушку. Разве у Евы была такая? Да нет же, что за наваждение, как могла Ева оказаться в кабинете?!

Я, конечно, должен был рассказать Володко о том, что видел нынешней ночью, но, скованный страхом за Еву, я продолжал молчать. Как я жалел об этом через несколько часов!..

Сколько я мог понять из скупых замечаний, которыми обменивались между собою Володко и сержант, осмотр кабинета почти ничего не дал. Только эта одна брошка, найденная на террасе. Если, конечно, она не попала сюда задолго до взлома...

Со стола ничего не пропало. Взломщик только просмотрел бумаги и сбросил их на пол. Потом вынимал с полок книги, руководствуясь при этом непонятной системой: с одной полки скинул, например, два тома Большой Советской Энциклопедии, с другой — произведения Тувима. В каждом ряду недоставало лишь по одной-две книги...

Володко разглядывал полки, ходил вдоль них, трогал то один, то другой толстый том.

— Это не профессиональная работа, — наконец резюмировал сержант. — Ящики стола он взламывал кочергой, взял ее из-под печки в холле. Следов никаких не оставил — развлекался в перчатках.

— Да, работа не профессиональная, — подтвердил Володко, подводя итог своим прогулкам вдоль полок. А следов сколько хотите... Можете снять оттиски пальцев всех, кого мы допрашивали вчера, да и наши собственные впридачу...

Он внезапно остановился:

— Попросите сюда дочь Геины. Она в саду с поручиком Кенджинским.

Сержант вышел, а Володко снова принялся рассматривать полку. Наконец он начал тщательно ощупывать стенки бара.

— Я так и предполагал, — буркнул он сквозь зубы. — Помогите-ка! — обратился он ко мне.

Не закрывая бара, он начал снимать книги со всех нижних полок.

— Меня вчера дважды обвели вокруг пальца, — говорил он, не прерывая работы. — Нет, трижды...

Пачками укладывали мы книги на полу: тяжелые тома Советской и Технической энциклопедий, пышно изданные английские и немецкие технические словари. На полках, за книгами, лежал толстый слой пыли, хорошо видной в ярком солнечном свете, заливавшем кабинет.

Вошла Иоанна. Она была очень бледна, видимо, недавно плакала.

— Где ваш отец держал деньги? — бесцеремонно спросил Володко, не глядя на нее. — Все ли он клал на сберегательную книжку?

— Господи! — воскликнула Иоанна. — Я забыла вам вчера сказать. Очень большая сумма была в доме. Как всегда, он спрятал ее в тайник!

— В баре?

— Да, в баре. Но как вы узнали?

— Я узнал об этом на двадцать четыре часа позже, чем надо было! —

недовольно сказал Володко.— И не только это... Как открывается тайник?

Иоанна подошла к бару и указательным пальцем нажала невидимую пружинку около дверцы. В ту же секунду задняя стенка отскочила вбок и показался небольшой удлиненный тайничок.

— Пусто! — вскрикнула Иоанна.

— Тут были только деньги? — спросил Володко.

— Не знаю... Возможно, не только... Иногда отец прятал сюда какие-то бумаги, свои записи...

— Когда вы последний раз заглядывали сюда?

— Точно не помню. Неделю назад просила отца дать мне немного денег; он при мне открыл тайник и дал мне двести злотых.

— Какую сумму он мог держать тут, в доме?

— Получив премию, он оставил здесь тысяч пятнадцать... И еще у него было тысяч десять...

— А кто кроме вас знал об этом тайнике?

— Ну... наверное Дзюжинский, это ведь его затея. У него страсть — любит проектировать тайнички и потайные ящички. Может быть — Ирена... и еще Геновефа...

Володко и сержант тщательно осмотрели пустой тайник. Нигде никаких следов, кто-то постарался тщательно их затереть.

— Что ж, я так и предполагал, — уныло подтвердил Володко и принялся снова стаскивать с полки книги. Иоанна глядела на него в полном недоумении.

— Подойдите, пожалуйста, к столу и поглядите на брошку, — не отрываясь от своего занятия, проговорил капитан. — Может быть, вы ее узнаете?

Иоанна в молчании рассматривала маленькую серебряную безделушку.

— Знаю, — через минуту прошептала она. — Это брошка Дзюжинской.

— Благодарю, — спокойно, без всякого удивления ответил Володко. — Возвращайтесь к Здиславу, Иоанна.

И принялся снимать книги со следующей полки. Вдруг он выпрямился и почти крикнул:

— Есть! Это здесь!

Я нагнулся и сразу увидел, что толстый слой пыли на стене в этом месте был стерт на пространстве примерно сантиметров в двадцать.

— Что это значит?

— Не понимаешь? — кисло усмехнулся Володко. — Это — моя первая ошибка. — Он тщательно осмотрел полку. — Убийца, — продолжал он, — не вынес вчера из кабинета ни перчатки, ни папку с дневником. Это было бы слишком опасно. Оставил их здесь, за книгами, совершенно правильно рассчитывая, что успеет все это забрать и что мы не раскроем его простой и удобный замысел... И оказался прав, — прибавил он горько. — А потайной ящичек — это моя вторая ошибка...

— Но ты говорил о трех ошибках...

— Найдется и третья. Дневник — не обязательно то, что он искал. То, ради чего совершенно убийство, он выкрал сегодня ночью...

— Значит, ты считаешь, что кабинет взломал убийца?

— А кто же другой? — вмешался сержант.

Володко уселся, закурил. Молчание длилось довольно долго.

— Да. Убийца, — наконец произнес он. — Хотя... убийца мог тоже залезть сегодня в кабинет... тоже... Видишь ли, вещественные доказательства можно фабриковать. Он... или она... ведет игру, рискуя высшей

ставкой, старается предвидеть мои выводы, подставляя мне сфабрикованные, но внешне неоспоримые улики. Все дело в том, чтобы не дать себя на этом поймать! Так, как вчера. Например — грязь на ковре и брошка на террасе. И одновременно — никаких следов от обуви. Меня это должно убедить: кто-то вошел снаружи... Любопытно, что никто не помнит, были ли как следует заперты двери на террасу. Но можно прийти и к другому выводу: слишком явные улики могут навести меня на мысль, что кто-то из живущих в доме нарочно наводит меня на ложный след и он-то и виновник происшедшего.

— Значит, вообще нельзя делать никаких выводов!

— Ошибаешься. Просто не нужно слепо верить вещественным доказательствам. Однако брошка Дзюжинской? Это уже что-то. Хотя не может быть, чтобы она потеряла ее именно вчера ночью.

— Понимаю, гражданин капитан, — сказал сержант.

— Ничего вы не поняли, — жестко прервал его Володко. — Убийца вошел, взял перчатки и, скажем, дневник с полки. Зачем же ему надо было инсценировать взлом? Крушить ящики кочергой? Ящики, которые он вполне успел бы оглядеть вчера...

— Непрофессиональная работа...

— Ну, скажем, это можно было бы еще объяснить. Вчера у него было мало времени, он хотел все проверить еще раз. Но мог ли он допустить, что мы оставим в столе документы сколько-нибудь важные? Неправдоподобно... Ночью он забирает то, что спрятал вчера. Но может быть, он еще вчера успел открыть тайник? Нет, по-моему, существует только одно решение...

Сержант смотрел на Володко с нескрываемым удивлением.

— Единственное решение? — повторил он.

— Да. Ночью здесь орудовало двое!

— Двое! — вскрикнул я. — Это невероятно!

— Но однако — правдиво!

Володко снова немного печально усмехнулся.

— Минимум — двое. Эти деньги... конечно, их мог взять и убийца. Но...

— Значит, он действовал с соучастником, — произнес сержант.

— Нет, это не был его соучастник. Был один, который знал о существовании тайника и искал его на книжных полках. Думал, что он скрыт где-то за книгами. И был другой: тот, кто открыл тайник и взял деньги.

— Но это мог вчера сделать убийца!

— Да. И тогда он ничего не искал бы на полках. И не взламывал бы ящики стола.

— Точно так же можно предположить, — сказал я, — что убийца безрезультатно искал этот тайник. А открыл его ночью кто-то другой.

— Ну да, — неохотно и хмуро буркнул Володко. — Но я должен узнать, кто они... должен выяснить мотивы этого убийства...

— Дневник... — начал было я.

— Понимаю, — криво усмехнувшись, прервал меня Володко. — Ах, если бы он был у меня в руках, этот дневник!

— Ты думаешь, — осторожно заговорил я, — что именно в нем ты нашел бы ответ на все вопросы?

Володко не ответил. Глянув на часы, он произнес:

— Я должен идти. Условился кое с кем встретиться на фабрике. Прошу тебя, приходи ко мне после полудня. Поговорим поподробнее. Мои начальники разрешили информировать тебя о ходе следствия. Вернее, — улыбнулся он, — о некоторых фрагментах следствия...

— О тех, которые не касаются меня... — заметил я.

— А может быть, тебя касается все? — улыбнулся Володко.

...Из дома мы вышли вместе. У калитки Кенджинский копался в своем

мотороллере. Иоанны уже не было. Он окинул нас отсутствующим взглядом и снова склонился над мотором.

— Авария? — спросил Володко.

Здислав кивнул. Поднял седло и вынул оттуда французский ключ. В тот момент, когда он хотел уже прикрыть ящичек, Володко положил ему на плечо руку; он наклонился, в руке его мелькнул платок; затем он осторожно вытянул кожаные перчатки и смятую полотняную папку. На папке большими буквами было старательно выведено: «Инженер Эдвард Геина. Воспоминания».

Здислав стоял как вкопанный, лицо его покрылось меловой бледностью. Щеки Володко так же мгновенно стали серыми.

— Я... — начал было Здислав. — Нет! — крикнул он. — Нет! Это невозможно... Я ничего не знаю... я этого не видел!

— Потом! — коротко произнес Володко. — Ты едешь со мной. Сержант приведет мотороллер.

Он отошел, даже не взглянув на меня. А мне до боли было жаль их обоих...

День разгорался погожий; я шел Моджевской улицей, потом свернул на Садовую. Окруженный шумной толпой туристов, спешивших на пляж, я был совершенно одинок... Единственной заботой всех этих людей было поглядывать на небо — не появилось ли облачко, могущее омрачить удовольствие. Они шли в легких рубашках и шортах, с купальными халатами, переброшенными через плечо, уверенные в незыблемости этого приятного мира. А я, вытряхнутый из повседневности, против воли втиснутый в самый центр событий, мечтал о возвращении к обычным дневным занятиям, к пишущей машинке, которая ждала меня на столе в Варшаве; и когда я шел так и проклинал свою судьбу, которая мне все это подстроила, меня вдруг охватил жгучий стыд. Как же так? Значит, годы мира так глубоко погрузили меня в повседневность, так прочно затянули рутинной и обыденщиной, что стоило появиться в моей жизни Неожиданному, я уже ничего не смог почувствовать кроме усталости? Я ведь не только наблюдатель. Во всяком случае — не простой наблюдатель! Я уже ввязался в нее, в эту самую Игру. Но нет во мне силы и желания вести ее самостоятельно, на свой страх и риск. Я попросту боюсь. Боюсь за Еву... за себя. Боюсь собственного молчания и того, что в конце концов я вынужден буду заговорить!

Но прежде всего — я боюсь за Еву. Зачем она приехала в Б.? В день убийства, ранним поездом? Нет, это невозможно... Чепуха! Бредни!

Я ведь так и не понимаю до конца, почему для Евы было так важно, чтобы Геина не упоминал в своем дневнике о ней и о Пете. Тогда, в Варшаве, она сказала мне только одно: «Мы совершили ошибку. Может быть, нечто большее, чем простую ошибку. Но неужели расплачиваться за нее мы должны всю жизнь?!»

Как однако же все мы связаны с прошлым! Ни для Володко, ни для Кенджинского оно уже не означает так много, как для нас. История. Мы научились хладнокровно судить о ней, трезво оценивать то или иное событие. Нам памятны собственные колебания, разочарования, отчаяние, срывы, страх. Все это знают и молодые, но глядят они на нас как исследователи, доискивающиеся правды; и эта историческая правда будет ими найдена, изучена, понята; правда же о нас, людях иного поколения, — умрет вместе с нами...

И все-таки я доверяю Еве и не верю Пете. И не могу понять, что связывает их. Ева, точная и решительная, та Ева, какой я помню ее еще с послеоккупационных времен, когда мы ездили вдвоем на «виллисе» по познаньским деревушкам... Когда она поднималась на трибуну, шум в зале немедленно стихал и наступала такая тишина, что слышно было ее

ускоренное дыхание... Ева тех дней, когда я любил ее, а она в это время любила... Пету. Дружба между нами длится уже столько лет, и за все это время она не рассказала мне ничего, буквально ничего о себе! Только однажды она призналась: «Знаешь, то, что я бросила Пету, сейчас представляется мне ошибкой». Я уже не чувствую того, что раньше, кажется, я уже не люблю ее. Постепенно мы привыкли избегать в разговорах щекотливых тем. Неделию назад она позвонила мне в редакцию: «Ты должен добиться от Геины, чтобы он не писал обо мне и о Пете. Любой ценой! Геина ведь твой друг... Ты должен это сделать для меня. Я прошу тебя первый раз в жизни!» Действительно, она обращалась ко мне с просьбой в первый раз за все время нашей дружбы.

Легко придумать дальнейшее: Ева не верит, что я добьюсь чего бы то ни было от Геины, сама приезжает в Б., идет к Геине, убивает его штыком, выкрадывает дневник... И что? — едва не вслух рассмеялся я. Подкидывает его Кенджинскому? Ну, а если в дневнике ничего нет и Геина пощадил их обоих? Значит, и убит он совершенно напрасно?!

Надо же сочинить такое! Ева прошла тяжкую школу жизни и сдала экзамен на то, чтобы называться порядочным человеком. Она не могла этого сделать! Значит — Пета? И она решила его спасти? Что она делала вчера в Б.? Почему не позвонила мне раньше?

Открытая терраса кафе была пуста. Я вошел внутрь — в самом темном углу, на старом плюшевом диване, перед пустой кофейной чашкой сидела Ева. Она заметила меня только тогда, когда я остановился рядом. Подняла холодные, спокойные глаза; на лице ее я не заметил и тени тревоги или волнения.

— Хорошо, что пришел, думала, придется ждать дольше, — сказала она, подавая мне руку. — Закажи кофе для меня и для себя. И попроси какой-нибудь рогалик с маслом, я сегодня еще ничего не ела. Постарайся взять себя в руки. Ты все время оглядываешься, точно плохой конспиратор. А мы ведь ни от кого не скрываемся...

Я подошел к буфету, чтобы заказать кофе и булочки, и отсюда, издалека, пригляделся к Еве. Она выглядела точно так же, как всегда, ничего необычного: женщина средних лет, которая не спешит на пляж и самые жаркие часы предпочитает проводить в кафе.

Я вернулся к столику. Ева придвинула мне сахар.

— Итак, Эдвард умер, — сказала она спокойно. — Трудно примириться с этим, я очень уважала его...

Я поглядел на нее с нескрываемым удивлением.

— Очень уважала, — повторила она. — Он был предельно правдив. Только, видишь ли, он никогда не задавался вопросом, какой тяжкой может оказаться для других эта правда. И как она подчас бесполезна!

— Разве правда может быть бесполезной?

— Не знаю, — ответила она тихо. — Не знаю, в силах ли мы всегда говорить только правду. В конце концов... Нет, я не намерена сейчас философствовать... Рассказывай!

Я рассказал ей все, не скрыв даже своих личных подозрений; самым подробным образом я изложил ей события последних двадцати четырех часов.

— Значит, ты подозревал или все еще подозреваешь меня? — внешне спросила она.

Я не ответил. В первый раз на ее лице появилась улыбка.

— Оказывается, ты опытный знаток женской психологии, — шепнула она.

— Почему, — бросил я возмущенно, — ты скрыла от меня, что Пета тоже будет здесь? Почему забила мне голову общими фразами, а не призналась, каких именно разоблачений ты ждала, чего боялась?! По-

чему, наконец, находясь уже целые сутки в Б., ты только сегодня дала о себе знать?

— Я не знала, что Пета появится в Б. Только позавчера я узнала о том, что он здесь, и тотчас же решила ехать. Пета не должен был разговаривать с Эдвардом. Видишь ли, — она начала говорить так тихо, что мне пришлось наклониться над нею, — я любила Пету. Это была трудная любовь. Но я любила по-настоящему. Я принимала его таким, каким он был; однажды соединив с ним свою судьбу, я готова была нести за него ответственность. Все началось очень давно, еще в первый год оккупации. Пета оказался трусом. И я... — она с силой стиснула пальцы. — Впрочем, Володко наверное даст тебе для прочтения дневник Геины. Тогда ты узнаешь все...

— И даже сейчас ты не хочешь мне ничего рассказать? — спросил я с укором.

— Да. Даже сейчас. Может быть, Володко все-таки не даст тебе дневника... Пару недель назад Геина узнал, где я живу, и написал мне. Сообщил, что намерен опубликовать дневник, где подробно описывает все перипетии нашего дела. Меня это потрясло. Это был один из первых эпизодов моей работы в подполье. Я поняла, что даже если Геина назовет не подлинные имена, а только псевдонимы, все равно ничего уже нельзя будет скрыть! Меня знают в Варшаве. Впрочем, это я бы еще перенесла. Но для него, для Петы, это был бы конец...

— Значит, ты его еще любишь?

— Ах ты, знаток женской психологии! — повторила она свою шутку. — Пета скрыл больше, — после короткой паузы продолжала она, — он совершил... ну, как бы это сказать?... он присвоил...

— Ты хочешь сказать — он совершил подлость? — сказал я, решительно не понимая, о чем идет речь.

— Да. Подлость, — равнодушно подтвердила она. — И я молчала, хотя я одна могла его разоблачить. Я и Эдвард, но ведь мы очень долго не знали, что он остался в живых.

— Я не предполагал, что такой бывает настоящая любовь!

— Не читай мне мораль, — холодно перебила она. — Я сама все знаю. Я проиграла вдвойне — и свою любовь и свое прошлое, которое могло быть совершенно чистым. Я хотела хоть что-то спасти и поэтому обратилась к тебе. Теперь я знаю — ничего нельзя было спасти. Надо было за все заплатить...

— Заплатил, — сухо перебил я, — заплатил Геина!

— Не лги! — вскрикнула она. — Смерть Эдварда не может иметь ничего общего с этим делом!

— Ты в самом деле в этом уверена? — спросил я и только сейчас заметил, как близка она была к тому, чтобы сломиться, потерять власть над собой. Но я не почувствовал к ней жалости.

— Мы были вместе в те годы, — продолжала она тихо. — Мы можем ненавидеть, но не убивать!

— В этом ты тоже уверена? — спросил я через минуту. — А если это сделал Пета?

— Пета — трус. Пета способен на подлость, но не на убийство. Может быть, это ты убил Эдварда?

— Нет, я не убивал, — спокойно ответил я. — Однако твои доводы звучат не очень-то убедительно. В данную минуту Володко, вероятно, читает дневник Геины, и, судя по тому, что я теперь знаю о тебе и Пете, он найдет в нем реальные мотивы для убийства.

— Но ведь дневник нашли у Кенджинского. Значит, можно предположить, что убил Кенджинский или что рукопись ему подбросили. Первый случай не имеет ничего общего с воспоминаниями Геины, да и вто-

рой тоже, ведь если убийца подбросил дневник и тем самым избавился от него, значит, дневник не имел отношения к убийству.

— На первый взгляд это логично,— согласился я.— Пета мог, однако, убить и не найти дневника. Искал его ночью и также не нашел, а рукопись попала в руки того, другого, который вломился в кабинет с совершенно иными целями.

Ева кивнула.

— Это предположение тоже логично. Но я не верю в вину Петы. Скорее я поверила бы в собственную вину... или в то, что убийца — ты. Я не намерена скрываться. Не буду играть в прятки с этим твоим капитаном. Хочу тебе также сказать, что не имею алиби ни на вчерашний вечер, ни на сегодняшнюю ночь... Итак, сообщи капитану, что я в его распоряжении. Вот мой адрес... и телефон моей хозяйки.— Она вынула из сумочки листок, на котором все было записано заранее.

Можно ли верить Еве? Я прямо из кафе позвонил Володко и спросил, когда можно к нему прийти. Подчеркнул, что хочу сообщить ему нечто весьма важное.

— В 14.30,— сухо ответил он.— Пропуск будет выписан.

До половины третьего было еще далеко, и я решил пойти домой. Мне хотелось продумать все еще раз. И прежде всего понять: сейчас, когда дневник находится в руках Володко, будет ли он искать убийцу только среди тех, кто был связан с Геиной во время войны и в оккупации? Если так, то подозреваемые: Пета, Ева и, очевидно, я. Если нет, то Кенджинский, Лобонский, Качмарская, оба Дзюжинских. Трудно предположить, что Володко сконцентрирует свое внимание исключительно на нас. Существует ведь множество других улик... Брошка Дзюжинской... Качмарская интересовалась дневником... Лобонский украл письма. И не спал этой ночью. Но об этом я уже не смогу рассказать Володко — слишком поздно. Подозревая Кенджинского или Лобонского, необходимо найти мотивы для убийства, не имеющие ничего общего с дневником. О Лобонском Володко знает очень мало. О Кенджинском — все. Включая все перипетии его отношений с Геиной. Когда мы в воскресенье возвращались с пляжа, Иоанна мне сказала: «Здислав любит отца. И понимает его, может быть, даже лучше, чем я. Его очень огорчает, что отец не хочет, чтобы мы поженились. Иногда мне бывает даже смешно — я вижу между ними какое-то сходство. Я когда-то рассказала им, как одна из студенток обвела профессора вокруг пальца и дважды сдавала экзамен — за себя и за подругу. Представьте себе: Витольд смеялся, а отец и Здислав возмутились, и в эту минуту были так похожи друг на друга!»..

Я не заметил, как добрал до дома. Перед дверьми стоял Пета, он словно ждал кого-то. Знает ли директор, что Ева в Б.? Взгляд, которым окинул меня Пета, был отнюдь не дружелюбным. Мы вместе вошли в столовую. Там за кофе уже сидел Лобонский.

— Что нового? — спросил он. И не ожидая ответа, сообщил: — Иоанна очень плохо себя чувствует.

— Может, послать за врачом?

— Нет, не думаю,— сказал Лобонский.— Просто нервное потрясение. Кажется, в связи с Кенджинским.

— А что случилось?

— Как это — что случилось? — вмешался Пета.— Вы еще удивляетесь, что девушка так переживает? Столько улик указывает на Кенджинского... В аналогичной ситуации каждого из нас давно бы уже арестовали...

— Каких улик? — спросил я резко.

Пета не ответил. На его широком, хмуром лице ничего нельзя было прочесть.

— Ну-ну,— заговорил Лобонский.— Я видел вас в кафе с красивой дамой. Вы меня не заметили.

— Возможно,— буркнул я и, снова чувствуя на себе внимательный взгляд Петы, быстро вышел из столовой.

Уже на лестнице я услышал за собою тяжелые шаги: Пета шел за мною. Признаюсь — мне стало неприятно. Но он догнал меня.

— Можно к вам на минутку?

— Входите! — сказал я не особенно любезно.

Я поглядел в окно: по саду с корзинкой в руке снова шла Геновефа.

Он присел к столу, закурил. Молчание наше длилось довольно долго. Наконец я спросил:

— Итак, что вы желаете?

— А ничего,— ответил Пета.— Ничего такого. Просто я хотел с вами поговорить. Еще позавчера я пытался узнать: вы знакомы с Евой?

Отпираться не имело смысла.

— Знаком,— буркнул я.— Ну, и что дальше?

— Ничего. Вы не очень-то любезны. У нас с вами общая знакомая...

— Правильно,— подтвердил я.— Только это вы хотели мне сообщить?

— Нет, не только это,— его взгляд скользил по моему лицу.— Я думаю, нет смысла притворяться — вы ведь знали, что Ева интересуется дневником Геины?

— Ну, скажем, знал.

— Я вижу,— внезапно усмехнулся он,— что мне будет трудно преодолеть вашу недоверчивость. Но ведь мы оба знаем Еву и оба хотим ей помочь. Дружба обязывает!

Однако!

— Вы заботитесь о ней,— спросил я резко,— или о себе? И не надейтесь превратить меня в соучастника...

Пета позеленел. Встал и подошел ко мне.

— Я знаю,— прошептал он,— что вы видели Еву. Остерегайтесь! — И подойдя ко мне вплотную, он произнес свистящим шепетом: — Вы читали дневник Геины?

Я не успел ответить.

*Перевела с польского
Л. ВОЙТЛОВСКАЯ*

(Продолжение следует)

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

Подвал памяти

Но это вздор, что я живу грустя
И что меня воспоминанье точит.
Не часто я у памяти в гостях,
Да и она всегда меня морочит.
Когда спускаюсь с фонарем в подвал,
Мне кажется — опять глухой обвал
Уже по узкой лестнице грохочет.
Чадит фонарь, вернуться не могу,
А знаю, что иду туда, к врагу.
И я прошу как милости... Но там
Темно и тихо. Мой окончен праздник!
Уж тридцать лет, как проводили дам,
От старости скончался тот проказник...
Я опоздала. Экая беда!
Нельзя мне показаться никуда.
Но я касаюсь живописи стен
И у камина греюсь. Что за чудо!
Сквозь эту плесень, этот чад и тлен
Сверкнули два зеленых изумруда.
И кот мякнул. Ну, идем домой!

Но где мой дом и где рассудок мой?

1940 г.

Наследница

От царскосельских лип...

Пушнин

Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую все это:
Фелицу, лебеда, мосты
И все китайские затеи,
Дворца сквозные галереи
И липы дивной красоты.
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

1958 г.

• • •

Нет, это не я, это кто-то другой страдает.
Я бы так не могла, а то, что случилось,
Пусть черные сукна покроют,
И пусть унесут фонари...

Ночь.

Что такое Москва? Стоит ли перечислять все ее известные «тителы»: столица, крупнейший индустриальный центр, мировой центр науки и культуры, политический «магнитный полюс» планеты... Но есть еще у Москвы качество, простекающее, понятно, из ее истории, положения, роли, о котором необходимо особо сказать: Москва — форпост нового, прогрессивного, передового. Вдумайтесь в цифры новой московской пятилетки и придете к выводу, что она, эта новая пятилетка, разработана именно с таким прицелом.

Экономика: столица — одна из главных стартовых площадок новой хозяйственной системы. В первоначальном экономическом эксперименте участвовали автохозяйства Главмосавтотранса и швейная фирма «Большевичка». А теперь среди сорока трех заводов и фабрик страны, включенных по решению правительства в первую группу предприятий, переходящих на работу по-новому, — тринадцать московских...

Качество: москвичи стремятся показать пример, выпуская отличные машины, приборы, товары народного потребления. Столичная партийная организация выдвинула задачу — к 1970 году достигнуть по основным видам продукции мирового уровня. Уже в прошлом году 159 ее видов отвечали этому требованию...

Потребительские товары: развитие производства ширпотреба — в центре внимания московской партийной организации. Легкая, мебельная, пищевая промышленность из года в год дает все больше продукции. Именно в Москве родилась инициатива: производить культурно-бытовые товары и на предприятиях группы «А», за счет их внутренних резервов. И уже есть успехи...

Наука: об открытиях, достижениях, об авангардной роли московских ученых знает вся страна, весь мир. Нет, пожалуй, такой сферы современных знаний, которую ни изучали бы во всеоружии самых современных методов, на пользу своим согражданам и всему человечеству московские ученые...

Строительство: ни один город в мире не знает таких масштабов стройки, какая ведется в Москве. Но дело не только в масштабах. В проектных мастерских, на комбинатах индустриального домостроения, на строительных площадках рождается и испытывается многое из того, что затем как самое современное и совершенное становится достоянием всей страны. В годы новой пятилетки столица обогатится многими уникальными сооружениями — Общесоюзным телецентром и Государственной картинной галереей, зданием Совета экономической взаимопомощи и громадным цирком, новыми гостиницами, а также новыми типами жилых домов. Вырастут комфортабельные жилые районы — по сути целые города с отличными условиями для жизни людей. Держинский и Ждановский районы города, перевыполнившие задания семилетки по строительству, занесены в Книгу почета «Летопись борьбы трудящихся Москвы за коммунизм»...

Транспорт: у московских метростроителей учатся их ленинградские, киевские, тбилисские коллеги. В столице открываются все новые и новые маршруты автобусов, троллейбусов, трамваев...

Да, говоря о нашем любимом городе, величественном и уютном, умеющем быть нежным и суровым, мужественным и мягким, приходится то и дело произносить: «новый», «новое», «новая», «новые»... Потому что москвичи, воодушевленные решениями XXIII партийного съезда, стремятся возможно скорее облечь в плоть и кровь цифры новой московской пятилетки.

Вот о таких москвичах, о некоторых лучших коллективах столицы, вкладывающих душу в то, чтобы в срок и раньше срока достигнуть рубежей тысяча девятьсот семидесятого года, мы и рассказываем под рубрикой «Москва 1970» на страницах 158—161.

ДРАГОЦЕННЫЕ МЕЛОЧИ

Разговор с начальником цеха

— Полторы тысячи рублей экономии — много это или мало? — спросил меня начальник автоматного цеха Дмитрий Максимович Лушечкин и, не получив ответа, обиделся: — Конечно, вы, журналисты, привыкли удивлять мир миллионами и миллиардами. И мы не раз в рапортах называли цифры куда больше. Но эти полторы тысячи для меня дороже многих миллионов. Я говорю не о самой сумме, а вижу за ней горы сбереженных заготовок, ровные стопки сэкономленных резцов и многое другое, чего не измеришь никакой цифрой...

Дмитрий Максимович остановился и посмотрел на молчаливо сидевшего рядом парторга цеха Петра Ефимовича Рябухина, как бы спрашивая его: «Не оченя навалился на гостя?»

Но парторг молчал, и Лушечкин продолжал более миролюбиво:

— Несколько копеек стоит заготовка кольца подшипника, чуть дороже — обычный резец. На этих мелочах много не сэкономишь, — так рассуждали станочники. Но опыт последних месяцев говорит о другом. По двадцать — тридцать рублей сберегают на таких мелочах ежемесячно лучшие рабочие цеха Арефьев, Майорова, Мелехова, Булгакова, Демьянов, Арончик...

А началось все здесь, в этом же скромном кабинете Лушечкина, вскоре после сентябрьского Пленума ЦК КПСС. К начальнику цеха как-то заглянули партгруппорги двух участков — Михаил Петрович Каленикин и Виктор Павлович Носов.

— Разговор есть, Дмитрий Максимыч, — начал Каленикин. — Все интересуются, когда наш завод перейдет на новую систему. В первую группу, наверно, не попадем. Но ведь в один прекрасный день подойдет

и наша очередь. А пока? Что же, кто-то все подписывает, подготовит и скажет — дорогой товарищ, пожалуйста, сегодня начинай работать по-новому? Иждивенчество это! Никто и ничто не мешает нам, рабочим, уже сегодня готовиться к новым условиям, считать каждую государственную копейку, умножать заводскую прибыль.



Д. М. Лушечкин и П. Е. Рябухин

Фото А. Веремнeno

— Что вы предлагаете? — перебил Лушечкин. — Ты говори, с чем пришли?

— В материалах Пленума мы обратили внимание на одно слово — «хозрасчет», — сказал Носов. — Заводы, фабрики, объединения перейдут на полный хозрасчет. А рабочий? Разве мы можем остаться в стороне?

После этого памятного разговора в автоматном цехе 1-го Подшипникового завода стали вводить хозрасчет на каждом рабочем месте.

Как было раньше? Обычно нормы расхода сырья, материалов, режущего инструмента выдава-

лись на цех. И спрашивали с начальника цеха. Склоняли его на всех совещаниях за перерасход, и он, вместе с экономистом и бухгалтером, ломал голову над тем, как втиснуться в тесные рамки норматива, спрятать перерасход одной графы цехового бюджета за доход другой, благополучной. А в это самое время 900 рабочих цеха, ничего не ведая о нормах и нормативах, расходовали металл и инструмент, кому сколько захочется.

Сейчас все это звучит, как плохой анекдот, но когда в октябре прошлого

года партгруппы Каленикина и Носова взялись за введение хозрасчета, было много сомнений и трудностей. Только представьте себе кипы бумаг, в которых для каждого рабочего были рассчитаны нормативы на все виды операций, материалов и инструментов. Для каждого из девятисот!

Сначала на работу по-новому перешли тридцать восемь рабочих. Потом еще двадцать два. Они-то и сберегли к открытию XXIII съезда партии те самые полторы тысячи рублей. Эта цифра, конечно, не раскрывает сути всех перемен, которые произошли в цехе. Вот как об этом сказал

парторг Петр Ефимович Рябухин:

— Несколько месяцев работы на хозрасчете — и как изменилась Доска почета цеха. Кого мы раньше считали передовиком? Того, кто дает наивысшую производительность, дисциплинирован, хорошо освоил свою операцию. Но главное был план. Любой ценой перевыполняя норму, и ты будешь первым человеком в цехе. Сколько на моей памяти промелькнуло рекордов и рекордсменов! «Две нормы токаря такого-то», «три нормы»... «четыре»... «пять»... Но никто не интересовался, какой ценой добивается рекордсмен таких высот. Ведь один может дать сто пятнадцать процентов нормы и сломать при этом полсотни резцов, а другой бережно, без брака и ненужных потерь, выполнит задание на сто пять процентов и сэкономит инструмент на пятнадцать рублей. Мы и раньше умели считать, но всестороннего учета никто не вел. А теперь у нас каждый человек виден как на ладони — со всех сторон. Когда подводят итоги соревнования, разговор идет иной: рекорд — это хорошо, это нужно, но какой ценой? Экономичность, рентабельность — вот тот критерий, по которому ныне попадают наши люди на Доску почета.

Конечно, внедрение хозрасчета не проходит гладко. Об этом в цехе много говорят. Несколько человек пока не укладываются в нормативы. Причины разные — объективные и субъективные.

Я видел, как к начальнику цеха пришел кадровый рабочий, мастер своего дела.

— Нехорошо, Дмитрий Максимович, у нас получается, — сказал он. — Двадцать лет работаю в цехе, сил своих не жалею, любую работу выполняю, когда надо, по вечерам задерживаюсь. Был уважаемый человек, и вы ко мне неплохо относились. А сейчас перерасходовал инструмент, и на всех собраниях меня склоняют и стегают. За что?

Если у меня не станок, а старая галоша? Ему давно пора на свалку. На такой развалине и нормы должны быть другие...

— Ты не горячись, а подумай, — остановил его Лушечкин. — Станок у тебя, правда, не новичок — это так. Но почему же твой сменщик каждый месяц дает на нем двадцать четыре рубля экономии? Не знаешь? А я знаю. Да и ты знаешь. Он научился считать. А ты действуешь по старинке — любой ценой дать сто двадцать процентов. Проценты есть, а экономии нет.

Неприятный разговор. Но неизбежный, потому что возврата к старому нет.

— Одна беда, — сокрушается Лушечкин, — мы пока ничего не платим за экономии. На одном моральном факторе держимся. Но вот что любопытно. В первые же месяцы, когда только шестьдесят человек получили нормативы и перешли на хозрасчет, экономить стали почти все девятьсот рабочих. Цеховой бюджет изменился. Сразу же общие потери сократи-

лись в два с половиной раза. А представляете себе, когда и у нас войдет в силу закон: «Десять рублей сэкономил — пять рублей получи!»

Внедрение хозрасчета на каждом рабочем месте — репетиция перед переходом всего завода на новую систему хозяйствования. И хотя было трудно, но репетиция прошла удачно. У Каленикина и Носова сейчас много сотен последователей. Экономисты, бухгалтеры с помощью электронных машин подсчитывают, сколько прибыли получит предприятие и каждый рабочий в отдельности от осуществления экономической реформы. Я заговорил об этом с Лушечкиным.

— Зачем спешить, — улыбнулся он, — поживем — увидим. Думаю, что жизнь оставит далеко позади самую совершенную электронику. Не люблю прогнозов. Заходите в конце года, все точно подсчитаем. А пока на нашем счету полторы тысячи рублей — много это или мало?

В. Гордин

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЕЙ

Если о железнодорожниках говорят, что у них все рассчитано по минутам, то работники Московского метрополитена считают время секундами.

Половину населения столицы перевозят голубые экспрессы за сутки. Нескончаемый людской поток переливается по подземным артериям из одной части города в другую. Но растет Москва, мал становится метрополитен. С каждым годом разрастаются под землей его ветви. А каким будет московское метро в 1970 году?

Я думаю, читатель не откажется перенестись с нами в недалекое будущее. А нашим гидом по подземным магистральям столицы я попросил стать Алек-

сандра Георгиевича Синяревского — заместителя начальника производственно-го отдела Метростроя.

— Ну, конечно, первым и самым главным событием будет пуск четырнадцатикилометрового Ждановского радиуса, который протянется от Таганки до Выхино.

Работы на этом участке идут полным ходом — еще бы, строители дали слово пустить его к концу нынешнего года. А сделать это далеко не просто. И не только потому, что такой длинный участок впервые сдается в эксплуатацию целиком.

Александр Георгиевич говорит, что во всех проектах очень много нового и необычного.

Станция «Ждановская», например, станет уникальным транспортным узлом. Она будет иметь три платформы, к которым станут подходить и поезда метрополитена, и пригородные электрички. Быстрота и удобство — таков девиз конструкторов.

— Тут мне хочется сказать об умении заглядывать в завтра, — замечает Синаревский. — Так, под станциями «Кузьминки» и «Таганская» строители закладывают так называемые перспективные выработки для будущих линий метрополитена — от «Таганской» возьмет начало Калининский радиус, а через «Кузьминки» пройдет второе кольцо московского метро. Их строительство не запланировано в этой пятилетке, но они обязательно вырастут в будущем, ибо они станут необходимыми столице.

На многих участках работу ведут новейшие механизированные проходческие щиты. Эти машины все делают сами. Не слышно треска пневматических молотков, не видно проходчиков. Огромные резцы вгрызаются в грунт, сваливая его на ленту транспортера, а машинист и его помощ-

ник только направляют движение огромного агрегата.

В районах городских окраин тоннели удобно строить открытым способом. Это намного быстрее и выгоднее. Умело комбинируя разные методы строительства, используя новейшую технику, метростроители добились рекордных результатов — начиная с этого года в эксплуатацию будет сдаваться около десяти километров путей в год.

Часто приходится слышать вопросы-жалобы жителей района Хорошево — Мневники: когда же метро дойдет и до нас? Сейчас эта проблема уже решена. Краснопресненский радиус протянется от станции «Киевская» под Москвой-рекой в район Серебряного бора.

Пройдет не так много времени, и Замоскворецкий радиус причудливо изогнувшейся стрелой также устремится за Москву-реку, но в другой конец города — к поселку ЗИЛ.

Скоро начнется строительство нового участка метрополитена — до Тушина от Войковской. Эта станция, не так давно сама «новичок», теперь стала стартовой площадкой.

Не обойден вниманием и центр столицы. Новая линия соединит Калужский и Рижский радиусы. Небольшой секрет: этот вариант проектировался еще при строительстве Рижского радиуса. Но воплотится он в жизнь только теперь. Предполагается, что линия эта пойдет от станции Ботанический сад через Трубную площадь, площадь Держинского, площадь Ногина, Новокузнецкую до станции Октябрьская. Пока утверждается окончательный вариант, уже начаты работы на участке Октябрьская — Новокузнецкая.

Из Директив XXIII съезда всем известно, что к 1970 году в Советском Союзе длина путей метро вырастет на 85 километров. Но то, что 46 километров из них приходится на Москву, — знают не все. К концу пятилетки линии метрополитена раскинутся до самой кольцевой автодороги.

В. Мельников

МОСКВА 1970

Продолжение — на 189 стр.

«...Я БЛАГОДАРЕН ТЕБЕ...»

(ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННЫХ ПИСЕМ А. А. ФАДЕЕВА)



А. А. Фадеев в Барвихе. 1951 г.

Каждый раз, разбирая многочисленную ежедневную почту, Фадеев с особым волнением вскрывал конверты, на которых стоял дальневосточный штемпель.

Дальний Восток! Через всю жизнь пронес писатель любовь к родному краю. «Дальний Восток у меня в крови с детства», — не раз говорил он. Здесь прошло его детство, отрочество, юность; здесь он учился в таежной сельской школе, а позднее во Владивостокском коммерческом училище; здесь вступил в Коммунистическую партию, прошел революционную школу большевистского подполья и гражданской войны.

Всегда хранил он в своей душе какую-то особую нежность к солнечному Владивостоку с его сверкающими на солнце бухтами и заливами — «самому любимому и прекрасному городу», где каждый камень дома, поворот улицы, деревцо в саду так живо напоминали ему о лучших днях его беспокойной юности, овеянной романтикой первых дней великой Революции.

Александру Александровичу писали с Дальнего Востока его земляки-односельчане, школьные товарищи и боевые друзья по подполью и гражданской войне, бывшие партизаны и колхозники, учителя и школьники,

врачи и просто почитатели его литературного таланта.

Но, конечно, особое место в переписке Фадеева с дальневосточниками занимают его письма другу детства и юности А. Ф. Колесниковой.

Многие из этих писем напоминают скорее лирический дневник писателя. С таким дневником роднит их не только формальная схожесть (датировка, стиль и многое другое), но и какая-то особая сердечная откровенность, задушевность, искренность признаний. Пускай эти письма отправляются нерегулярно: иные разделяет перерыв в пять, восемь, а иногда и больше месяцев; в одном году — их написано более десяти, и они содержат по многу страниц, а в другом — только два, и притом небольших. Большинство из них пишется в «свободное» время — из санатория или больницы.

— Я пишу эти письма, — говорил Фадеев, — когда к тому есть возможность и позволяют обстоятельства; пишу, когда это отвечает велениям моей души и когда сама душа свободна для этого. Думается, как раз в этом — особая ценность писем.

О своей почти полувековой дружбе с писателем и истории их переписки рассказывает А. Ф. Колесников:

«Я помню Сашу Фадеева еще девятилетним мальчиком. Наше детство прошло вместе во Владивостоке. Одно время мы даже жили в одном дворе на Комаровской улице...»

Когда мы подросли и уже учились в школе, я и две моих подруги по гимназии — Нина Сухорукова и Лия Ланковская — сдружились с группой Сашиних товарищей по Коммерческому училищу. Мальчики были неразлучны. Обычно их собиралось человек пять-семь: Саша Фадеев, Гриша Билименко, Петя Нерезов, Саня Бордкин, Паша Цой.

Позднее к этой группе присоединились Яша Голомбик, Женя Хомяков, Ися Доляников. Были и другие, но они приходили и уходили. Из этой группы юношей и родилась вскоре та боевая «коммуна», о которой рассказывает в своих письмах Фадеев.

Мы часто встречались все вместе, играли, бродили берегом моря, пели песни, делились друг с другом своими мыслями, мечтами...

Став постарше, мы собирались у кого-нибудь из наших общих знакомых, чаще всего у Ланковских, в их домике на набережной, с балконом, выходящим на Амурский залив (с этого балкона мы постоянно рисовали закаты: они были так чарующе хороши!). Слушали музыку, пели, читали стихи. Среди нас «обнаружились» и певцы, и чтецы, и музыканты.

Саша любил читать стихи и, надо сказать, читал их превосходно. Обычно он забирался за цветы, которых в комнате Ланковской всегда было очень много.

Стоял он прямо, слегка закинув голову назад. Правая рука обычно была заложена за борт форменной ученической куртки. Он любил Пушкина, Некрасова, Надсона...

После стихов мы как-то ненадолго смолкали.

— А ну, споем-ка, друзья! — обычно предлагал Петя Нерезов.

Он пользовался у нас большим авторитетом. Спокойный, умный, иногда немного насмешливый, но постоянный и верный товарищ, он во многом служил нам примером.

Живя в приморском городе, мы были неразлучны с морем. Особенно влекло оно нас в бурную погоду, когда разбушевавшийся тайфун бросал растрепанные громады холодных волн на берега Амурского залива...

Одно из таких посещений Амурского залива навсегда сохранилось в памяти и Фадеева. Почти пятьдесят лет спустя он вспоминал об этом вечере и писал мне о нем с большой теплотой и грустью. И радостно было сознавать, что этот седой, много переживший человек так свежо сохранил в своем сердце светлые юношеские воспоминания и такие чистые чувства...

Помню я Сашу и в самодеятельном спектакле — на сцене Коммерческого училища. Мы — девочки — были приглашены на один из таких вечеров. На сцене шли отрывки из комедии Фонвизина «Недоросль» и из «Бориса Годунова» Пушкина. Саша играл Гришу Отрепьева в сцене «В Чудовом монастыре», и играл очень хорошо...

Мы много тогда читали. Нас уже остро начинали волновать и политические события. Формировались наши взгляды на жизнь, на поступки и отношения окружающих нас людей, на происходящие события. Перед каждым вставали новые и новые жизненные проблемы, подчас бывали и сомнения и колебания... Все чаще стали возникать споры, которые нередко затягивались на несколько дней...

В то время я еще не знала, что некоторые из наших мальчиков уже состояли в подпольных политических организациях. Саша Фадеев получал в то время уже партийные поручения. Но это было тогда для нас, девочек — не входивших в «коммуну», — тайной.

В 1918—1919 годах большинство наших друзей ушли в партизаны. Среди них был и Фадеев. Так постепенно и распалась наша дружная владивостокская компания. Когда утихли бои гражданской войны, многих уже не было в живых, а остальных жизнь разметала по всем концам нашей великой страны...

И вот, спустя почти тридцать лет, временно живя тогда в Средней Азии, я как-то решила написать Фадееву. Он ответил телеграммой. Первое письмо пришло много позднее, когда я была уже на родине — в Спасске. Так и началась наша переписка...»

●

1—21 июня 1949 года *

Разлука друзей прервалась весной 1949 года. Получив первую весточку от дальневосточного друга, Фадеев не смог сразу на нее ответить. Письмо глубоко взволновало: сразу вспомнился Владивосток, друзья, годы юности... Ответить «обычным» письмом не хотелось, а на большее как-то не хватало ни душевных сил, ни времени.

И вот, оторвавшись наконец от многочисленных своих дел и обязанностей, — Фадеев в подмосковном санатории «Барвиха»: «...Бушует гроза, окна открыты, уже очень поздний вечер, и мне сейчас хорошо, как бывало хорошо в детстве и в юности, когда за окном так же рвалась в темноте молния и шел шумный весенний дождь, — так начинается первое фадеевское письмо к А. Ф. Колесниковой. — И я не скрою, — продолжает он, — что мне хотелось бы быть сейчас подле Вас, потому что Вы тоже — моя далекая милая юность...»

Следуют подряд три больших письма (1-го, 16-го и 21 июня 1949 года), в которых Фадеев вспоминает, как сложилась — еще до революции — их владивостокская «коммуна»: это была компания незаурядных, полных духовных сил, романтически настроенных молодых людей — «ученье, дружба и мечты которой были и характерны, и в то же время выделялись на общем фоне последних предреволюционных годов и первых

* Письма, отмеченные звездочкой, легли в основу подготовленной мною книги: «Александр Фадеев... Повесть нашей юности», «Детская литература», 1961 и 1964 гг.



А. Фадеев

ниями. Юность писателя была прекрасна — над ней гревели бури великой Революции.

«Сама история, революция с ее бушующим ветром и ревущими волнами вдруг начала растасовывать нас с такой мощной силой! Вот мы все разъехались на лето, а когда вновь съехались осенью 18-го года, уже совершился белый переворот, шла уже кровавая битва, в которую был втянут весь народ, мир раскололся, перед каждым юношей уже не фигурально, а жизненно вставал вопрос: «В каком сражаться стане?» Молодые люди, которых сама жизнь непосредственно подвела к революции — такими были мы, — не искали друг друга, а сразу узнавали друг друга по голосу; то же происходило с молодыми людьми, шедшими в контрреволюцию. Тот же, кто не понимал, кто плыл по течению, увлекаемый неизвестными ему быстрыми или медленными волнами, тот горевал, обижался, почему так далеко он оказался от берега, на котором были видны вчера еще близкие ему люди, почему не бросают они ему спасательного круга? Но люди на обоих берегах — революции и контрреволюции — были уже в пылу сражения, покрытые кровью, и им справедливо казалось, что люди, уносимые от берегов, сами предпочли эту участь, а главное, уже некогда было спасать — даже тех, кого жалели, любили, с кем расставанье причиняло боль».

Воспоминания о юности чередуются с рассказом о личной и общественной жизни писателя, прожитой за годы разлуки друзей.

И все же, представляется нам, наибольшая ценность этих первых фадеевских писем состоит в том, что все они,

лет революции». Не случайно из всех учащихя Владивостока именно эта группа молодежи первой пришла к народу и вошла в революцию.

«Как мы были дружны и любили друг друга!.. — вспоминает Фадеев. — Мы презирали деньги, собственность. Кошелек у нас был общий. Мы менялись одеждami, когда возникала к тому потребность. Как мы были счастливы!..»

С нежной грустью вспоминает он и свою первую, может быть неузнанную и «неразделенную» любовь «мальчика с большими ушами» к девочке Асе, образ которой на всю жизнь сохранился в его памяти как светлое воспоминание о необыкновенно ярком и чистом юношеском чувстве..

«...Навсегда осталась в сердце эта нежность к Вам, и, когда я закрою глаза и каким-то волшебством вдруг представляю себя тем мальчиком, я ощущаю эту нежность в душе совершенно так же, как тогдашнее солнце на веках (когда лежишь в купальне, например), или как запах цветов, травы, листьев тех лет. Во всяком случае, я благодарен жизни за эту юность с Вашим присутствием: все-таки она, эта юность, выросла не на пустыре, а рядом с ней росла, цвела сирень (а может быть, жасмин, если Вам больше нравится), нежный запах которой я запомнил навечно».

Такие лирические страницы писем перемежаются и другими воспомина-



А. Колесникова

вместе взятые, составляют вдохновенную повесть-симфонию о юности писателя и того замечательного поколения советской молодежи, к которому он принадлежал. Это — повесть о жизни и возвышенной героико-романтической дружбе смелых и отважных «соколят» владивостокского большевистского подполья — первых прототипов будущей «Молодой гвардии».

Надо сказать, что письма А. Ф. Колесниковой совпали с периодом весьма знаменательным в творческой жизни А. Фадеева. Писатель всей душой был еще в мире своих юных красдонских героев, о жизни и делах которых он писал, по собственному признанию, «кровью своего сердца». Письма Колесниковой, еще раз напомнившие ему собственную революционную юность, попали на «благодатную» почву. Вот почему, вероятно, таким дружным и щедрым душевным отзвуком стали и ответные фадеевские письма — взволнованные и поэтические страницы о юности, дружбе, товариществе и любви: все это еще «горело» в сердце писателя, переполненном вдохновенной любовью к юным молодогвардейцам.

•

Со времени предыдущего фадеевского письма прошел почти год. Писатель снова в том же подмосковном санатории «Барвиха», откуда в июне 1949 года было отправлено первое письмо в Спасск.

Фадееву «не повезло»: к обычным его болезням прибавилась тяжелая форма гриппа, приковавшего его на две недели к постели.

Вновь перечитывает он письма своего дальневосточного друга, с интересом разглядывает полученные фотокарточки, вглядываясь в эти знакомые с детства черты. Да, это та же Ася, хотя пережитые «житийские невзгоды и бури» и отложились на ее лице «правдивой и суровой печатью...»

23 апреля 1950 года

«...Вот уже год прошел (и это очень грустно: мы оба стали на год старше!), а я, перечитывая письмо за письмом, вновь иду вслед за Вашей жизнью: она вся отпечатлелась в этих письмах. Я чувствую Вас в самых высоких взлетах Вашей души, я вижу Вас склонившейся над ученическими тетрадками, в зимнюю ночь, обнимающую Ваш домик, вижу, как Вы бродите по родным местам на станции Океанской или сидите на подоконнике в бывшей «Зеленой гимназии» на Суйфунской, — ах, как мне хочется везде, везде быть вместе с Вами! И как Вы могли сомневаться в том, что именно эта Ваша обычная жизнь с ее подробностями, с ее радостями и горестями, именно она, эта жизнь, мне бесконечно мила, близка. Ведь мы с Вами вышли из одной, очень сходной трудовой среды, я тоже очень рано остался без отца, я помню свою мать, сельскую фельдшерницу, всегда в беззаветном народном труде, и я сам проделал этот жизненный путь...»

Как всегда, в письмах к своему другу писатель обращается к их общему прошлому — к их детству, юности. И даже настоящее окрашивается для него этими далекими и такими добрыми воспоминаниями...

«...Во всем, что бы Вы ни делали, о чем бы ни мечтали, я вижу Вас так, как если бы я невидимо шел вслед за Вами, и во всем я вижу Вашу талантливую душу. Я глубоко, по-человечески, люблю Вас заочно всей душой — за Ваши душевные порывы, и за Ваши неприятности по школе, и за все, за все... Спасибо Вам за то, что Вы есть на свете...»

В тот же день в гости к писателю впервые приехал с Дальнего Востока сын А. Ф. Колесниковой — Лева Колесников, в ту пору военный летчик и молодой начинающий литератор.

«...Сегодня первый день, — продолжает Фадеев, — как мне разрешили выйти в парк, в тот самый парк, где тогда (он имеет в виду весну 1949 года, когда началась переписка друзей. — С. П.) бушевала гроза и пахло сиренью, а теперь набухли только почки сирени, — тут мы с ним и познакомилась. В чертах лица Вашего сына так много от Вас, и это очень взволновало меня. Он очень естественный, природно умный и жизнерадостный парень, понравился мне чрезвычайно, мне было с ним легко и весело. Мы поговорили с ним о его произведении, и на днях он встретится с писателем и редактором Харитоновичем, который тоже читал его роман и может ему кое-что посоветовать. Надеюсь... добыть для Левы современные научно-фантастические романы (не верю, правда, в то, что они хороши и смогут послужить ему образцом) и — просто некоторые литературные новинки для чтения...»

Случилось так, что в тот же день Фадеев получил сразу несколько писем от А. Ф. Колесниковой.

«...Только мои гости уехали, я все это стал читать. И в конце концов приезд Левы и эти письма так меня взволновали, что я уже ни о ком и ни о чем не могу думать, кроме как только о Вас, о Вас, мой далекий друг. Вы спрашиваете меня в этом письме, неужели у меня не бывает

таких вечеров, которые принадлежали бы мне, неужели я всегда, всегда занят, неужели я не могу написать Вам хоть когда-нибудь? Как ни чудовищно я занят, конечно можно физически найти время для письма, но я уже писал Вам как-то, что я не могу писать Вам писем, когда душа моя несвободна...

Теперь я напишу Вам много, много писем подряд, одно за другим, я отвечу Вам на все, что Вы написали мне за год, и на большое и на малое. И Вы, когда пишете мне, не давайте волю рефлексии, порождаемой мнимыми житейскими соображениями,— печалат меня они. Ведь Вы же, Ася, для меня человек совсем особенный, необыкновенно близкий и родной, и Вы должны чувствовать это своим сердцем, а Вы вдруг начинаете писать о «разнице положений», как будто это может иметь значение для людей таких, как я и Вы, или вспоминать «Нану», как будто мы с Вами не одно поколение,— не надо этого...

А тем более пусть не приходят Вам в голову такие мысли, что кто-то может прочесть Ваши письма ко мне. Никогда и никто не коснется их — просто потому, что в моей семье нет такого грубого и примитивного «заво́ду»: мы живем в уважении и доверии друг к другу. Не забудьте, что я получаю в день около сотни писем, среди них очень много личных — от старых и новых друзей, от людей, просто ищущих совета и теплого слова от писателя. Меня эти сомнения Ваши именно печалат, потому что я так хорошо понимаю, что их порождает: это известное торможение всегда было присуще Вам в жизни и действительно так помешало развернуться до конца Вашим незаурядным душевным силам — помешало везде — и в полном раскрытии Вашей талантливой природы и, может быть, в личной жизни. А ведь я знаю Вас такой прекрасной! Я находился под Вашим очарованием в самые прекрасные годы, когда формируется личность,— у меня нет в жизни более счастливых воспоминаний (и, должно быть, нет человека более близкого, чем Вы)... Так не печальте же меня!..»

Ему очень понравилась мысль обмениваться не только письмами, но и фотокарточками разных лет («...Мне так бы хотелось видеть Вас в разные годы жизни, что мы не виделись»). Фадеев посылает Колесниковой две своих фотографии (1946-го и 1950 годов) с такими комментариями к ним: «...На первой я слишком «идеализирован», а на второй — слишком сумрачен: я человек очень жизнелюбивый и веселый, часто смеюсь, лицо мое часто меняет выражение, непроизвольно отражая различные эмоции».

❶

26 апреля 1950 года *

В этом письме Фадеев очень интересно рассказывает о своей жизни на Дальнем Востоке в 1915—1918 годах.

Он вспоминает 1917—18 год, год первой забастовки учащихся, год их «повзросления» и начала политического размежевания, год известного «усложнения» отношений среди друзей и, вместе с тем, год наивысшего расцвета их дружбы.

«Особенно мне запомнился один, уже довольно поздний, холодный-холодный вечер. Был сильный ветер, на Амурском заливе штормило, а мы почему-то всей нашей компанией пошли гулять. Мы гуляли по самой кромке берега, под скалами, там же, под Набережной, шли куда-то в сторону к морю от купальни Камнацкого. Мы уже знали, что Лия должна будет уехать,— срок, кажется, еще не был известен, но все уже знали, что это неизбежно. Было темно, волны ревели, ветер дул с необыкновенной силой, мы бродили с печалью в сердце и почти не разговаривали, да и невозможно было говорить на таком ветру. Потом мы нашли какое-то местечко под скалами, укрытое от ветра, и стабунились там, прижавшись друг к другу...

Так мы стояли долго-долго, согревая друг друга, и молчали. Над заливом, от пены и от более открытого пространства неба, было светлее, мы смотрели на ревущие волны, на темные тучи, несущиеся по небу, и какой-то очень смутный по мысли, но необыкновенно пронзительный по чувству голос тогда говорил мне: «Вот скоро и конец нашему счастью, нашей юности, куда-то развеет нас судьба по этому огромному миру, такому неуютному, холодному, как эта ночь с ревущими волнами, воющим ветром и бегущими по небу темными рваными тучами?..» На душе у меня было тревожно в самом грозном смысле этого слова, и в то же время где-то тоненько-тоненько пела протяжная нотка и грустно было до слез...»

Фадеев вспоминает годы владивостокского подполья, свой уход в партизаны.

❷

Вслед за этим письмом-воспоминанием в Спасск отправляется «внеплановое письмо» (как в шутку его называет Фадеев) — уже «о сегодняшнем дне». Писатель беспокоится о здоровье своего друга: в школах закончился учебный год, а он знает, что означает это для учительницы. Поэтому он обращается к ней с просьбой:

«...Разрешите мне достать Вам путевку на курорт... Ведь Вы ее заслужили: Вы — опытная учительница, с громадным стажем, отдающая всю себя своему делу, — орденоседец. Мне как депутату-писателю, хорошо известному в учительской среде, так много приходится устраивать таких путевок для учителей (конечно, не только для них) — и не только от моего избирательного округа, а из разных областей — и часто людям, гораздо менее этого заслуживающим, чем Вы. Поверьте, я настолько сам щепетилен в таких вопросах, что никогда не предложил бы Вам этого из личных чувств, но здесь мной руководит сама правда божья, — согласитесь же... Если Вам надо подлечиться на курорте, в санатории лечебного типа, каком-нибудь специальном (скажем, на юге), телеграфируйте мне, где именно Вам рекомендуют, и я Вам это устрою немедленно, без всякого труда (мне всегда идут навстречу в этих — да и не только в этих — делах). Если же Вы нуждаетесь просто в отдыхе, чтобы отдохнули нервная система и сердце, я Вам устрою путевку в один из хороших подмосковных санаториев... Здесь такая чудная, тихая русская природа!»

В этом письме Фадеев делится с другом и некоторыми своими ближайшими планами, замыслами, рассказывает, как вообще протекает его жизнь.

Он сообщает А. Ф. Колесниковой, что получил довольно большой — четырехмесячный отпуск «для лечения и для творчества», но с обязательством никуда не уезжать из Москвы. Если бы не это условие, он обязательно умчался бы на Дальний Восток, где он не был уже пятнадцать лет.

«...Но я не имею права уехать из Москвы, потому что по характеру своей (не внутрисоюзной, а международной) деятельности я и во время отпуска время от времени нужен здесь. Не дает мне возможности поехать и то обстоятельство, что поездка не позволит мне закончить работу над новыми главами «Молодой гвардии», для чего, собственно, мне и дали такой большой отпуск.

Вы, наверно, помните, что года два с лишним тому назад «Молодая гвардия» была подвергнута критике в печати за недостатки в изображении большевистского («взрослого») подполья при немцах в Донбассе. Действительно, к тому времени обнаружилось много нового материала о деятельности большевиков в Ворошиловградской области, и в частности в Краснодаре, материала, которым я в свое время не располагал. Я принял эту критику и дал обещание в печати, что роман дополню.

В 1948 году мне дали для этого 4 месяца отпуска, но отпуск был на две трети сорван: дали отпуск, а через несколько дней поручили подготовку доклада к годовщине смерти Белинского. Мне пришлось все бросить и сесть за Белинского — на подготовку доклада у меня ушло полтора месяца. Потом я все-таки начал писать новые главы «Молодой гвардии» и сделал примерно половину работы — тоже месяца полтора ушло на это. У меня оставался еще месяц, и я успел бы еще кое-что сделать (по роману), но тут меня сняли с отпуска и направили на подготовку Конгресса деятелей культуры в защиту мира, прогресса и демократии в Польшу, в г. Вроцлав, — это был первый после войны международный конгресс подобного рода. С той поры эта сторона моей многообразной деятельности забрала у меня большую часть времени из истекших полутора лет, а роман так и остался недописанным. Сейчас — единственная возможность дописать его.

И конечно (не говоря уже о времени, которое отняла бы дорога), мне трудно было бы дописать «Молодую гвардию» на Дальнем Востоке. Соприкосновение с родиной, встреча с Вами — все это и перевернуло бы меня и вызвало бы целый поток дальневосточных тем, в том числе и таких, которые уже давно сидят в моей голове, но не могут быть осуществлены по недостатку времени: возьмите хотя бы «Последний из удэге», незаконченный роман, который я из всех своих произведений больше всего люблю.

Но в конце концов... я мог бы сделать «сверхгероическое» усилие и заставить себя закончить «Молодую гвардию» на Дальнем Востоке, — главное все-таки в том, что я привязан к Москве своими международными обязанностями, — мне сейчас просто не разрешат уехать».

Фадеев приглашает своего друга приехать повидаться в Москву, обещая «взамен» — приехать на Дальний Восток в следующем, 1951 году. Такая поездка вполне совпала тогда и с его творческими замыслами:

«Дело в том, что по окончании работы над «Молодой гвардией» — на очередь встанет окончание «Последнего из удэге», а мне — после перерыва в работе над романом около 10 лет (я написал четвертую часть романа в 1940 году) — продолжать его без освежения памяти, без соприкосновения с Дальним Востоком было бы невозможно. Это — попутный, убедительный мотив для того, чтобы просить у ЦК партии права съездить

в 1951 году на родину хотя бы на месяц (не считая дороги). Причем я рассчитываю,—если сложится в начале 1951 года зимой такая ситуация, что мне не надо будет ехать за границу, а будет лежать на мне только работа по Союзу писателей,—я рассчитываю совершить свой дальневосточный рейс зимой, в крайнем случае — весной.

А этим летом приезжайте Вы...»

30 апреля — 11 мая 1950 года *

Письма о сегодняшнем дне — вновь чередуются с воспоминаниями о прошлом: в одном из писем 1950 года Фадеев прямо так говорит: «...Продолжаю повесть нашей юности».

Следуют четыре больших письма о годах боевой партизанской жизни, о чистой и мужественной дружбе четырех юных соколят (он шутливо называет их — «Три мушкетера и д'Артаньян»), о том, как постепенно в ходе самой жизни, и в особенности гражданской войны, которая стала для него «большой и суровой воспитательницей»,—проходил процесс пересмотра прежних, «детских» взглядов и формировалось его идейно-политическое и морально-этическое самосознание, как накрепко входит он в те годы в большевистскую среду, «во взрослый мир большой политической активности», в мир новых дружб и привязанностей.

До конца 1950 года в адрес А. Колесниковой было отправлено еще пять писем, в которых, наряду с очень личными, частными и порой малозначительными в общественном смысле заметками, мы находим немало любопытных записей, характеризующих либо настроение писателя, либо содержащих его высказывания и размышления «о том — о сем», его пейзажные и всякие иные «зарисовки»,— словом, все то, что обычно составляет странички писательских дневников и записных книжек.

Так, например, Фадеев рассказывает, что все последние дни он вел «праздный» образ жизни — «бродил по полям и лесам». В связи с этим он пишет:

10 мая 1950 года

«...Май стоит холодный — на наши центральные области надвинулся какой-то холодный циклон,—весна точно замедлилась, лист еще только-только набирается, но черемуха цветет всюду, леса, особенно в низинах возле речушек, напоены ее ароматом, вишня в садах осыпалась белыми цветами. Я люблю это время года, раннюю весну, и вот она, как нарочно, затянулась для меня...»

Тут же он сообщает другу о своих семейных бедах: серьезно заболел младший сынишка Миша¹,—«вероятно, придется везти его на юг». Поэтому намечавшаяся поездка на Дальний Восток срывается. «Мне всю жизнь не везет,—да, да, именно так, не смейтесь...» — и шутливо добавляет: «Стоит господу богу со своего всевышнего престола заметить, что я вот-вот могу стать счастливым, он обязательно сделает что-нибудь, чтобы я стал несчастлив...»

Это «грустное», как он говорит, письмо, заканчивается так:

«...Посылаю Вам несколько фото,— может быть, они Вас немножко развеселят. Все эти фото — «уникальные»,— когда прискучат Вам, Вы их мне верните. Три фото с Алексеем Толстым относятся к периоду борьбы Республиканской Испании против Франко и итальянских фашистов, помогавших Франко. Мы были тогда с группой писателей во многих пунктах Испании — в Барселоне, Валенсии, осажденном Мадриде, на фронте под Брюнетто и под Гвадалахарой, и на родине Сервантеса...»

А через несколько дней писатель отправляет новое письмо, которое буквально поражает своей исключительной предупредительной заботой о старом друге.

16 мая 1950 года

«...Как мне хочется чем-то облегчить жизнь Вашу, как-то помочь Вам, доставить Вам радость! Напишите мне, не нужны ли Вам масляные краски, полотно? Может быть, Вам достать хорошие акварельные и специальную бумагу?.. Напишите, что Вас интересует?.. В одной из своих записочек Вы писали, что погас свет и нет свечей. Может быть, в Спасске и вообще на Дальнем Востоке трудно купить свечи? Я могу Вам выслать — я упакую так, что они не побыются. Действуют ли Ваши часы и правильно ли идут? Не нужны ли Вам еще какие-нибудь книги по Вашей работе или просто почитать что-нибудь из новинок? Кстати, если смените место работы, ни в коем случае не соглашайтесь на младшие и средние классы, берите литературу в старших — это интереснее и Вам и учащимся...»

¹ Михаил Фадеев — в настоящее время студент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Такая сердечность, душевная заботливость — были вообще характерны для Фадеева. Свойства эти проявлялись в нем и тогда, когда дело касалось людей, порой даже мало ему знакомых. Огромная фадеевская переписка с писателями и читателями служит тому убедительным доказательством.

И еще одна характерная особенность фадеевской природы, получившая яркое отражение во всех его письмах: почти во всех них звучит «дальневосточная тема» — воспоминания или мечта вновь свидеться с родным краем.

«...Я посылаю вам «умненького мальчика с большими ушами», — заканчивает Фадеев свое письмо, — такого, каким он был в далекие, далекие годы, когда он Вас так любил, и такого, каким он стал теперь... Эта фотография «далекого времени» — любительский снимок владивостокского периода; он был коллективным, с людьми, которых Вы не знаете, я специально вырезал себя и увеличил для Вас. Не могу почему-то без улыбки смотреть на этого «сурового подпольщика». А остальные четыре фотографии сделаны в Барвихе: две в мае и июне прошлого года, как раз когда мы с Вами начали переписываться, и две — этого года, всего лишь восемь дней назад...

Как бы мне хотелось приехать к вам! Я обязательно это сделаю в 1951 году. Одна из моих самых больших радостей сейчас, это — гулять по лесу и мечтать, как я приезжаю, когда у Вас отпуск, и как мы с Вами всюду вместе ходим, ездим и сидим долгими, долгими вечерами... Я обязательно напишу Вам такое письмо — мечту об отпуске на Дальнем Востоке, — я постараюсь сделать все, все, чтобы это не было мечтою...»

18—22 мая 1950 года

Эти письма связаны с поездкой А. Ф. Колесниковой на отдых в один из подмосковных санаториев. Фадеев настаивает на таком отдыхе друга после окончания трудного учебного года. Он хочет повидать Колесникову после многолетней разлуки и поэтому активно хлопочет о путевке.

«...Разговор с Вавиловым¹ у меня состоялся сегодня утром, очень веселый — нам очень много придется соприкасаться с ним по работе. — «Можете, — я спрашиваю, — устроить в ваш дом отдыха под Москвой хорошую учительницу как научного работника?» — «Что ж, говорит, — хороший педагог — тот же научный работник, только к академикам, пожалуй, приравнять не смогу». — «Этого, — говорю, — не требуется. Среди академиков ей будет страшно отдыхать. Нет ли домов «пониормальной»?..» Одним словом, Вам уже обеспечена путевка на месяц...»

Зная щепетильность Александры Филипповны, он заверяет ее, что все эти хлопоты не обременяют его и не отвлекают от дела.

«...Вы вправе были бы отказаться от моего предложения, если бы это был не я, но ведь Вы — самый близкий мне человек на земле, и Вы не должны лишать меня этой радости».

Отвечая на какие-то «сетования» А. Колесниковой по поводу того, что он вряд ли и узнает ее при встрече, так, очевидно, оба они изменились и постарели за эти годы, Фадеев пишет:

«...Вы никогда больше не пишите мне про «возраст», потому что Вы, сами того не замечая, очень меня обижаете этим, лишаете и себя и меня молодости, естественности и просто человечности. Об этом нельзя не только писать и говорить, но даже думать...»

Это не мешает ему, получая письма и фотографии друга, идти и идти «глазами и сердцем» по ее жизненному пути «...от года к году, от одного переживания к другому, от первого седого волоска ко многим...» И все-таки, — «...не грустите, не давайте воли рефлексии, живите непосредственнее, душевно вольнее и смелее...»

С большим и вполне естественным волнением ожидает Фадеев личной встречи со своим другом: ведь по сути дела — это встреча со своей юностью, хотя бы и «тридцать лет спустя»...

В ожидании этой встречи он пишет:

«...Вы незримо присутствуете в комнате, где я, проснувшись, пишу сейчас лежа в кровати (сейчас полезу в ванну, и не захотелось одеваться), и всегда бродите вместе со мной в лесу, по обрывистому берегу Москвы-реки, — на той стороне ее заливные луга, потом опять лесистые холмы, за которые саditся солнце, — я всегда люблю гулять над обрывом перед закатом. Там, на холме, среди лугов стоит колхозная ферма под тенью старых-старых берез, и я вдруг представляю себе, что мы с Вами, взявшись за руки, идем и идем через эти луга, покрытые молодой свежей яркой и сочной травой, заходим на эту ферму, и выпиваем по кружке молока с черным хлебом, и смотрим друг на друга, и смеемся, сами не зная чему...»

¹ С. И. Вавилов (1891—1951) — президент Академии наук СССР (1945—1951).

Встреча друзей состоялась в июле 1950 года. Вот что рассказывает об этой встрече А. Ф. Колесникова:

«...Голубой дальневосточный экспресс замедляет ход. Постепенно наплывает перрон московского вокзала, а вот и его высокая, статная фигура — я узнаю ее сразу. Уже заранее чувствую некоторое смущение: как-никак, человек я рядовой, так сказать, «провинциальный», обыкновеннейшая учительница средней школы — такую в «трепет» может повергнуть самый простой заведующий роно. А мой друг — когда-то мальчик Саша — стал не только всемирно известным писателем, но и руководителем Союза писателей страны, членом ЦК партии, депутатом Верховного Совета, одним из руководителей Всемирного движения сторонников мира. Как-то мы встретимся?

Всматриваюсь в его фигуру: да, раздался наш «мальчик» в плечах, шея стала по-мужски крепкой, и, вопреки законам природы, с годами похорошел наш Саша. Только что же ты так поседел, дружок мой? Ой, как поседел!

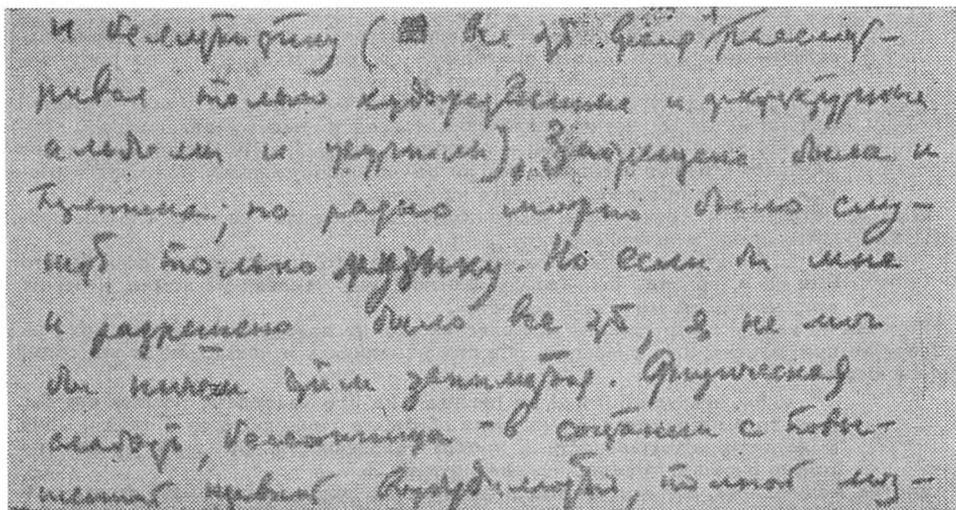
Стараюсь прогнать невольное смущение шуткой:

— Какой же ты стал большой, мой друг! Во всех смыслах большой!

— А особенно по габаритам! — также шуткой, весело отвечает он, и уже через минуту я забываю про все свои недавние сомнения, смущения и чувствую себя с ним так же просто, как и тогда, «тридцать лет назад», в годы нашей далекой юности.

Я могу честно сказать, что Фадеев выдержал все «испытания славой»: мировая известность не вскружила ему голову, не лишила его простоты, естественности, душевной теплоты, отзывчивости, человеческой чуткости и доброты.

Наша первая встреча пролетела быстро. Но и она убедила меня в том, что Саша остался верен себе. Как и в юности — он очень мало жил для себя. Даже в те считанные минуты, что мы бывали вдвоем, он не переставал говорить и делать что-то для других: то письмо какое-то подпишет, чтобы дали путевку или пенсию медсестре или учительнице, то позвонит больному товарищу, то книги принесет — чтобы отвезла в Спасск или в его родную Чугуевку.



и Колесникову (☐ № 17. Февраль 1953 г.)
милые мои колесниковские и чугуевские
а также и чугуевские). Забываю дома и
Колесникова; но радио говорит о нем с
любью только друзьям. Но если бы мне
и разрешено было бы это, я не мог
бы никак быть землей. Физическая
слабость, Колесников — в состоянии с болью
испытать первый выдох, но чтоб му-

Одна из страниц письма А. А. Фадеева к А. Ф. Колесниковой от 5 февраля 1953 г.

Меня буквально поражало, что положение, известность и, если можно так сказать, знаменитость моего друга — никогда не заслоняли для него простого рядового человека, его интересов и нужд (это видно и по его письмам), его любви к родному краю, к милому нашему Дальнему Востоку.

...За час до моего отъезда в Спасск, уже на вокзале, провожая меня, Фадеев увидел у меня билет со штампом «Станция Евгеньевка» (в тех краях в свое время Саша партизанил, был впервые ранен, работал в подполье). Он бережно взял этот билет в руки и, видимо что-то вспомнив, страшно взволнованный этим воспоминанием, вдруг... заплакал. Седой Фадеев плакал, глядя на мой железнодорожный билет с милым его сердцу названием. Потом он овладел собой и сказал мне с искренностью, так свойственной вообще людям чистым и восторженным:

— Ты знаешь, я так люблю наш край! Что бы я только ни дал, лишь бы еще хоть разочек побывать на Дальнем Востоке! И знаешь, я все-таки обязательно туда приеду!»

Вскоре после этого Фадеев посылает в Спасск письмо.

«...Получаю все твои письма — дорожные и не дорожные... Чтение их доставляет мне простую, счастливую радость. Получаю я их по нескольку за раз: со времени твоего отъезда я смог побывать в городе всего лишь три раза.

Мне приходится чудовищно много работать, чтобы наверстать время, которое отняла болезнь. Отпуск мой фактически кончился 8 августа. По договоренности с товарищами я еще не являюсь на работу, а по особенно важным и неотложным делам они приезжают ко мне. Таким образом, время мое раздвоилось, писать стало труднее, а между тем я хочу, и просто обязан, закончить новые главы романа. Теперь мне нужно еще дней 10, а боюсь, что сорвут в командировку, и работаю днем и ночью...

Ты спрашиваешь, не отняла ли ты у меня много времени? Боже мой, все это прошло так быстро! Когда ты уехала, я с трудом удерживался от слез. И в течение многих дней мне было так грустно, невыносимо грустно. Правда состоит в том, что помимо болезни моей, мне, конечно, трудно было работать весь тот месяц. Дело не в количестве «затраченного» времени (к этим считанным минутам я отношусь с благоговением!), а в том, что я был взволнован, вся душа моя перевернута была, трудно было думать о чем-нибудь другом. Огорчало (больше — печалило!) меня, конечно, и то обстоятельство, что в каком-то непосредственном, очень живом и жизненном смысле у нас не получилось той близости, о какой я мечтал. В письмах ты была проще, живее, ласковей, а при встрече я как-то почувствовал, что ты ожидала увидеть меня другим и не приняла меня целиком. В тебе чувствовалось какое-то торможение. И это меня лишило той исключительной жизнерадостной непосредственности, которая, собственно, является самой лучшей стороной моей натуры. Как человек очень эмоциональный и чуткий, я сразу почувствовал это, не забываясь от твоей воли, торможение, — оно меня тоже как-то связало, заставило рефлексировать. А рефлектирующий Фадеев — это уже не Фадеев. Короче говоря, ты не по умыслу, а в силу особенностей своей натуры, слишком была охвачена переживаниями, происходящими в тебе, и как-то не откликнулась всей силой души на то, что происходило во мне. Огромный поток чувств, пробужденный воспоминаниями и выразившийся в том потоке писем, которые я послал тебе из Барвихи, достиг своей кульминации, когда я, наконец, увидел тебя. Но при всем том, что я видел, как ты рада, взволнована, даже счастлива видеть меня, я не почувствовал идущего мне навстречу широкого, естественного, свободного «половодья чувств», — душевно ты не столько думала обо мне, сколько о том, как я и мое присутствие или отсутствие отражается в тебе. Вот и получилось у нас больше дружбы, чем любви. Видно, что-то в моей натуре (а может быть, и во внешнем облике) не ответило на какие-то внутренние, может быть даже неосознанные тобой требования твоей природы... Эта моя откровенность может теперь огорчить тебя задним числом. Но я почувствовал необходимость написать тебе об этом после твоих писем, — они стали опять простыми, живыми, ласковыми; точно, отдалившись от меня и увидев меня не таким, каким я был на самом деле, а каким тебе хотелось бы меня видеть, ты вновь восстановила в душе простое и живое чувство любви. Вот то единственное, что немножко обижало, а больше огорчало меня, когда мы были вместе. Но все это, изложенное теперь на бумаге, выглядит серьезней, чем переживалось на самом деле. Я был счастлив все-таки, очень счастлив, и я благодарен тебе за это! И чувства мои к тебе неизменны.

Я с трудом прорвался к этому письму, чувствуя в нем необходимость. Писать же действительно мне будет все трудней. Но я буду бомбардировать тебя телеграммами — ласковыми, как всегда, потому что я всегда чувствую к тебе такую нежность!

Мой художник, Федя Глебов, достал мне для тебя краски, и холст, и бумагу для акварели (и кисти для масляных). А палитру, говорит, ей делает по руке любой маляр или столяр, обслуживающий маляров, — мы, говорит, их сами заказываем таким путем, а в продаже их нет. Скоро я тебе все это pošлю...»

Прошло восемь месяцев. Фадеев продолжает работать над второй редакцией «Молодой гвардии». Многое уже сделано, но работа идет медленно. Многие причины и «обстоятельства жизни» мешают писателю сосредоточить все свои творческие силы над романом: отрывают «неотложные дела» Союза писателей, различные выступления, доклады, заграничные командировки. «Все на свете меня отлекает».

В письмах этих лет впервые начинают встречаться жалобы писателя на «чудовищную перегрузку», на «нервное переутомление». Все чаще и чаще оглядываясь на прожитую жизнь, писатель вынужден отмечать, как мало ему приходилось и приходится заниматься любимым делом («Я так мало написал в своей жизни...»), а «литературная работа — это главное, что я должен делать в жизни» (из письма к матери). Мысль об этом главным в своем призвании, сознание того, что истинное счастье для него состоит именно в творчестве, красной нитью проходит через многие, самые задушевные письма Фадеева, через его записные книжки. И наряду с этим — горькое сознание, что — в силу разных причин и обстоятельств жизни и даже некоторых особенностей характера — он «прожил более чем сорок лет в предельной, непреступной, преступной небрежности к своему таланту» (из письма к М. Алигер).

Огромная, а с годами все нарастающая неудовлетворенность писателя «условиями своего существования» вынуждает его обратиться в марте 1951 года с письмом к Сталину, в котором пишет, что вот уже шесть лет (со времени избрания его генеральным секретарем Союза писателей) он ежедневно совершает «...над собой недопустимое, противозаконное насилие, заставляя себя делать не то, что является самой лучшей и самой сильной стороной моей натуры, призванием моей жизни». Фадеев рассказывает о своих творческих замыслах, постоянно его «распирающих», но которые он не может осуществить. С иронией говорит он о том, что давно уже «перестал быть писателем, превратившись в акына», рассказывающего друзьям темы и сюжеты повестей и рассказов, постоянно заполняющих его и умирающих в нем неосуществленными.

Душевный кризис, который начался у писателя примерно во второй половине 40-х годов и обострялся все последующие годы (несмотря на отдельные периоды душевных подъемов и «взлетов»), — объясняется, конечно, не только его перегруженностью и искусственной оторванностью от любимого дела, но и другими, еще более сложными причинами¹.

Фадеев настаивает на предоставлении ему длительного отпуска «от всех дел». Но долго не получая решения и по-прежнему «насилая себя» — вынуждая делать не то, «к чему лежит душа», — он заболевает...

19 апреля 1951 года

«...Итак, я опять в Барвихе. Стоит теплый апрель, но почки еще не распустились, ночами холодно, еще нельзя спать с раскрытыми окнами.

Конечно, все планы моей жизни сломала жестокая действительность. Из-за своей чудовищной перегрузки, начавшейся с Варшавского конгресса², я не смог доделать до конца свою «Молодую гвардию». Наивно было бы просить отпуска в течение зимы: одно дело напирало на другое; и — поездки, поездки, превратившиеся для меня из счастливой возможности познать — в тяжелый крест. И как всегда, к концу своего трудового года (т. е. к весне) я начал выбиваться из сил и болеть. В первых числах марта вернулся из Берлина³. Мне предстоял дней через десять большой доклад на совещании молодых писателей, но я свалился: сдало сердце. Ничего опасного, но — страшное переутомление. При наличии невроза — этого спутника времени нашего — я стал неработоспособен. Пролежал в больнице, потом дома. Вышел на работу 2-го апреля только для того, чтобы в течение дней десяти привести в порядок дела. А 11-го числа я уже попал в Барвиху, которая мне давно бы надоела, если бы не была так связана с тобой — далекой, далекой... И все-таки здесь я чувствую тебя близкой: душа моя раскрепощается. Конечно, меня заставили и здесь с неделю пролежать...»

В течение года я, как всегда, не имел времени, а вернее — душевных сил — писать тебе. Но ты все время жила во мне и чудные ласковые письма твои доставляли мне такую отраду!»

Фадеев сожалеет, что не выполнил своих небольших обещаний другу: не прислал нужные ей лекарства, не достал орфографический словарь... Зато он подписал ее «на все газеты и журналы, как и в прошлые годы, да еще на «Семью и школу...» Что же касается его обещанной поездки на Дальний Восток, то:

«...Мечты мои о поездке на Дальний Восток рассыпались прахом. Пока что мне не дали даже обычного творческого отпуска: я буду в Барвихе до 10 мая, ибо числа 12—13 (мая) опять вынужден буду выехать по мирным делам. Ввиду того, что я очень переутомлен, нет у меня уверенности, что

¹ По характеру настоящей публикации мы не можем здесь подробнее говорить о всех этих причинах и потому отсылаем читателя к нашей вступительной статье в сборнике «А. Фадеев. Письма (1916—1956)», выходящем в издательстве «Советский писатель» во второй половине 1966 года.

² Второй Всемирный конгресс сторонников мира состоялся в Варшаве 16—22 ноября 1950 года. На этом конгрессе А. А. Фадеев возглавлял советскую делегацию. На заседании конгресса внес предложение послать в ООН «Декларацию об устранении угрозы новой войны и об укреплении мира и безопасности народов». Избран в состав Всемирного Совета Мира, а также членом Бюро и вице-председателем Всемирного Совета Мира.

³ Где А. Фадеев принимал участие в работе первой сессии Всемирного Совета Мира (21—26 февраля 1951 года).

в течение этого месяца в Барвихе я успею доделать «Молодую гвардию». Следовательно, если мне после поездки дадут еще 2 месяца или хотя бы один — для литературной работы, я не смогу никуда выехать, а должен буду немедленно сесть за роман. Я не могу больше тянуть с ним: читатель ждет. Да мне и самому стыдно встречать свое 50-летие (24 декабря с. г.), если роман не будет окончательно исправлен, дописан и выпущен в свет...

Однако весна 1951 года сложилась для писателя очень «несчастлива».

30 мая 1951 года

«...Фактически всю вторую половину марта, апрель и май — за исключением нескольких недолговременных светлых промежутков — я провел в лежачем положении. В результате чудовищной нагрузки всех последних лет меня подвело мое сердце. Мне никогда не хотелось писать об этом подробно. Но если я не сделаю этого, тебе не будет понятно, почему так неожиданно обрывалась периодически наша переписка и даже телеграммы мои уже не могли порадовать тебя хоть на минутку.

У меня развился за эти годы очень сильный склероз сосудов сердца и особенно аорты. Как выражаются врачи: «Если Вам сейчас 50 лет, то сосудам вашего сердца по крайней мере 65». У меня, к счастью, нет порока сердца, т. е. клапаны работают нормально. В силу разрывов сосудов (современная модная болезнь — «инфаркт»). Если бы случилось последнее, дни мои были бы сочтены. Ибо во всех аналогичных случаях, хотя и удаётся большей частью на время задержать развитие процесса, все равно спустя некоторый срок — год или два — разрывы сосудов повторяются, и человеку — конец. Вот у меня — на счастье — этого еще нет. Но так как я живу жизнью очень напряженной, нервной, то я постоянно нахожусь перед этой угрозой. И если я начинаю испытывать сильное недомогание в области сердца, меня немедленно укладывают в постель.

С момента, как я попал в Барвиху, у меня все время были колебания то к лучшему, то к худшему. Потом по одному общественному делу — когда, казалось, все уже пошло хорошо — мне пришлось выехать в Москву, и здесь стало так скверно, что меня уже не вернули в Барвиху, а снова положили в больницу, где можно было, в случае необходимости, применить такие методы помощи, какими санаторий не располагает...

Вообще перспективы моей жизни таковы... Сразу после моей командировки мне обещан творческий отпуск сроком на один год(!) Я не могу уйти в такой длительный отпуск, не поработав в Союзе писателей по крайней мере месяц и не подготовив своих заместителей к работе без меня. И вот я решил с 1-го июня выйти на работу, проработать этот месяц, потом отбыть командировку и сразу пойти в свой творческий отпуск, о котором я так мечтал и мечтаю.

...Целый год чувствовать себя свободным от посторонних дел, профессиональным литератором! Ведь это такое счастье! И вот когда осуществится моя мечта — поехать на родину!.. Эта перспектива — единственное, что утешает меня в современном моем бытии...»

⊙

Огромным, буквально, героическим напряжением творческих сил и воли, работая урывками, от заседания до заседания, от одной поездки до другой, — Фадеев завершает в конце концов в июле 1951 года вторую редакцию «Молодой гвардии».

Писатель сообщает об этом А. Ф. Колесниковой, впервые упоминая в этом письме и о новом своем романе «Черная металлургия». Судя по письмам, замысел этого романа родился где-то между апрелем 1950 и июлем 1951 годов, потому что в апреле 1950 года Фадеев еще писал о том, что, «закончив «Молодую гвардию», он вернется к «Последнему из удэге».

17 июля 1951 года

«...Получал и получаю все, все твои письма и телеграммы, большей частью с запозданием — или из-за отъезда, или потому, что не имел времени заехать на почту по занятости своей совершенно феерической. Даже грустно было от твоих упреков, ведь твой корреспондент — личность особая: ему отпущено часов пять сна, а все остальное время он «и швец, и жнец, и в дуду игрец».

Ты, я знаю, была сама так перегружена в период экзаменов, что вряд ли могла внимательно следить за газетами. Но даже по газетам ты могла бы видеть, что весь июнь я вертелся, как белка в колесе. Мало того: мне надо было во что бы то ни стало кончить новый вариант «Молодой гвар-

дии», и я буквально не спал, чтобы добить этот труд до конца. К счастью, мне это удалось, и теперь голоза освободилась для чего-то нового. С шестого июля я был в командировке и сегодня уезжаю¹ опять, примерно до 1-го августа, а потом опять примерно до 20 августа. Все эти сроки несколько раз менялись, и я никак не мог сказать точно, когда же все-таки вернусь в Москву. Вот почему я не мог сообщить тебе, когда возможен твой выезд, чтобы мы могли повидаться. И видно, нам уже не встретиться в Москве в этом году!

У меня на душе большая печаль, ты это, конечно, знаешь. Но я просто уверен, что попаду теперь на Дальний Восток! Хотя это и не связано непосредственно с новой моей работой, но мне нужно будет ознакомиться с металлургией Комсомольска-на-Амуре, т. к. я буду писать роман индустриальный, о новой советской металлургии и о нашей рабочей молодежи. Естественно, я загляну и в родные края. Сейчас трудно определить сроки, когда я смогу это сделать. Вернее всего — в конце этого года или в начале будущего».

Итак, задуман «роман индустриальный» — широкое эпическое повествование о советском обществе наших дней, о великой социальной «переплавке» людей — строителей коммунизма.

В июльских письмах 1951 года Фадеев сообщает, что он «...целиком ушел в работу над новым романом — душа моя открыта навстречу новому материалу».

Письма отражают высокое напряжение творческих сил писателя: «Я пишу большой, увлекательный и трудный по материалу роман. Все малс-мальски свободное время я сижу на заводах и в институтах» (из письма Н. Охлопкову). «В этом романе сейчас вся моя душа, все мое сердце...» (из письма А. Суркову).

В середине 1951 года Фадеев получает наконец долгожданный годичный отпуск для творческой работы. Однако, как и всегда, отпуск этот — на деле — оказывается очень «условным»: писателя отвлекают «дела международные» — поездки за границу, подготовка материалов, выступления. Правда, всеми силами Фадеев старается главное свое внимание уделять роману. Чувствуя, что он «поотстал» в технике и знании заводской рабочей жизни, — Фадеев садится за учебники по металлургии, за книги и брошюры о новаторах и организаторах социалистической индустрии, а главное — много ездит по заводам, глубоко и всесторонне изучает организацию промышленного производства, жизнь и быт рабочих и инженеров. В результате — появляются многие сотни страниц — пока черновых записей «для себя», тысячи документов.

Наряду с сохранившимися интересными записями-размышлениями писателя о будущем романе, набросками некоторых сюжетных линий, эскизными «зарисовками» отдельных сцен и довольно тщательной разработкой характеров будущих героев — мы встречаем и такую, весьма интересную, с точки зрения настоящей публикации, деталь: в романе задуман образ учительницы Лидии Владимировны Балышевой — женщины передовой, целеустремленной, волевой. Размышляя над особенностями этого характера, Фадеев делает для себя такую запись: «Взять некоторые черты А. Ф. Колесниковой и некоторые черты мамы...»

Москва — Челябинск — Магнитогорск — Днепрпетровск — Кузнецк — такова в то время «география» поездок писателя по стране, изучающего и наблюдающего своих будущих «героев», живой «материал» для нового своего романа.

Август 1951 года

«...Я сижу в гостинице Магнитогорска — огромного современного нового города на нашей планете, славного своей индустрией, полного противоречий, как всякое новое и быстро растущее образование, пыльного, застланного дымом, энергичного, веселого, открытого самым невероятным перспективам...»

Вылетел я из Москвы 6-го в Челябинск — летел ночью с остановками в Казани, Горьком, Уфе. В Челябинске провел двое суток, ушедших целиком на всевозможные знакомства, встречи, заседания: мне нужно было многое получить от областных властей, получить в смысле знаний и обеспечения будущей своей деятельности на новом месте. И вот с 10-го числа я уже здесь. С утра раннего — на предприятиях, потом — обедать в гостиницу и снова — бродить по городу, заводить знакомства, участвовать во всяких заседаниях и совещаниях, опрашивать будущих своих героев (а кто из них станет героем, еще неизвестно!), в местный музей, в горно-металлургический институт, в поликлинику, в кино, в клубы, в парк, магазины — все это такое еще молодое, порой неустроенное, и все это мне нужно знать. В голове, как говорится, сумбур вместо музыки, а когда из всего

¹ На заседание Бюро Всемирного Совета Мира в Хельсинки (20—23 июля 1951 года), после которого писатель принял участие во встрече с писателями Финляндии, организованной обществом «Финляндия—СССР».

этого начнет кристаллизоваться «нечто» — сказать не могу. Но — верю в талантливые силы природы человеческой, — да осенят они меня крыльями своими еще хоть разочек!

В гостинице живу временно — скоро меня должны поселить в рабочей семье, это в моих интересах: скорее влезть в быт людей, и влезть путем естественным, исподволь, не нарочито. Душа моя открыта навстречу новому материалу — «Молодую гвардию» я сдал целиком и полностью в новом переработанном виде еще перед первым выездом за границу, в ноябре роман должен увидеть свет.

Как-то ты живешь, родная моя, в этом заброшенном Спасске-Дальнем? Тебе, наверно, он в тягость порой, когда жизнь поворачивается сторонами обыденности, одиночества. А мне он бесконечно мил, как память юности...

Мне так безумно хочется в Приморье! Чем старше я становлюсь, тем чаще мысль моя бродит по детству, по юности. Не для того чтобы уйти от настоящего, не для того чтобы отдохнуть от бурь жизни, а просто для того чтобы еще лучше осознать свой путь жизни и почерпнуть из прошлого — молодости, веры, бодрых сил и чистоты душевной.

Пожалуй, мне во многом в жизни везло, не везло только в любви... С тобой, первой и чистой любовью души моей, жизнь свела так поздно, что и чувства и сама природа уже оказались не властны над временем истекшим, над возрастом, и ничего в сложившейся жизни уже не изменить, да и менять нельзя. Так вот и остались мы два глубоких душевных друга, два осколка милого и дорогого нам прошлого, с нашей неосуществимой привязанностью. И все же я счастлив, что ты есть на земле. И читать твои письма — для меня радость, — о чем бы ты ни писала, все это — продолжение такой близкой, родной, такой жизненно необходимой нити из далекого, далекого прошлого в настоящее и в будущее, каким оно ни сложится...»

Письмо, датированное 26 сентября 1951 года, дает возможность еще глубже заглянуть в душевный мир писателя, куда никто из нас при его жизни по-настоящему не проникал.

26 сентября 1951 года

«...Получил твое письмо — первое в Магнитогорске, — был очень рад ему, несмотря на выраженное в нем тяжелое твое настроение. Друг мой, никогда, решительно никогда не пытался я выдать себя за человека необыкновенного, — я не считаю себя таким, и не в моем это стиле. Нет, я человек обыкновенный и, как все обыкновенные люди, имею некоторые свои черты в характере, свои недостатки и достоинства, и они так же отражаются в моих поступках и взглядах, в творчестве, в письмах, в жизненном поведении, как отражаются и у других людей их индивидуальные черты.

Я так много и подробно писал тебе о своей жизни, что, пожалуй, ты уже можешь и должна представлять себе ее. Нечеловеческая занятость. Уже сложившийся семейный быт... Вот что является характерной особенностью моего существования, вернее — житейским фоном духовной моей жизни и деятельности. Людей с душой и талантом на свете много. Степень, направленность таланта бывают разные, но, поверь, нет принципиальной разницы между всеми людьми, в частности, между тобой и мной — в том смысле, что душевные стремления и порывы, думы и переживания идут зачастую вопреки и помимо реально складывающихся обстоятельств.

Когда я писал тебе о своих намерениях творческих, новая тема бродила во мне еще не вполне ясно, а кроме того я еще надеялся, что мне удастся в условиях такого длительного отпуска меньше уделять внимания делам международным. Потом окончательно выяснилось, что я буду писать роман о нашей металлургии (которую знаю все-таки поверхностно), что тема эта может и должна быть решена на материале самом показательном в наших советских условиях (Магнитогорск, Челябинск, Запорожье, Кузнецк), а главное, что мне по-прежнему так часто надо выезжать в «далекие страны», что — дай бог хотя бы успешно изучить и хотя бы только начать задуманную вчерне вещь! И нужно ли скрывать от тебя, что всю эту поездку в Комсомольск, о которой я писал, я больше надумал для того, чтобы иметь повод попасть на родину!.. Комсомольск — город новой индустрии, но город не металлургического производства (там нет домен, мартены — обычные для любого крупного завода). Но все-таки я решил съездить в Комсомольск — только для того, чтобы вновь повидать родные края...

Естественно, что мне пришлось начинать свою работу с такого пункта, который имеет реальное значение для моей работы, и я начал с Магнитогорска. Мне еще много, очень много надо поездить, чтобы осу-

шесть свой новый роман. И лично я счастлив, что длительный отпуск все-таки позволит мне выкроить время, чтобы ответить и другой душевной своей потребности: повидать тебя и увидеть родные места, которые так дороги мне по воспоминаниям. Реально это будет так: если мне удастся в ноябре попасть в Кузнецк, то из Кузнецка я махну самолетом на Дальний Восток. Если не удастся попасть в Кузнецк в ноябре, поеду зимой — в декабре или январе — и опять-таки из Кузнецка — на Дальний Восток.

Но не могу скрыть от тебя, что эта поездка, о которой я мечтаю и которую обязательно осуществляю, — доставляет мне много душевных тревог. Я всегда мечусь между чувством долга и душевными порывами, свойственными мне, как человеку неудовлетворенному, ищущему, жизнелюбивому и жизнерадостному. Чувствую себя «неловко» от того, что часть отпуска, представленного мне для творчества, отдаю просто своей душе, чувствую известный «грех» перед собой, как писателем, что пускаюсь в «плавание», которое не только не может прибавить ничего для темы моей жизни, металлурга, а, наоборот, отвлечет меня — в плане уже чисто профессиональном — к темам моей юности и к темам освоения Дальневосточного края в наше время — темам тоже прекрасным, но не стоящим теперь у меня на очереди. В то же время потребность побродить по родным местам, чтобы удовлетворить душу свою (это так естественно в 50 лет!), потребность эта так велика, что я все-таки поеду, обязательно поеду! Вот тебе комплекс чувств — больших и малых — вполне естественных при всей их противоречивости — что в них необыкновенного? Сотни и тысячи людей испытывают то же самое в аналогичных условиях, это так просто и понятно! В конце концов то же самое испытывала (и испытываешь) ты в жизни, должно быть, не раз. Разница в нашем положении только такова: ты более свободно можешь располагать своей душой, а во время, так сказать, «внеслужбное» и своими поступками. В этом есть известное твоё преимущество. Но зато есть и своя тяжесть в личном, семейном одиночестве твоём.

Ты напомнила мне о моих письмах в лето 50 года из Барвихи. Да, это было счастливое для меня лето! Я был полон переживаниями юности... Был весь перевернут встречей с тобой — это было великое, прекрасное, чистое переживание, я счастлив тем, что оно было. Я часто, часто вспоминаю это чудесное, счастливое лето моей жизни, бывшее на закате моей душевной юности, — да, это было последнее возрождение юности и ее конец. Уже не в твоей и не в моей власти было повторить подлинную юность, и некого в этом винить. Так это чувство мое перешло в глубокую, нежную, любовную дружбу, привязанность к тебе, и это — уже навечно. И так же, как и ты, чувствуешь себя вправе — а вернее, это получается само собой — писать мне обо всем, что переживаешь, большое оно или малое, огорчит ли меня или нет, — так и я никак не хочу перед тобой «казаться», пишу тебе, когда есть возможность, когда позволяю обстоятельству и душа свободна для этого, и не пишу, когда нет этих условий, живу и поступаю так, как это отвечает моей совести, велениям моей души, когда веления эти по существу сильные и чисты, будь они велениями долга или велениями сердца, — и в чем же можно упрекнуть меня? Вместе с тем я прекрасно чувствую, что многие горькие строки в твоих письмах продиктованы особенностями твоей жизни, огромной неудовлетворенностью твоей души, незаурядной и неоправданно (можно сказать, безвинно) одинокой, — я чувствую эту душу твою, болею вместе с ней и люблю тебя за эту твою душу. Спасенье наше, что жизнь наша до краев преисполнена деятельностью и что мы не утратили любви к природе, к хорошим людям, ко всему этому трудному и прекрасному миру, в котором живем. Будем счастливы и тем, что нашли друг друга и можем дружить. А реальную личную жизнь нашу мы не должны и не можем ставить в зависимость друг от друга, — это уже невозможно, и это уже «против бога», как сказали бы в старину...

30-го я выезжаю из Магнитогорска в Челябинск. Пробыду там дня три-четыре и — в Москву. Из Москвы — через несколько дней — в дальнюю поездку, уже до 25—27 октября, а дальше еще не знаю, как сложится моя биография, но в общих чертах я тебе ее изложил и на будущее более дальше...

В декабре 1951 года, выступая с ответным словом на вечере, посвященном его 50-летию, А. Фадеев фактически впервые широко объявил общественности о своей новой работе. Он сказал, что ему хочется «...спеть песню о нашей черной металлургии, о нашем советском рабочем классе, о наших рабочих — младших и старших поколений, о командирах и организаторах нашей промышленности. Я хочу, — говорил он, — спеть песню о нашей партии, как вдохновляющей и организующей силе нашего общества».

С огромным увлечением, как подлинно большой художник, Фадеев продолжает



Ю. Скуратов

Зори московские

ШЕСТАЯ ВСЕСОЮЗНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ФОТОВЫСТАВКА

М. Редькин

Перед ночными полетами





Н. Свиридова

Двое на острове

Г. Омельчук

Высадка морского танкового десанта
(На учениях)





Г. Шлионский

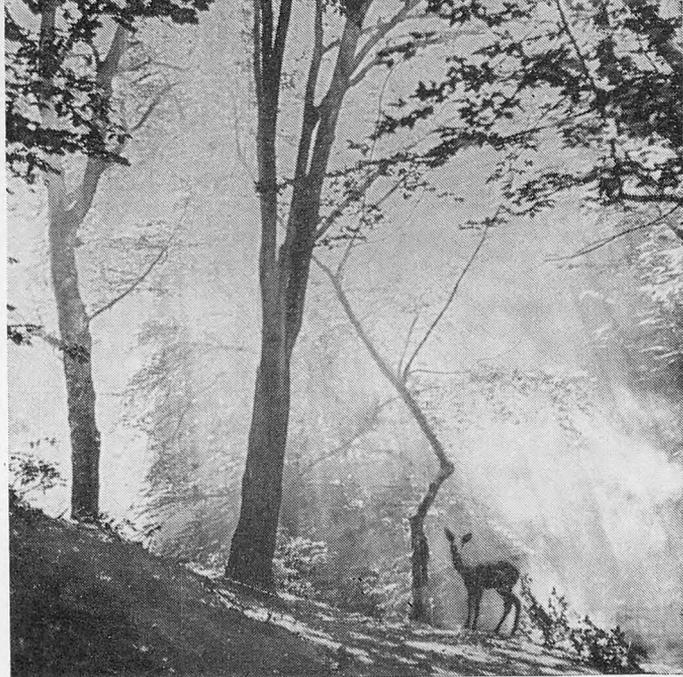
Лето

В. Ахломов

На безымянной высоте



Л. Яблонский
Солнечный ливень



Ю. Абрамочкин

Рождение
будущей
балерины

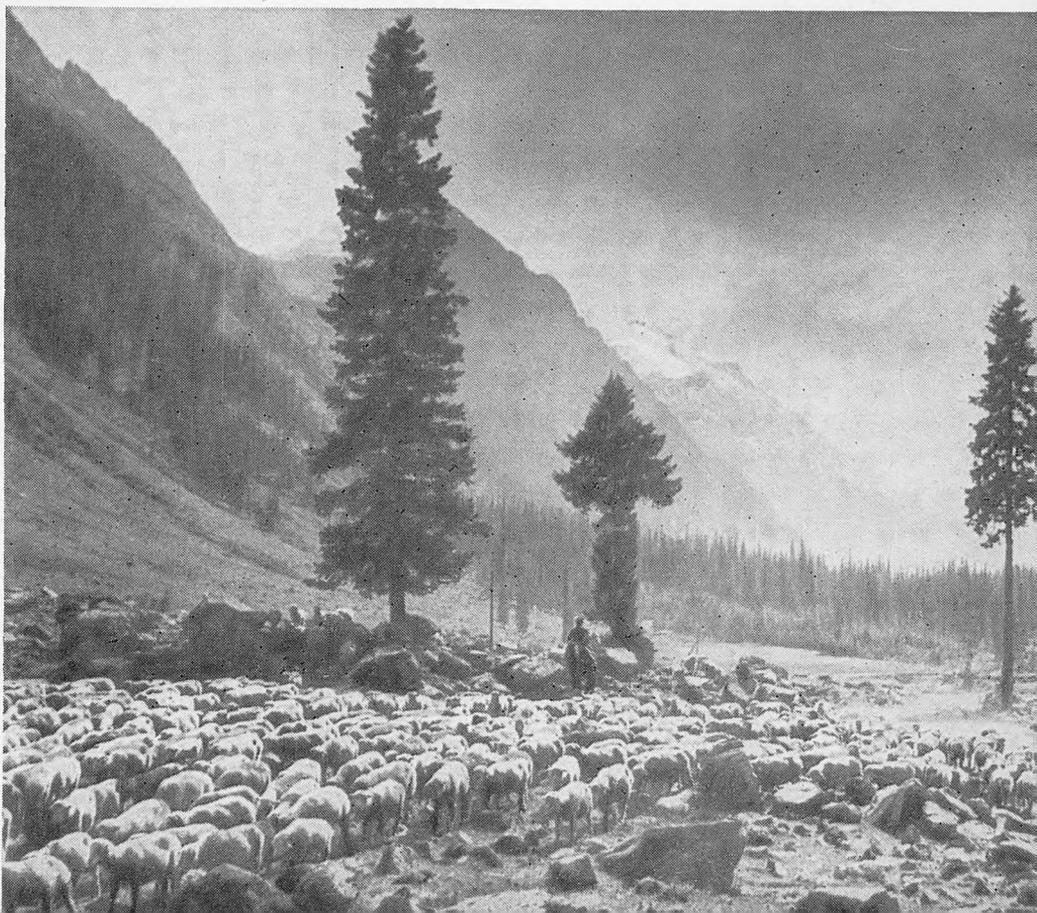
Л. Шершенников

Рыцари



С. Рябоконт

В горы





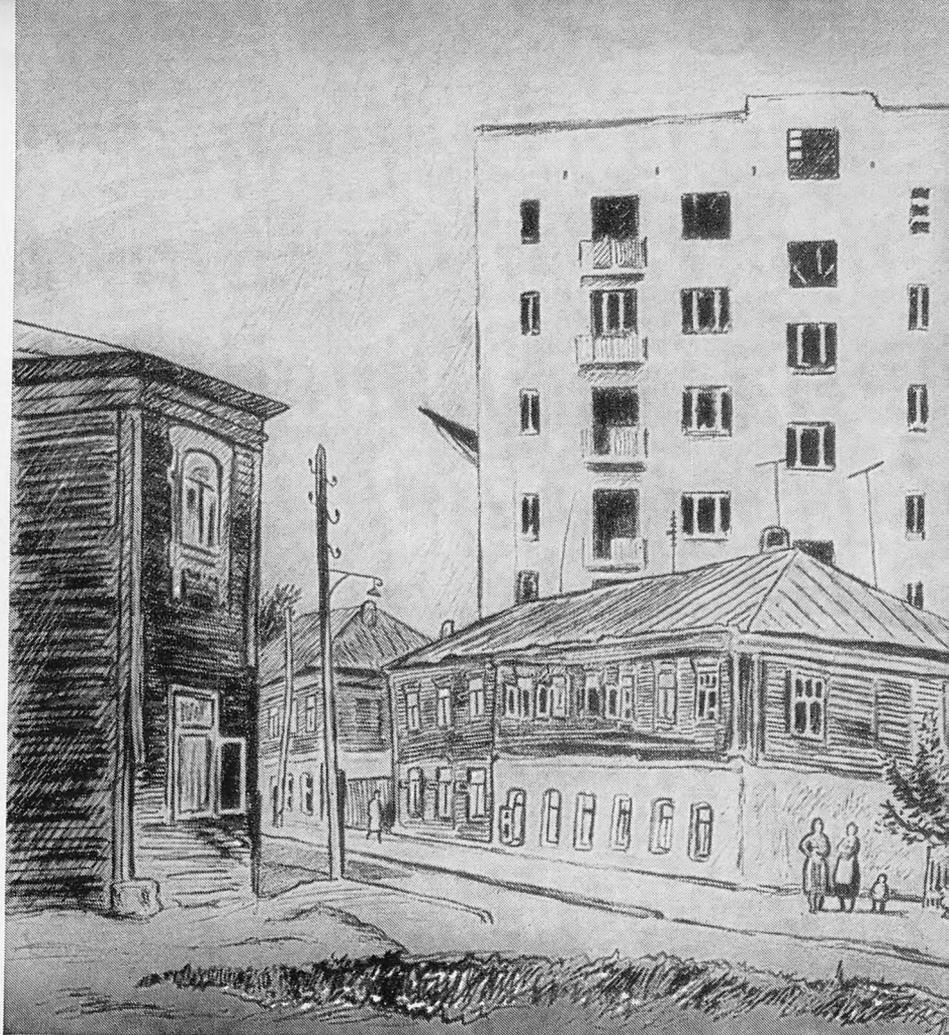
А. Зыков

Тревоги планеты

**ВЫСТАВКА
СОВЕТСКОГО ЭСТАМПА**

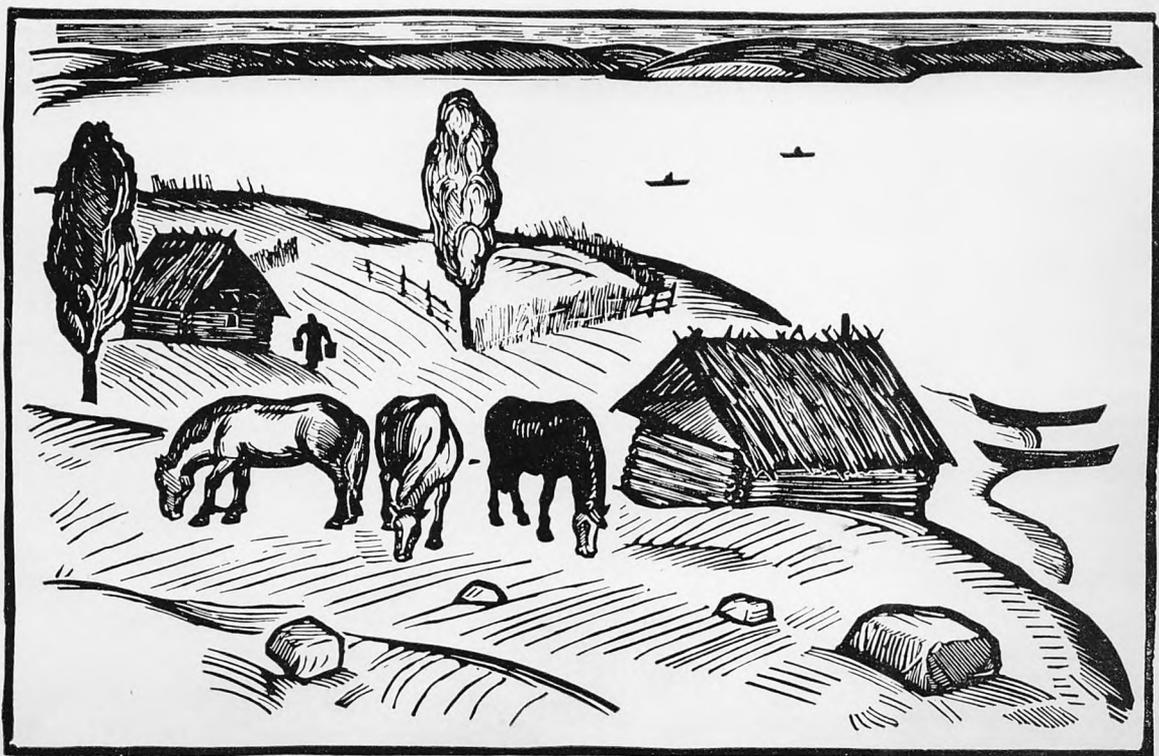
В. Вакидин

Старое уходит



А. Бородин

Над озером





С. Випухновская

Нанайка

И. Шилкин

Натюрморт с килькой



работать над этой своей «песней» (так и оставшейся, к сожалению, недопетой). «...Я вложил в этот роман все лучшее из собственного жизненного опыта,— читаем мы в одном из его писем 50-х годов,— все, что я передумал и переживал за 50 лет своей жизни...»

По-прежнему многое отвлекает его от любимой писательской работы. И как всегда — в итоге таких «отвлечений» он часто и подолгу болеет.

В начале 1952 года, едва оправившись от одного из таких заболеваний,— Фадеев уезжает в очередную заграничную командировку.

10 мая 1952 года

«...Я предполагал вернуться из командировки в первой половине апреля и сразу же направиться в свой маршрут — через всю Сибирь — с остановками в разных пунктах (в связи с потребностями моего «металлургического» романа) вплоть до Владивостока и Спасска, где я хотел быть во второй половине мая... Но мне окончательно не повезло. Вернувшись из Осло (Норвегия)¹ я заболел канительной, очень расслабляющей и крайне медленно вылечивающейся печеночной болезнью — желтухой. Заболел вместе со своим младшим семилетним сыном,— врачи определили это заболевание как вирусное, имеющее общий источник,— и обоих нас положили в больницу — его, конечно, в детскую, а меня во взрослую.

Теперь уже все смешалось в моем будущем. Я не знаю, когда меня выпишут... 21 июня я опять должен быть за границей, 1-го июля кончается мой отпуск (т. е. отпуск от работы в Союзе писателей). А мне — для моего романа во что бы то ни стало нужно побыть еще хоть по несколько дней — в Магнитогорске, Кузнецке и Красноярске.

От Красноярска самолетом уже так близко от Вас, что если у меня будет возможность выкроить хоть одну недельку, я прямо махну к Вам. Но будет ли она, эта возможность, мне сейчас еще невозможно сказать...

От волнения и слабости я даже перешел на Вы — я нежно целую тебя, моя родная, верная подружка юности! Ты сейчас, наверно, уже в горячке, сопровождающей конец учебного года. Как бы я хотел повидать тебя и такие родные, родные для меня места! Я буду делать решительно все, чтобы это стало возможным. Я боюсь того, что если я не сумею этого сделать теперь, то мне уже никогда не удастся этого сделать. Я стал много и часто болеть. Этот год был у меня «самым свободным», а на самом деле я был так перегружен, если учесть, какую новую и трудную тему, с ее мало знакомым мне раньше материалом, я поднял новым своим «металлургическим» романом. В то же время меня освободили только от Союза писателей, всю остальную работу я продолжал вести. Что же будет дальше, когда Союз писателей снова ляжет на меня, а ведь роман-то во что бы то ни стало буду продолжать!

В общем мне грустно, милая Ася,— и главным образом потому, что я уже не чувствую в себе столько сил, как раньше.

Мне так жалко, что этим письмом я доставлю тебе только одни огорчения...»

Не раз намечавшаяся поездка на родину опять сорвалась «самым огорчительным образом». Фадеева выписали из больницы только в конце мая 1952 года. 5 июня он вылетел в Челябинск, пробыл там несколько дней на металлургическом заводе, после этого побывал на Магнитогорском металлургическом заводе, а уже 1-го июля был в Берлине — на заседании Чрезвычайной сессии Всемирного Совета Мира... И так — почти до конца года.

В очередном письме А. Колесниковой Фадеев рассказывает об этом периоде своей жизни:

5 февраля 1953 года

«...Мне действительно не повезло в истекшем году. Трудно мне было поднять такой большой (по физическому весу!) роман на совершенно новом материале, осваивать который в короткие сроки можно только при максимальном напряжении всех физических и духовных сил,— трудно мне было вдруг снова принять на себя «бремя» всех моих общественных «нагрузок». Однако мне пришлось это сделать с июля прошлого года...

В сентябре у меня обострилась болезнь печени, и я попал в больницу. Однако лечиться долго мне было нельзя. В двадцатых числах сентября прошла Московская областная конференция, а в первой половине октября XIX съезд партии, где я выступал, а 12 октября я уже был в Вене на заседании Бюро Всемирного Совета Мира. Уже там, в Вене, я почувствовал

¹ Писатель выезжал туда для участия в заседании Бюро Всемирного Совета Мира (29—31 марта) и вернулся в Москву 7 апреля 1952 года.

себя плохо — и в области сердца и в области печени — и, вернувшись в Москву, свалился. Недели три лежал дома, надеялся поправиться, но дела шли все хуже, и вот с 10 ноября и по сей день я нахожусь в больнице. Зачоно меня выбрали в президиум Всесоюзной конференции сторонников мира, и в состав делегации на Венский конгресс, и в состав Советского Комитета защиты мира — во всем этом я уже не мог принимать участия.

Иногда я говорю шутя, что в жизни каждого человека бывает такой период, когда самым гуманистическим поступком с его стороны можно считать заботу о самом себе. Именно в такой период жизни я и попал, хотя теперь уже, к счастью, из него вышел.

В течение двух месяцев я был почти начисто изолирован от внешнего мира. Только жена моя имела право посещать меня один раз в неделю. Мне запрещено было не только заниматься интеллектуальным трудом, но даже читать газеты и беллетристику (все это время я рассматривал только художественные и архитектурные альбомы и журналы). Запрещена была и переписка; по радио можно было слушать только музыку. Но если бы мне и разрешено было все это, я не мог бы ничем этим заниматься. Физическая слабость, бессонница — в сочетании с повышенной нервной возбудимостью, полной мозговой расторможенностью, делали меня человеком почти невменяемым. А потом я впал в состояние апатии, которая длилась до самого последнего времени. Из боязни всякого рода рецидивов меня продолжали до самых последних дней держать на самом ограниченном режиме, а родные мои, естественно, стояли в этом вопросе целиком на стороне врачей и тоже продолжали делать все для моей изоляции. Надо сказать, что я и не особенно боролся за свои «права»: уж очень противно болеть, уж очень хотелось поправиться, милая Ася! Единственное, что я все время позволял себе, это, втайне от медсестры, вначале понемножку и исподволь, а потом все активнее, а теперь уже и «с разрешения» — двигать вперед свой роман, потому что это меня морально укрепляло...

Вот, Асенька, и все обо мне,— извините, что так много места занял персоной своей, да еще к тому же — болезнями своими. Да, если говорят,— «из песни слова не выкинешь», видно, нельзя «выкинуть» разговора о болезнях после 50 лет!

Получил Ваши письма за эти месяцы, их немного. Я понял, что Вы заняты, что обижались на меня,— не обижайтесь! Всегда, когда думаю о Вас, закрыв глаза, вижу Спасск таким, каким знал его в детстве, вижу Вас в маленьком домике на Советской 78 и грущу той грустью, которая, очевидно тоже, свойственна всем людям после 50 лет...

Только теперь обратил внимание, что пишу... на Вы... Как будто мы идем не к завершению круга жизни нашей, а все начинаем сначала! Да уж не буду поправляться...»

11 июня 1953 года

«...Между прочим мне пришло в голову, что пора разрушить образовавшуюся у нас в письмах «традицию», когда я обращаюсь к тебе «на ты», а ты ко мне «на Вы». Будем писать, как разговариваем, то есть «на ты» — по праву первой дружбы, а для меня и первой любви. Надо сказать, что окружающие меня люди так привыкли, что живет у меня на Дальнем Востоке, друг детства и юности моей Ася Колесникова и что мы переписываемся, что никто уже не обращает на нас никакого внимания, должно быть полагая, что мы имеем право на такую переписку по праву... возраста. Впрочем, при всех своих болезнях я чувствую себя, как всегда, человеком молодой души и я знаю, что ты не можешь чувствовать себя иной. А печальные настроения твои всегда были свойственны тебе временами, еще в дни твоей юности. Теперь же они вызваны и характером работы, которая — при ее архиважном значении, при ее благородных возможностях (в потенции) — на деле так недооценивается, ей предоставлены по существу такие жалкие практические возможности, что даже в Москве, где мне иногда приходится бывать в наших «столичных» роно, мало людей, довольных плодами своего труда «на ниве сей»...

Я вновь советую тебе написать мне (как депутату Верховного Совета СССР) официальное письмо о материальном положении заведующих оно, о материальных ресурсах, отпускаемых им по их отрасли, о недооценке всего значения этой работы со стороны многих и многих представителей власти, иногда руководителей партийных организаций, не говоря уже о многих, если не всех, хозяйственников! Вместе с тем я думаю, что в нашей общественности и просто в народе — именно потому, что все дети учатся,— живет доброе отношение, сочувственное отношение ко всем видам деятельности в области народного образования — иногда, правда, инстинктивное, без понимания, как и чем можно помочь. И если найти в себе силы

расшевелить эту широкую низовую общественность, пробудить ее инициативу, многое, очень многое можно сделать (и делается по стране!) с помощью народа. Судя по всему, ты тоже нащупала эти живые, жизненные, не казенные пути, и если будешь настойчива и не будешь смущаться некоторым непониманием твоих шагов со стороны людей, по существу первыми призванных тебе помочь, ты сумеешь сделать много прекрасного и полезного.

Я все еще в больнице, но не потому, что дела мои нехороши,— наоборот,— они хороши и их в таком положении хотят закрепить...

Пишется мне сейчас хорошо. Если дадут мне полный творческий отпуск (на что есть перспективы вполне реальные) эдак на годик, не сомневаюсь, что поездка моя на родину осуществится непременно. Если я не попаду в родные края в течение предстоящего учебного года, трудно будет сказать, попаду ли я в них уже когда бы то ни было!...

Фадеев обращается к товарищам по Союзу писателей с просьбой «помочь» ему разгрузиться от работы в Союзе, чтобы закончить «Черную металлургию». В одном из таких писем он пишет: «...Не дать мне сейчас закончить этот роман — это то же самое, что насильственно задерживать роды, воспрепятствовать родам. Но я тогда просто погибну как человек и как писатель, как погибла бы в подобных условиях роженица» (из письма А. Суркову).

В те дни в задуманном романе все казалось еще ему абсолютно ясным: «роман мой поплыл как корабль...» Не хватало лишь времени, чтобы его закончить.

Но события, развернувшиеся в жизни нашей страны несколько позднее, резко изменили планы и замысел писателя. Но это — позднее...

17 июня 1953 года

«...Выйдя из больницы в конце февраля этого года, я должен был ехать в Барвиху, но задержалась путевка, навалились сразу разные дела. И вдруг это ужасное несчастье, обрушившееся на нашу страну, смерть Сталина, тяжелые и незабываемые дни траура,— невозможно было в этих условиях продолжать лечиться, внутреннее чувство повелевало — работать! Несколько дней спустя после похорон я поехал за границу, в Чехословакию, и — надо же было случиться такому злосчастному совпадению — умер Готвальд. Маленькая страна, да ведь масштаб горя не этим измеряется,— пережили мы в Праге вместе с чехами эту тяжелую потерю, вернулся я в Москву и сразу по уши залез в дела Союза писателей. Но тут еще одно несчастье тяжким грузом легло на душу: пригласили из Франции в Москву Ива Фаржа, получил он в торжественной обстановке в Кремле Сталинскую премию мира и во время поездки по Грузии разбился на машине. Как бы ни были несоизмеримы эти три смерти, но они навалились так внезапно и так непосредственно близко, подряд, прошли возле меня, что после трех с лишним месяцев пребывания в больнице на мою неокрепшую психику они подействовали чрезвычайн о. Физически я тоже чувствовал себя еще неокрепшим, дела во всех общественных учреждениях, где я работаю, были так запущены, что работать пришлось, превращая ночь в день. А роман мой, который я писал в больнице довольно успешно, вдруг отодвинулся в далекую, далекую даль, что тоже очень скверно на меня повлияло: я чувствую себя по-настоящему бодрым и уравновешенным, только когда пишу, хотя бы понемногу. Одним словом, в начале апреля я опять свалился и теперь снова буду в больнице до середины или до конца июля, а потом — на август — все-таки поеду в Барвиху.

Только дней десять тому назад мне разрешили работать, и я получил залпом все твои письма, которые, как всегда, доставили мне одновременно и радость и грусть. Независимо от того, здоров ли я или болен, пишу я тебе или нет, я всегда, всегда тебя помню, и мне доставляет немало огорчений любая твоя строка, где ты вдруг начинаешь сомневаться в этом. Дружба наша, опирающаяся на такие воспоминания, вернее сказать — на такие переживания юности нашей, которые, кроме нас с тобой, единственно оставшихся от «стаи славных», уже никто больше не может с нами и разделить — все, что мы вновь пережили за эти годы, когда нашли друг друга,— все это вместе взятое уже не может ни измениться, ни пошатнуться до тех самых пор, пока не уйдет из жизни кто-либо из нас или оба вместе.

Когда я бываю болен или уж очень перегружен делами, я всегда стараюсь хоть чем-нибудь дать знак тебе, что по-прежнему помню тебя, как одного из самых, самых близких мне людей...

Роман мой снова движется вперед, а для того, чтобы успешно завершить его таким, каким он сложился, мне по-прежнему необходимо побывать на металлургических заводах Красноярска, Забайкалья и Амура. Да

и тянет меня, неудержимо тянет побывать в родных местах, тем больше тянет, чем старше я становлюсь! А личная ситуация моя так складывается, что наверно опять дадут мне творческий отпуск на год или даже на полтора: начальство видит, что я все болею, и все больше склоняется к выводу, что надо дать мне «свободу» для окончания романа...

Р. С. Напиши мне подробней, как это получается, что заработок заведующих горно меньше, чем заработок учителя,— это вопрос важный, можно сказать государственный, и если я пойму, в чем тут дело, может быть, я смогу его где-нибудь поставить так, чтобы его решили в нужном направлении».

25 июля 1953 года

«...Ты не знаешь, какое духовное наслаждение доставляют мне твои письма! Какие бы они ни были — грустные или наполненные твоей работой, лирические или публицистические (а у тебя есть и такие письма, обличающие или просто размышляющие над некоторыми явлениями нашего быта и общественной жизни), восторженные или пессимистические,— все они стали для меня жизненной потребностью. Ты меня ими избаловала, я привык их получать — если бы их не стало, в жизни моей образовалась бы существенная брешь. Теперь их у меня так много, что если бы не только я, знающий тебя с детства, а любой человек «с душой и талантом» (я краду здесь чудесное пушкинское определение) прочел их с начала до конца, он мог бы составить полное представление о моральном облике твоём, а учитывая и твои фото с девических лет по наши дни,— и о твоём облике физическом.

Кроме той духовной радости, которую я испытываю от того, что письма твои уже помимо моей воли, лишь только я взгляну на конверт, переносят меня во времена былые, они нужны мне еще и потому, что я через них — с гораздо большей силой и внутренним пониманием (чем через сотни, тысячи других, получаемых мною от читателей, товарищей, знакомых и друзей, нажитых по ходу жизни) проникаю в так называемую «обыкновенную», а на самом деле, такую необыкновенную, полную труда, дум и страстей — жизнь.

Последнее твое письмо от 12/VII, на которое я не сразу отвечаю, наполнено твоей текущей работой и мыслями, связанными с ней. Видно, что в работе много трудностей, что она могла бы быть такой благодарной, если бы была «правильно поставлена» с государственной точки зрения. Я уже писал тебе о том, что тебе следовало бы написать мне письмо как депутату о положении заведующих горно вот в таком городе, типа Спасска. Я тогда имел в виду только один вопрос. Но ты могла бы затронуть группу вопросов, подобных тем, что подняла в своих письмах ко мне... Такое письмо, написанное искренно, прямолинейно, без оглядки,— человеку, которого ты знаешь еще «не как депутата»,— могло бы быть мной двинуто в такие инстанции, как Министерство просвещения, отдел школ ЦК, и оно могло бы принести немало пользы. Твой опыт наверняка, в этом можно не сомневаться, внес бы что-то дополнительное в уже накопившийся или накапливающийся опыт других, выраженный в письмах, получаемых разными инстанциями, но был бы еще подкреплён требованием «депутата» — разобрать, осмыслить, дать ответ. Как знать — может быть, такой запиской ко мне ты сделала бы большое дело...

Очень хотелось бы мне вдохнуть в тебя больше уверенности в свои силы и больше жизнерадостности в душу твою...»

14 августа 1953 года *

В следующем письме Фадеев продолжает дружескую беседу о своем романе, который он считает «лучшим своим романом». Он пишет, что в связи с «Черной металлургией» многое им переосмыслено и уточнено и в его общих творческих позициях.

Писатель развивает в этом письме очень интересную тему одной из своих личных бесед с другом — об отражении в литературе «темных» сторон жизни и о показе в ней «дурных» людей. Отвечая на утверждение, что многие наши писатели, и в частности сам он — Фадеев, по роду своей деятельности и характеру жизни «не знают» и «не видят» этих темных сторон и плохих людей так, как видят их «обыкновенные, простые» люди,— Фадеев высказывает очень важную мысль, которая характеризует его принципиальную позицию художника социалистического реализма: «Это ложное представление о нас, писателях, обо мне в частности. Лучшие из нас (отнесу себя, черт возьми, к «лучшим!») видят и темные стороны жизни и дурных людей более остро, чем многие из окружающих нас... По складу своего характера я больше склонен видеть все лучшее в людях и именно это изображать, чтобы был перед глазами людей

хоть какой-нибудь образец. Но ты была права в том смысле, что жизнь надо изображать правдивой, реальной, не уходя от ее тяжестей, грубостей, подлостей, трудностей. Тогда и хорошее, передовое будет выглядеть не как приукрашивание, а как результат живых человеческих усилий. В сущности, такой счет предъявляет нам теперь партия, наша печать, таково народное требование. И вот на это требование я хочу ответить своим новым романом» (разрядка моя. — С. П.).

Однако болезни продолжают: Фадеев пишет эти письма, находясь в санатории под Москвой.

25 августа 1953 года

«...Здесь у меня довольно много времени уходит на роман, и, к сожалению, попав в санаторий, я стал доступней и для Союза писателей. По некоторым неотложным и запущенным делам пришлось написать кучу докладных записок, несколько раз приезжали товарищи из Союза писателей, и один раз вызвали в ЦК партии, да жду еще одного вызова на днях. Одним словом, времени свободного оказалось меньше, чем я предполагал, поэтому и пишу тебе с большим промежутком.

Насколько это точно, что Лева должен приехать?.. Передай ему мой дружеский привет... Скажи ему, что всегда готов возобновить связь с ним по вопросам его литературной работы. Его литературные способности несомненны, но у него — при несомненном природном уме и душевной эмоциональности — есть общий недостаток культуры и кругозора, необходимых для литератора (что объясняется не столько недостатком начитанности, сколько длительного пребыванием в глухих углах и однообразии среды, в которой приходится вращаться, как бы она сама по себе ни была своеобразна и симпатична). И, конечно, сказывается в его писаниях недостаток повседневной профессиональной практики. Всякое искусство имеет свою технологию и нуждается в повседневном упражнении...»

26 ноября 1953 года

«...Давно уже не был так физически здоров, как сейчас. И все же мне не везет во многих отношениях. Выписался я из санатория 25 сентября и уже через несколько дней получил постановление о том, что мне с 1-го октября предоставлен отпуск сроком на 1 год — для моей литературной работы. Но тут же выяснилось, что на 20 октября запланирован пленум Правления Союза писателей, где меня должны — в связи с реконструкцией руководящих органов Союза писателей — переизбрать уже не в качестве генерального секретаря, а в качестве председателя Правления, а для этого я должен подготовить выступление к Пленуму и помочь в его созыве. Я проболел почти полгода, очень отстал от общих литературных дел, мало читал современную литературу, заместители мои, надеясь на мое возвращение, многих важнейших вопросов жизни Союза даже и не касались, а время теперь особенное, ответственное, в головах наших писателей накопилось много недоуменного, спорного и просто недовольства бездейтельностью Союза, — одним словом, пришлось все бросить и заняться Пленумом. Роман полетел в сторону, и только с 1-го ноября я вновь мог вернуться к нему. Процесс вхождения в новую вещь, когда ты от нее оторвался, всегда очень мучителен, требует отвлечения от всего на свете, требует усидчивости, терпения, ибо раньше чем через десять — пятнадцать дней не обрешь нужной ясности и душевного равновесия, да и руку не набьешь. Но и отвлечься от всего мне не удалось: один за другим заболели мои сыновья...

Как известно, беды сваливаются все вместе, и в этот же период заболела моя престарелая мама (летом ей исполнилось 80 лет). Болезнь ее — это просто глубокая старость, артериосклероз, сильно повышенное кровяное давление, предельная сердечная слабость. Превратилась моя бедная мамочка в лежачую больную, пришлось добыть ей постоянную сестру милосердия, поскольку в нашем быту некому за ней последневно ухаживать. Дело так сложилось, что жена уезжала на гастроли в Ленинград, — да и вообще по занятости своей она ничем не отличается от меня, — и все заботы и хлопоты о больных, о доме, все это упало на меня, поскольку я в «отпуске».

Вот все это, вместе взятое, так много отняло и все еще отнимает у меня времени и создает к тому же такое моральное самочувствие, что я никак не мог взяться за письмо к тебе, хотя и помнил о тебе всечасно по какому-то уже прочно сложившемуся душевному чувству и той душевной привычке, которая незаметно складывается между родными.

В роман свой я даже и сейчас еще не очень прочно влез, хотя и пишу

его ежедневно,— так все на свете меня отвлекает. Но это пишу тебе по секрету, ибо мне даже стыдно, что получив такой солидный отпуск, я — вот уже два месяца — его полностью не использую...»

В пятидесятых годах заболевание Фадеева прогрессирует особенно сильно. Приступы болезни участились и стали все более сложными. Болезнь выводит писателя из строя на длительные сроки: в общей сложности Фадеев провел в больнице и санатории в 1954 году четыре месяца, в 1955 году — пять с половиной месяцев и за четыре с половиной месяца 1956 года — два с половиной месяца.

Несомненно, все это не могло не привести к снижению творческой активности писателя в последние годы его жизни. Правда, он еще пытается работать и в больнице, и после выхода из нее «на волю», но работоспособность уже «не та».

1954 год Фадеев встретил в больничной палате.

16 января 1954 года

«...Мне немножко не повезло. По характеру заболевания «ее превосходительства — печени» я должен бы в течение года (примерно) каждые 3-4 месяца ложиться на недельку в больницу с профилактическими целями, как это делают, к примеру, язвенники, чтобы не допустить обострения. Мне так хорошо писалось последнее время на даче и так я себя чувствовал хорошо, что я решил уклониться от этой скучной обязанности (мне нужно было бы лечь в первых числах ноября всего на несколько дней). Оказывается, в моем возрасте болезни не любят, чтобы с ними шутили, и во второй половине декабря мне пришлось лечь уже поневоле — с очередным обострением. По счастью, оно оказалось не опасным и по существу я уже давно поправился. Но из тех же профилактических соображений меня еще выдерживают здесь, я пишу из больницы и выйду отсюда числа 20-го.

На литературной моей работе, то есть на романе, который пишу с большим увлечением, это пребывание в больнице отразилось даже благоприятно: здесь тихо, спокойно, пишется хорошо.

Но за это время много больших и малых несчастий обрушилось на семью мою. Как я писал, уже давно болеет мой младший сын — сердечной болезнью — ревмокардитом, к ней прибавилось внезапно, когда он уже был в санатории, воспаление печени... Оно прошло, но выяснилось, что сразу после санатория ему надо ложиться в больницу — вырезать гланды... Так не везет моему малышу! Накануне Нового года случился второй удар с моей восьмидесятилетней мамой. Она упала, лишилась сознания и речи. Долгое время находилась она между жизнью и смертью, и спасло ее только то, что это было не кровоизлияние, а спазм мозговых сосудов. Теперь она лежит дома, речь постепенно возвращается, сестра и внучка, дочь брата, погибшего на войне, ухаживают за ней, скоро ее разрешат перевезти в больницу, а то и двигать ее нельзя было... Жена¹, исключительно перегруженная текущим репертуаром, — ей приходится почти каждый день играть, не говоря уже о том, что вся первая половина дня уходит на репетиции, — работает еще председателем месткома театра и несет много других общественных обязанностей... В итоге наиболее беспризорным оказался старший сын², очень много пропустивший в занятиях, тоже из-за болезни...

Пишу обо всем этом и думаю: может быть, моя бедная Асенька в это время сама лежит, сраженная какой-нибудь тяжелой болезнью, а я вместо того, чтобы ее подбодрить и развеселить, рассказываю свои преходящие горести, в которых так много унылого!..»

Смерть матери — Антонины Владимировны Фадеевой (1873—1954) — очень тягостно повлияла на писателя. Надо внимательно прочитать сохранившиеся письма Фадеева к матери, чтобы понять, как велика была для него эта потеря, как глубоко, до самой глубины души она потрясла его. В одном из писем (Т. Цивилевой), написанном вскоре после смерти матери, писатель говорит о ней: «...Воспитанная на Чернышевском и в 90-х годах пришедшая к марксизму, она всю свою жизнь была тем беспартийным активом, который большевики имели в народе еще в условиях нелегальной борьбы. Это дало ей возможность уже после Февральской революции занять активно больше-

¹ А. О. Степанова — артистка МХАТа, народная артистка СССР.

² Александр Фадеев, в настоящее время артист Центрального театра Советской Армии (Москва).

вистскую позицию и определить наше духовное формирование... Необыкновенно цельный человек, выдержанный по своим моральным устоям (и даже в одежде!), по заветам своей юности, она была народной фельдшерницей по глубокому идейному призванию и проработала около 50 лет в глухих деревнях и в рабочих районах. Всем лучшим, что может быть, все-таки есть в нас — ее детях, — мы обязаны матери, которую мы любили более чем сыновней любовью: до самых последних дней она играла исключительную роль во всей нашей духовной жизни».

С огромной скорбью сообщает он своему другу о постигшем его горе.

14 апреля 1954 года

«...Не писал я тебе так долго из-за случившегося в моей семье большого несчастья. Случилось оно буквально через несколько дней после того, как я обещал тебе послать письмо: 5 марта умерла моя мама.

Я попал в больницу 23 февраля, когда она уже тут лежала с начавшимися у нее мелкими, но все прогрессирующими кровоизлияниями в мозг, вызванными ее преклонным возрастом. Отражались они на центрах, ведающих не столько функциями движения, сколько памяти и, наконец, дыхания, что и послужило непосредственной причиной ее смерти.

Не нужно тебе говорить, как тяжело мне было наблюдать за тем, как уходит она шаг за шагом из жизни...

Мы, — я и сестра¹, — и те братья наши, которых уже сейчас нет², — очень любили нашу маму: она была не только хорошей матерью, но и вообще была очень незаурядным человеком, большой индивидуальностью. И, конечно, очень мы тяжело перенесли ее смерть. Много нахлынуло и просто забот. Она была центром очень разветвленной семьи, вернее сказать, многих семейств, возникших от общего корня, — с разными судьбами, интересами и несчастьями. Вся помощь — моральная, материальная, физическая, по всем линиям жизненным и житейским, — помощь, которую оказывали я и сестра этим семьям, особенно детям, — шла через мать. Теперь все это легло на нас непосредственно. И хотя, само по себе, это не представляет никакой сложности, кроме затраты времени, это приковывало и приковывает психологически и к самому печальному событию, и к семейным воспоминаниям вообще, накладывающим на жизнь людей после 50 лет невольную печать грусти.

Картина жизни моей, в этом узкосемейном отношении, мало изменилась. Младший сынишка все еще болеет и — в санатории. Старший поправился, но так много пропустил в занятиях, что встала угроза остаться на второй год... Пришлось перевести его в школу рабочей молодежи — там требования поменьше, а индивидуальная работа с учащимися более развита: учащиеся-то все великовозрастные! Поначалу результаты благоприятные, а что будет дальше, посмотрим.

Я же по-прежнему в больнице, надеюсь выйти 15—20 апреля. В больнице моей нет ничего, заслуживающего описания, — все то же, все не опасно, все требует долгого времени, чтобы начать нормально жить и работать. Единственно, на что меня хватило в это трудное время, — это писать свой роман. Этот корабль мой распустил паруса и плывет — хотя не так быстро, как мне хотелось бы, — к положенному пределу.

А поездка на родину опять сорвалась и сорвалась надолго. Я выпишусь во второй половине апреля, а в начале мая жена моя, Ангелина Осиповна, уедет на 1½ месяца, то есть до середины июня, на гастроли, и весь дом останется на мне... В июне я буду сдавать в печать первую часть романа, а уже в июле надо садиться за проект доклада на Всесоюзном съезде писателей и вообще уже нельзя будет уезжать из Москвы, т. к. это будет самый разгар подготовки съезда, намеченного на сентябрь или октябрь. Кроме того, мне надо будет двигать вперед свой роман, несмотря на подготовку съезда³, ибо иначе весь мой творческий отпуск «погорит». Короче говоря, поехать можно будет только после съезда. Поездка моя необходима, без нее я даже романа своего кончить не смогу, но опять и опять она отложилась!..»

☉

В июле 1954 года состоялась последняя личная встреча друзей: А. Ф. Колесникова приехала на отдых в один из подмосковных санаториев (Подлипки). Она вспоминает, что в эту встречу Александр Александрович «...был как-то особенно грустен и — что

¹ Татьяна Александровна Фадеева (р 1900 г.) — бывший партийный работник, кандидат наук, в настоящее время — персональный пенсионер.

² Речь идет о братьях писателя: Владимире (1905—1940) и Борисе (1910—1942).

³ Второго Всесоюзного съезда советских писателей, который состоялся 15—26 декабря 1954 года.

так не было на него похоже — вдруг, говоря о себе, сказал, что, очевидно, он долго не проживет... Для меня это было так неожиданно, что я даже сперва как-то растерялась, не зная, что ему и сказать на это. Позднее, размышляя над нашим разговором, я отнесла все это за счет общего нервного переутомления Фадеева и несколько болезненного состояния: внешне он выглядел тогда больным человеком...»

Встреча друзей была на этот раз очень непродолжительной. В первых числах августа Фадеев, желая наиболее продуктивно использовать остаток своего творческого отпуска, уехал из Москвы в Магнитогорск, а потом в Челябинск.

Когда Александра Филипповна уже возвращалась домой в Спасск, Фадеев послал ей вслед письмо, очень грустное.

15 августа 1954 года

«...В то время, когда я пишу тебе это письмо, курьерский поезд мчит тебя домой через всю страну нашу. И грустно мне думать, как неудачно все сложилось в эту нашу встречу,— как всегда, по моей вине. Сердце у меня разрывалось, когда был я у тебя в Подлипках, и даже не удалось выразить тебе этой сердечной боли — из-за наличия, хотя и хороших, но посторонних нам людей...»

Все мы с годами становимся все меньше хозяевами условий нашего существования. Имею в виду, конечно, не зависимость от общества и даже от служебных обязанностей,— эта зависимость всегда неизбежна и, понимаемая как моральный долг, приносит известное удовлетворение. Но и в этой сфере мы смолоду более смелы, решительны (а подчас легкомысленны) в перемене и выборе того, что нравится и не нравится, удовлетворяет и не удовлетворяет, более подвижны в «перемене места», активнее отстаиваем свои душевные интересы и потребности. А с годами становимся более заисимыми не только от существа дела, а и от его формы, бываем неудовлетворены, а терпим (как это получается у тебя целыми долгими периодами с твоими директорами или завучами). Но все-таки я имею в виду даже не это, а то, что мы все больше становимся невольниками своих бытовых и семейных условий и даже условностей, собственных привычек и слабостей и уже совсем не живем по своей воле, а живем «как нужно» или еще чаще «как складывается».

Душа еще молода и физических сил еще немало, хочется взмахнуть крыльями и взлететь, мечты еще кипят. Но я с грустью замечаю, что последние лет 6-7 я живу, маневрируя между служебным и бытовым «как нужно» и душевным «как складывается». Это порождает глухую, а порой и болезненную неудовлетворенность, но сил для бунта и полета уже в себе не находишь, и тогда торжествуют над тобой твои слабости,— обманчивая попытка заглушить боль сердца. И все чаще приходит в голову мысль, что годы идут, что нужно еще многое сделать, а в моей профессии сделать что-либо можно только в состоянии душевного равновесия, а обрести его сейчас можно, увы, только на почве примирения со всеми «зависимостями», как должным и неизбежным. Взлететь мыслью в труде своем, то есть в мире художественного вымысла, а во всем остальном утихомириться и тихо сидеть «на печке», проще говоря — отказаться от личного счастья в интересах творчества, делания, ибо уже поздно мечтать о счастье.

Здесь, в Челябинске, мне предложили устроиться на берегу озера, в лесу, на даче с полным бытовым обслуживанием и пожить до конца отпуска (он кончается 1-го октября) — с тем, чтобы иметь возможность писать, а в случае необходимости — выехать на любой завод,— все они здесь, под боком. И я согласился: мне здесь спокойнее, чем дома, хотя и очень одиноко. Может быть, я пробуду здесь числа до 20-го сентября,— если буду уезжать, предупрежу тебя заблаговременно письмом или телеграммой.

Тридцать шесть лет тому назад высшим счастьем для меня было видеть тебя и слышать твой голос,— тогда я даже не смел думать о большем. С той поры я сохранил по отношению к тебе большую человеческую любовь и нежность, но оба мы стали другими и вот, живя «как нужно» и «как складывается», я даже не использую возможности видеть тебя и слышать твой голос, когда жизнь представляет ее, эту возможность. А все равно — сквозь эти годы, сквозь эту жизнь «как нужно» и «как складывается» — ты останешься для меня одним из самых близких и дорогих людей. И печально мне мысленно видеть тебя одиноко едущей в поезде...»

12 января 1955 года

«...Я вернулся из своей дачной местности под Челябинском в Москву 3 октября или немножко позже и сразу же попал в водоворот подготовки

к съезду писателей. В моей березовой роще на берегу соленого озера под Челябинском мне хорошо работалось, образовалась инерция работы за столом — состояние, которого все пишущие люди так ждут — и в течение двух-трех недель я, несмотря на «водоворот», продолжал писать и в Москве. Потом дело пошло медленней, приключились международные дела — в ноябре я ездил в Стокгольм на сессию Всемирного Совета мира, — и уже до самого съезда, а потом до окончания съезда, а потом в течение двух недель после него (в связи с разными новыми организационными делами) не было, собственно, и часа, чтобы дух перевести. Надеялся написать тебе в новогодние дни, но был так утомлен, что фактически проспал эти два дня праздника.

Всего лишь несколько дней, как я вновь взялся за роман. Окончить первую книгу под Челябинском мне не удалось, наверно придется работать над ней еще месяца четыре. Собственно, написано очень много, но обработано мало. Мне сказали товарищи по работе в Союзе писателей, что нужно перед съездом показать читателю хотя бы отрывки. И я очень жалею, что дал несколько глав в «Огонек»: во-первых, это не лучшие из глав, а скорее средние (невыгодно было печатать лучшие, как невыгодно выковыривать изюм из кулича: от этого пострадают и изюм и кулич), а во-вторых, у меня не было времени хорошенько эти главы обработать, — в них есть длинноты. Да и читатель в общем не любит отрывков, он любит влезть в роман, как в обжитый большой дом, населенный множеством жильцов, одни из которых ему милы, другие — так себе, третьи — враждебны.

Через несколько дней я снова еду за границу и, очевидно, в середине февраля опять поеду. Но теперь я уже снова живу на своей даче, и общественной работы у меня стало меньше: по новому Уставу, принятому на съезде, мы ликвидировали должность председателя, отклонили также и должность генерального секретаря, а утвердили коллективный орган руководства — секретариат Правления — в составе 11-ти секретарей, одним из которых я теперь и являюсь. Для практической повседневной работы избрали первым секретарем Суркова и ввели в качестве одного из организаторов всех наших практических дел партийного работника, бывшего секретаря Московского Комитета партии Поликарпова. Тем не менее на мне остались, как принято выражаться, солидные «нагрузки» по секретариату, не говоря уже о международных делах, о Комитете по Сталинским премиям и пр. Но разве можно все это сравнить с прежним! Я чувствую себя сейчас гораздо более свободным.

Собственно говоря, это все, что можно сказать о внешней стороне моей жизни. Младший мой сынишка часто болеет, а старший неважно учится, жена перегружена общественными делами и своей работой в театре, теща сильно состарилась, и дом наш в общем беспризорен...

Давно уже не писала ты мне о своих делах. Как закончилась (и закончилась ли) твоя эпопея сложных взаимоотношений и борьбы с косными силами, которых, к сожалению, действительно еще так много в области нашего народного образования. Причин к тому, что их, этих отсталых элементов, в такой, казалось бы, светлой области, все еще довольно много, причин к тому не мало. Невысокий уровень подготовки учителей во многих и многих институтах страны, низкая заработная плата, еще более низкая в органах народного образования — благодаря чему туда идут не лучшие, отсутствие непосредственного, прямого и повседневного руководства этими органами со стороны партийных органов, слабость, узость партийных организаций в школах, неразработанность методики преподавания, а тем более воспитания, слабость, сухость, перегруженность учебников во многих областях знания, перегруженность школ работой в две-три смены, не дающая возможности развернуть во всю ширь внешкольную работу, — все это пагубно отражается на жизни нашей школы, на психике людей, работающих в школе, руководящих делом образования, на их взаимоотношениях.

Нашла ли ты, по крайней мере, работу себе по сердцу? Много ли занята? Не отразились ли все эти дела на твоём заработке? Каково положение с квартирой?

Несколько дней тому назад я навестил Э. И. Шуб¹. Она после санатория сильно болела, что ее окончательно подкосило. Дочь ее, на основании заключения ряда хороших врачей, говорит, что дела ее матери сейчас хуже, чем были даже до санатория. Эсфирь Ильинична сказала мне, что получила от тебя письмо, которое доставило ей радость. Она говорит, что у нее сохранилась добрая память о тебе, как о хорошем человеке и ра-

¹ Шуб Эсфирь Ильинична (1894—1959) — кинорежиссер, заслуженная артистка РСФСР.

ботнике — в той мере, в какой последнее, т. е. представление как о работнике, можно вынести из разговора и из общего представления о человеческом характере. Я, конечно, рад этому. Она женщина талантливая, умная и очень одинокая.

Как здоровье твоей мамы? Береги ее, насколько можно. Только теперь я понимаю в полной мере, какой огромной моральной силой и опорой для меня была моя мать — не только в силу ее личных качеств, а даже просто в силу ее материнского существования. При ее жизни я всегда чувствовал себя как-то моложе, всегда была возможность к кому-то притутиться, — а потребность эта бывает даже у более сильных людей, чем я (и во всяком возрасте!) — и самая забота о матери, необходимость и потребность этой заботы, вызывала в душе лучшие ее качества, была естественной гарантией от очерствления...»

15 апреля 1955 года

«...Спасибо тебе за письма, — я их все получаю, и нужно ли говорить, какую они мне доставляют радость? Помимо всего прочего, они еще являются для меня совершенно естественным и непринужденным источником познания дум и чувствований, повседневных дел и быта хорошей, незаурядной советской учительницы. Вся эта сторона твоей жизни, забирающая у тебя большую часть времени и значительную часть твоей души, всегда мне бесконечно интересна, и думаю, что я здесь научился благодарить тебе многое лучше видеть и понимать.

Моя жизнь стала несколько полегче, т. к. я несу по Союзу писателей не главную функцию теперь, а одну из многих. Но легче стало только в смысле большей возможности маневрировать своим временем и в смысле ответственности (в формальном ее понимании). По существу же, как литератор, много лет работающий в Союзе, литератор с большим опытом, «известный» к тому же широким слоям народа, я по-прежнему несу свою ответственность за дело литературы и по-прежнему обременен большими и малыми заботами. Все, что связано с остальными моими обязанностями, особенно по Всемирному движению сторонников мира, лежит на мне по-прежнему. Если учесть, что теперь я много пишу и что роман мой оказался много труднее, чем я думал, и движется медленнее, чем я предполагал (не от недостатка усилий с моей стороны, а от необходимости десятки раз все переделывать и переписывать), — если учесть это, я, конечно, остался по-прежнему очень несвободным, переобремененным заботами и очень зависимым от обстоятельств человеком, «человеком-учреждением».

Письмо, обещанное тебе в телеграмме, задержалось, однако, не из-за перегруженности, а из-за болезни. Меня стали преследовать приступы сердечной аритмии, вызванные не столько органическими изменениями в сердечной области — они в общем более или менее «нормальны» по моему возрасту, — а переутомлением нервного порядка. В известном смысле, сердце мое оказалось даже лучше, чем это раньше предполагали. Но нервная система истощена, и это отражается на сердце. Мне пришлось снова полежать в больнице, и я поправился. Сейчас у меня наступило время относительного отдыха.

Во время своей болезни я дочитал роман Левы и, как только получил возможность писать, направил ему, то есть Левае, свой отзыв, а также направил роман в издательство «Молодая гвардия» с предложением установить контакт с автором и помочь ему доработать роман. Лева несомненно одарен в литературно-художественном отношении. Но у него нет культуры письма, чувствуются даже недостатки, оставшиеся от средней школы (в области языка, даже грамматики) и отсутствие специальной литературной «тренировки». Если бы он еще совсем молодым начал квалифицироваться как писатель, работая над собой систематически (что не означало бы необходимости профессионализироваться в еще раннем возрасте, — это можно и нужно было совмещать, как делал, например, я до 25 лет и как делали многие литераторы моего поколения), — он мог бы выработаться в хорошего писателя. Это еще не поздно и сейчас, но требует от него большой самодисциплины: надо ежедневно хоть понемногу работать над собой и — всесторонне учиться...»

❶

Работа над «Черной металлургией» идет очень медленно: «...роман мой движется медленнее, чем я предполагал», — с сожалением сообщает Фадеев в одном из своих писем. Вначале писатель обещает опубликовать первую часть романа в 1953 году. Но проходят 1953 и 1954 годы. В письмах называется уже 1955, а вскоре и 1956 год...

В этот период резко изменились планы и замыслы писателя. В письме М. Алигор Фадеев сообщает, что у него, «как выражаются ныне, «погорел» основной сюжетный стержень романа... с большинством героев, движущих эту его главную линию... Мне нужно проделать коренную переработку книги, выбрасывать многое, вводить новое, новых, менять всю структуру книги...»

Такой неожиданный «кризис» с романом привел писателя к тяжелому моральному состоянию: «...для меня это почти авария». «Был период,— говорит он в другом письме,— когда я испытал некий нравственный шок».

В письме А. Ф. Колесниковой писатель подробно объясняет все, что произошло с его романом.

23 октября 1955 года

«...Письмо твое, полное недомолвок и загадок, доставило мне однако большое удовольствие: ведь я так давно не имел от тебя писем! Однако жаловаться мне не на кого, ибо я и сам не писал уже довольно давно, что, впрочем, как ты знаешь, бывало со мной и раньше. Объясняется это все тем же. Ты наверно знаешь от Левы, что я, находясь в Барвихе, не дотянув положенного мне срока, сильно заболел. Я отлучился на майские праздники на дачу, там заболел и уже не вернулся в санаторий. Я категорически отказался ехать в больницу, из которой только совсем недавно выбыл, и остался лежать на даче. И болезнь моя длилась два с половиной месяца. В сущности, я даже еще не поправился, как мне нужно было ехать на Всемирную ассамблею в Хельсинки, и я поехал. И как это всегда бывает после длительного заболевания, когда все общественные, служебные, семейные, личные дела неслыханно запущены, я сразу попал в такой невыносимый конвейер дел, который уже совсем не оставлял мне свободного времени. Тут подряд шли Пленум ЦК, сессия Верховного Совета, заседания в Союзе писателей, бесчисленные деловые встречи, ликвидация накопившейся депутатской почты, устройство различных запущенных домашних дел и пр. и пр. К тому же мне поручили большой доклад на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами марксизма-ленинизма в вузах, потребовавший от меня большой подготовки,— главным образом, чтения колоссального количества литературы. Доклад этот я сделал 27 августа и начал расширять его в большую литературную статью, которая отняла у меня еще целый месяц (она напечатана в последних четырех сентябрьских номерах «Литературной газеты»).

Все эти дела и делишки развивались на фоне очень плохого моего морального состояния, вызванного «кризисом» с моим романом. Дело в том, что задумывал, сочинял и начинал писать его в 51—52 гг., когда многие вопросы стояли, вернее, выглядели по-иному, чем сегодня. В центре моего сюжета находилось одно «великое» техническое открытие и борьба вокруг его осуществления. Но это «великое» открытие оказалось чистой «липой», взращенной высокопоставленными карьеристами, которые ввели тогда в заблуждение и правительство. Кроме того, большую сюжетную роль играла в моем романе борьба с группой так называемых «врагов народа», что тоже было мной не выдуманно, а взято из реальных материалов. К счастью для этих людей и к неудаче романтиста, дело этих «врагов» тоже оказалось «липой». Но ведь я на основании двух этих сюжетных линий построил всю основу своего романа и целую серию характеров. Теперь все это приходится менять, переделывать, и это, конечно, ужасно нелегко, потому что человек за несколько лет работы привыкает и к своей теме, и к своим героям, и изменить это «на ходу» невозможно. Фактически роман мой остановился, и мне пришлось изучать материал наново, искать новых людей, новые сюжетные линии и прочее. Теперь как будто бы я уже выхожу из кризиса, имену новый план и новых героев, но фактически мне приходится большую часть работы делать заново. Теперь уже вряд ли я закончу первую книгу раньше конца 1956 года.

За это время продолжал сильно болеть мой младший сын, и это тоже отражалось на моем настроении. Наконец, такая затыжка с выходом в свет новой работы отразилась на моем финансовом положении.

Разумеется, все, что я тебе пишу, я пишу по-дружески, ибо внешне я человек, владеющий собой, человек к тому же жизнерадостный и жизнерадостный и, конечно, о моих бедах и трудностях люди в общем не знали и не знают. Вот тебе краткая история моей жизни этих месяцев.

Необходимость форсировать роман приковала меня к даче, все мои планы поездок и вообще планы всякого рода развлечений, удовольствий самого элементарного порядка, которых не лишены люди всех профессий и социальных положений — вроде какой-нибудь экскурсии, или охоты, или просто похода по грибы — по ягоды, или посещения театров, или встречи

с добрыми веселыми друзьями — все это мне пришлось отложить на будущее, и жизнь моя протекает довольно одиноко и тускло. Но роман все-таки будет, а это — главное...»

Однако несмотря на то, что писатель и сообщает некоторым своим близким друзьям в конце 1955 — начале 1956 года, что он выходит из «кризиса» с романом, что ему «...более или менее стало видно, что и как надо делать», что он «...давно в сердце нового замысла», что «...роман все-таки будет», — несмотря на все эти сообщения и заверения Фадеева, роман стоит без движения: фактически работа над ним прекратилась весной 1955 года.

С большим трудом заставляя себя писатель переключиться на подготовку сборника «За тридцать лет» — своеобразного итога своего жизненного и творческого пути.

В последние годы Фадеев наиболее интенсивно занимался эпистолярным творчеством. Переписка становится для него жизненной необходимостью. Он объясняет это тем, что через письма он с гораздо большей силой и внутренним пониманием проникает в так называемую «обыкновенную», а на самом деле такую «необыкновенную», полную труда, дум и страстей — жизнь». Вероятно, так и было на самом деле. Но бесспорно и другое: все чаще находясь в «больничной изоляции» и тем самым, искусственно оторванный от жизни и общего литературного процесса, от друзей, переживая тягостные для себя периоды ослабления творческой деятельности, — Фадеев заполняет эти «паузы» перепиской с друзьями, которая становится для него своеобразной формой литературного творчества. И письма к А. Ф. Колесниковой — наглядное и убедительное тому свидетельство.

Последнее фадеевское письмо дальневосточному другу было датировано 16 марта 1956 года¹, а через два месяца — 13 мая 1956 года жизнь А. А. Фадеева трагически оборвалась.

«...Потом я была уже на могиле, — вспоминает А. Ф. Колесникова. — Не верилось, что нет больше нашего Саши. Хотелось чуда. Пока я стояла у дорогой могилы, — собралась туча и неожиданно грянул гром. Раскат его прокатился по всему небу. Разразилась гроза, живо напомнив дни нашей юности. Молния своей вспышкой озарила все вокруг и высветила скульптурные фигуры юных молодогвардейцев, плечом к плечу вставших у могилы своего славного певца и предшественника — смелого владивостокского «соколенка» Саши Фадеева...»

Письма А. Фадеева к А. Колесниковой представляют, несомненно, большой общественный интерес.

Читая и раздумывая над этими письмами, начинаешь лучше понимать, откуда бралась такая глубина замечательных фадеевских книг, такая прозрачность и моральная чистота его мысли, ясность и простота языка, такая честность и правдивость, тонкий лиризм и непоколебимая, героическая, революционная романтика, составляющая основу, душу всего творчества Фадеева. Сама жизнь, глубочайшая идейная убежденность, безграничная вера в народ, личное участие писателя в народной борьбе — вот что дало ему и эту силу мысли и эту чеканность слова!

Вместе с тем эти письма полны интересных размышлений уже зрелого художника-коммуниста о современной литературе и литературном творчестве, о коммунистической морали, о семье, любви, дружбе и товариществе.

Но их особая ценность, думается нам, состоит в том, что, читая их, мы как бы видим писателя живым, в кипучей жизни нашей страны, «...с врывающимися повседневно заботами, волнениями, передвижениями, новыми и новыми обязанностями, а главное, с повседневным калейдоскопическим вращением людей вокруг».

Таким и был в жизни Александр Фадеев.

¹ Публикуемые здесь письма А. А. Фадеева к А. Ф. Колесниковой переданы на хранение в отдел рукописей Института мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР.

СЛАДКИЙ ГОРОД МАСТЕРОВ

В Третьяковке гардеробщики здороваются с ним как со старым знакомым. Высокий, подтянутый, он педантично поправляет галстук у широкого зеркала, усмехнувшись, пробегает тонкими пальцами по седым, коротко остриженным волосам.

И снова встречается с шедеврами, внимательно вглядывается в них. Так оно и есть, сколько раз, когда он искал нужный штрих, линию, любимая картина «подсказывала ему». За это он особенно любит один из рисунков Федора Толстого — цветок, с которого вот-вот готова упасть капля росы.

Смотрители залов Музея изобразительных искусств считают его знатоком голландских мастеров натюрморта. Его можно принять за пожилого актера — голос хорошо поставлен. Я бы так и подумала, если б не знала, что рядом со мной бесшумно шагает старший мастер шоколадного цеха Николай Александрович Виноградов. Меня привело к нему желание узнать тайну «коронного» сорта кондитерской фабрики «Красный Октябрь». Знаменитый «Мишка косолапый», в числе других изделий этой фабрики, получил премию на Всемирной выставке, а сейчас вместе с королевой карамелей «Раковой шейкой» выдвинут для присвоения государственного знака качества.

Как сложился его неповторимый вкус? Конфета родилась в прошлом веке.

Тогда предприятие принадлежало немцу Гессу и носило имя основателя фирмы — «Эйнем». Две предпринимательских фамилии выписывали из-за границы и рецепты, и опытных кондитеров, и паровые машины.

— Но «Мишку» создали наши, русские мастера, — утверждает Николай Александрович. — Очень жаль, что нам неизвестны их имена. Время не сохранило их.

Когда в 1919 году он пришел на фабрику, которую называли уже «бывшая Эйнем», он застал еще старых королей кондитерского дела, суровых, бородатых. Жили они в общежитии, на воскресенье все уезжали по Павелецкой дороге домой, в деревню...

Как тогда делали «Мишек»? Вручную намазывали вафли массой, резали линейками, потом опускали конфету в таз с шоколадной массой на специальном трезубце из проволоки. А как-то было вручную замесить густое шоколадное тесто?

Сегодня в цехе, конечно, все по-другому. Бригада участка Лена Тихомирова, молодая ясноглазая женщина, рассказывает, как они «стерегут» отличное качество «Мишки». Если снизу подается в «патефон» (так зовут работницы вращающийся барабан) масса чуть иного состава, бригадир поднимает тревогу и добивается точного соблюдения рецептуры. А знаете, что придает «Мишке» тонкий вкус? Точная доза мин-

даля и натуральный шоколад. Важно еще, чтобы масса, которая идет из «патефона» в специальную установку, нагрелась до определенной температуры и была хорошо вымешана.



Н. А. Виноградов

Потом конфеты отправляются одеваться в шоколадное платье — на глазировку. Здесь снова машина вымешивает шоколадную массу. Это — хозяйство потомственной шоколадницы Антонины Степановны Лебедушкиной. Если шоколад горячей всего на два градуса — конфеты выйдут из машины уже не блестящими, а матово-седыми. И здесь зорко следит за параметрами бригадир. И конфеты окутываются таким блестящим шоколадным слоем, что невольно каждый залюбуется, помедлит: с какого края откусить не жалко?

На глазировке контролируют работу всех участков. Все «Мишки» должны быть одинаковыми по весу, ровно разрезаны. И пока мы смотрим, как машины завертывают конфеты в знакомые бумажки с зелено-голубыми елочками, на ко-

торых скоро появится государственный знак качества, мне сообщают, что производство «Мишек» перейдет в новой пятилетке на механизированную поточную линию. А сейчас в месяц выпускается 40 тонн этой вкусной продукции. Фирменные конфеты едут во все города страны, за рубеж. Как раз сегодня в производственном отделе я слышала: дополнительную партию «Мишек» ждут в Италии.

К Брюссельской выставке всемирно-популярного медведя на фабрике задумали отблагодарить — сделать ему шоколадный памятник. Дело это поручили, конечно, старейшему мастеру Виноградову. Вместе со скульптором выбрали они в зоопарке самого симпатичного натурщика. И вот Виноградов уже орудует кистью, наносит тонкий слой шоколада на 32 части формы. Восемьдесятдвухкилограммовый зверь должен стать мохнатым. И шоколадную шерсть тоже кистью сотворил ему Александр Николаевич. Он же сделал и шоколадный «хрусталь» — изящную вазу для сахарных роз, что красовалась на выставке в Вене. Смотрю на легкие руки мастера и не могу удержаться:

— Да вы и вправду артист, Николай Александрович!

— А ведь вы почти угадали. Уже много лет я играю в самодеятельном театре. Любимые роли — старики в пьесах Островского. Приглашали меня в театр имени Ермоловой. Один сезон проработал, давно это, правда, было, в 30-е годы. И так вдруг потянуло назад, на фабрику... Вернулся.

Старейшина фабричных мастеров скоро отпразднует полувековой трудовой юбилей. Он задумал уже сейчас эскиз шоколадной медали, которая посвящена 100-летию его родной фабрики. Эта годовщина будет отмечаться в 1967 году. Почти одновременно с полувековой годовщиной Октября, чье имя носит фабрика.

Иду в карамельный цех к Баскакову.

Василий Кузьмич не по-

хож на строгого, чуть ироничного Николая Александровича. Полный, веселый, настоящий повелитель карамельного конфетти, он чем-то похож на доброго, шумного волшебника. У него в цехе среди восьмидесяти сортов карамели делают кругосветно известные «Раковые шейки». Перед нами коробка с надписью «Lobster Tail». Оказывается, чопорные англичане обожают любимую конфетку нашего детства и очень много ее покупают.

Чтобы королева конфет была вкусной, нужно сработать ее атласную мантию чуть толще миллиметра! Для этого карамельная оболочка должна состоять из 128 (!) слоев! А знаете, сколько должно быть малиновых полосок? Обязательно шестнадцать. И, конечно, чтоб начинка из шоколада аппетитно хрустывала. Отлично сложить сто двадцать восемь конфетных одежек могут лишь опытные мастера. Такие как Николай Александрович Гусев, Василий Иванович Соколов. Рядом с ними, не отставая, работает комсомолка Рая Волотова. Учится, как говорится — перенимает опыт.

Василий Кузьмич, ведя нас мимо новой поточной линии — гордости карамельного цеха, — вдруг вспомнил, как начинал у хозяина свое ученье в мальчишках. В пять утра приходил разжигать конфорки, мыть полы. Карамель тогда варили в тазиках. Только через год-полтора самых

способных начинали учить кондитерскому делу, да и то старший мастер «в пылу учебы» позволял себе дать подзатыльник даже жenateму подмастерью.

— Так ли я учу ребят, которые приходят ко мне? — смеется Василий Кузьмич. — Все свои секреты открываю. Вот здесь они записаны, в заветной тетрадке. Уйду на пенсию, оставлю ее на фабрике.

Знаете, какие сорта придумал Баскаков? «Коллибри», «Малютку», «Молочный ликер», «Зайчика». Баскаков протягивает мне конфеты в прозрачных обертках. Это новорожденные, пока безымянные. Одна карамель с начинкой из крем-брюле, другая — с вишневым ликером. Мастер готовит их к дегустации, которую многие величают «сладкой пятницей». Частенько к этой «пятнице» на «Красном Октябре» готовят вкусный сюрприз. А то и сразу несколько.

Посещение «Красного Октября» представлялось мне путешествием в страну детства, сказок, где текут леденцовые реки в шоколадных берегах и стоят дома из марципанов. Но оно стало путешествием в город замечательных мастеров, которые собираются в новой пятилетке, не свергая старых конфетных «короля» и «королеву», ввести в «королевскую семью» все сладости, на которых стоит марка: «Красный Октябрь».

Н. Коноплева

ПО УЛИЦАМ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

Планы, планы, планы... Они всюду — на стенах, в шкафах; на столе. Сначала покажется, что ты смотришь с огромной высоты и вся Москва замерла под тобой внизу... Но взглядевшись повнимательнее, заметишь, что на листах ватмана — одни и те же очертания.

Мы сидим за большим

столом, с одной стороны Н. К. Базалеев — хозяин этой комнаты, начальник архитектурно-планировочного управления района, с другой стороны я.

— Да, — говорит Николай Константинович, — все это Дзержинский район. На тех планах — отдельные его части, а на этом он весь

целиком. Наш район самый большой в столице по населению — шестьсот тысяч жителей...

Лианозово и Медведково, Марьино роща и Бескудниково, Останкино и Бабушкин — все это Дзержинский район. И все восемь тысяч его гектаров нужно реконструировать или застраивать заново.

Пожалуй, нет в Москве другого района, где бы за последние годы родилось столько новых улиц, и все-таки еще осталось такое множество старых. По сохранившимся еще булыжным мостовым здесь broдят вековые легенды.

Вот Марьино роща. Кто дал это удивительное имя?

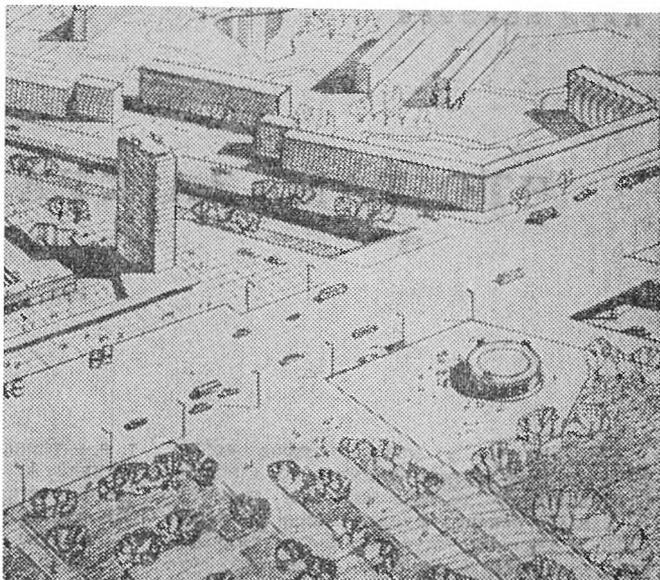
...Жила здесь некогда красавица Мария, влюбленная в певца и поэта Услава. Но когда он куда-то уехал, витязь Рогдай уговорил Марию стать его женой. Тоска не покинула сердце Марии. Услад возвратился из путешествия, и она хотела броситься в реку. Мучимый ревностью Рогдай запер ее в высокий терем и оставил там навсегда...

Больше ста лет назад об этом написал поэт Василий Андреевич Жуковский. Здесь когда-то девушки водили хороводы, устраивались народные гулянья. Но вообще-то Марьино роща была далека от поэзии.

В середине прошлого века здесь были трактиры и кабачки с цыганами, дрессированными медведями, шарманщиками... Позже возникли небольшие фабрички и заводы. Застроена Марьино роща была сплошь маленькими деревянными домишками, множество их дожило до наших дней...

Но вот сюда шагнула новостройка. Пройдет несколько лет, и от старой Марьино рощи останется, быть может, только название.

Широкая магистраль «Север — Юг» ляжет серой лентой от Центрального Дома Советской Армии до подножия новой башни Общесоюзного телецентра. Вдоль всей магистралы, уступающей в зелени садов и



скверов, расположатся магазины, кинотеатры, клубы. Марьино роща будет местом отдыха и развлечений. Весь район приобретет новое лицо. Более чем в два раза расширится парк ЦСКА, далеко за городскую черту переселятся заводы и фабрики, а на их месте вырастут жилые дома.

Но в Марьино роще — лишь часть строительства в Дзержинском районе. Самые большие работы будут выполнены в Медведкове. За три года там введут в эксплуатацию более полумиллиона квадратных метров жилья. Хотите представить себе, что это значит? Этой цифрой несколько лет назад выражалась вся жилая площадь города Бабушкина.

Иными словами, за три года в Медведкове вырастет новый город. Но если в Бабушкине жило сто тысяч человек, то в Медведкове их будет только пятьдесят. То есть на каждого придется вдвое большая жилая площадь.

В новом районе будет все: бассейн, стадион, дома культуры, парки. Сейчас решается вопрос о транспорте — скорее всего, уже в следующей пятилетке туда протянется линия метрополитена.

Шесть миллионов квадратных метров — таков будет общий жилой фонд

Дзержинского района к 1970 году.

А Базалеев уже разворачивает передо мной новую схему.

— Если вы случайно окажетесь на Ново-Алексеевской улице, вам сразу бросится в глаза бело-зеленая громадина в шестнадцать этажей. Название у нее очень прозаичное — «экспериментальный дом из вибропрокатных панелей». Совсем скоро он распахнет перед жильцами двери своих квартир. А к концу 1967 года его «родной брат» вырастет неподалеку от ВДНХ, перед знаменитой скульптурой Мухиной. Но он будет гораздо выше — в нем вы насчитаете 24 этажа, и по росту он сможет соперничать с монументом в честь покорителей космоса...

...Еще и еще схемы, карты, фотографии. Каждая из них — что-то новое: новый проект, новый дом, новое открытие.

И кажется, нет никакого кабинета. Просто два человека шагают по улицам от вчерашнего дня — к сегодняшнему, от сегодняшнего — к завтрашнему.

М. Виталин

МОСКВА 1970

Продолжение — на 193 стр.

ЧТО ТАМ, ЗА КУЛИСАМИ?

Если искусство — сказка, то она должна быть философской

(Альфред де Виньи).

Вынесенные в эпиграф слова поэта-романтика не только красивы, но и верны. Сегодняшнему театру, как мне кажется, не хватает как раз мышления. Мельчим даже в крупном: случай остается случаем, факт — фактом. А зрителя теперешнего трудно удивить, потрясти, взять в плен фактами. Театр может «взять» его мыслью, нравственным потрясением...

Масса поверхностных аналогий искусства с современной наукой. Иные сталкивают их с заранее предвзятой целью «унижить» искусство: мол, куда ему до науки. Умные люди, однако, заметили, что распространение знания еще не гарантирует высокой нравственности. Интересное противоречие: с головой ушли в технику, науку, а мечтаем о человеке «естественном», «гармоническом», «совершенном». Задумываемся ли мы над этой особенностью нашего бытия? И сколько таких загадок стоит перед искусством?

Меня удручает наше пристрастие к произнесению «общих слов», превращающихся порой в какие-то заклинания.

Сколько помню, мы не переставая говорим об «отставании театра» от жизни. Отстает — и basta. А почему, собственно, он постоянно «отстает»? Нельзя же все время «отставать», пора когда-то и обогнать или, по крайней мере, пойти с жизнью в ногу. А если театр действительно отстает, то надо хотя бы раз по-деловому и до конца откровенно разобраться в причинах этого «отставания».

Вот опять очередная статья об «отставании», на этот раз режиссера. И опять все сводится к тому, кто главный — драматург, режиссер или актер — и кто больше виноват, что на театре не все благополучно.

Бывают споры, схожие с бенгальским огнем: горят ярко, эффектно, а жара истинного нет, и никому от этого ни тепло ни холодно. Их называют еще схоластическими. Взять бы и договориться, что перестанем убеждать друг друга в том, что театр начинается с пьесы (или, соответственно, с вешалки!), что пьеса, даже талантливая, не станет интересным спектаклем без режиссера и актеров, что природа театра, как и вообще искусства, — условная. «Режиссерский спектакль», «актерский спектакль» и

т. п. — темна вода этих привычных словосочетаний. И не будем устанавливать табель «виновности». А сообща разберемся в противоречиях современного театра, в том, что происходит за его «корой»...

Невольно завидуешь ученым — их беспощадной трезвости, тому, как умело и плодотворно они пользуются сомнением в оценке собственного творчества. В одной из книг по кибернетике я прочитала, что многие кибернетические машины делают продукцию более простую, чем они сами. Автор назвал такое устройство «вырождающейся сложностью». Поражает удивительная трезвость самооценки. Театру бы такую!

Вырождающаяся сложность — это и в искусстве не редкость. Способный, талантливый художник выдает «на гора» продукцию менее сложную и интересную, чем он сам. То ли от лени, то ли от нежелания рисковать, то ли от поверхностного, дилетантского подхода к жизни, неспособности охватить ее текучесть, сложность, многослойность. Читая М. Пришвина, я подчеркнула слова: «Если ученый находит причину явления, то тем самым он открывает новый вопрос о причине самой причины данного явления. И тот же ученый представляет новому работателю над дальнейшим, и так без конца». Если заменить слово «ученый» словом «художник», то такой способ предпочтителен и для развития искусства. В каждом конкретном случае нелишне спросить: а что, собственно, нового, более глубокого ты даешь в этой пьесе или роли по сравнению с уже известным?

Конечно, перепрыгнуть самого себя художник не может, но его собственный рост (и рост зрителя, к которому он обращается) зависит от того, угрождает ли он себя разгадкой проблем, не поддающихся легкому решению? Преодолевает ли он «пределы» собственных возможностей? Ведь жизнь не устроена так, чтобы ее можно было легко познавать. Современные ученые это знают. Художники, напротив, в большинстве своем тяготеют к привычному, легко угадываемому.

«Похожесть» темы или конфликта не страшна, так как темы и конфликты в истории искусства в общем-то повторяются и их можно буквально по пальцам перечесать.

Страшнее «похожесть» художественных решений. Когда нет феномена, то есть события, явления, человека неожиданного и поразительного. Открытия, такого, каким для своего — и не только своего — времени были погодный «Мой друг», арбузовская «Таня», «В степях Украины» и «Фронт» А. Корнейчука, розовская «В добрый час». Может быть, я ошибаюсь или теряю способность удивляться, но не понимаю, как А. Арбузов после «Тани» и «Иркутской истории» мог сам примириться с беспомощностью пьесы «Нас где-то ждут...», а А. Корнейчук мог довольствоваться постановкой пьесы «Страница дневника», произведения менее удачного, чем предыдущие (за исключением образа Грозы). Не верю, что талантливые драматурги не видят этой разницы сами. Иначе пришлось бы согласиться, что и художники подчас добровольно следуют принципу «вырождающейся сложности».

«Сложность» не имеет ничего общего с манерностью, жеманством, которых, как ни странно, в нашем театре хоть отбавляй. Стендаль говорил, что жеманство есть достоинство женщины, у которой нет никаких других достоинств. И в искусстве жеманство появляется тогда, когда говорить научился, страсть как хочется высказаться, а сказать-то нечего... К сожалению, феноменами-спектаклями и глубокими художественными образами мы нашего зрителя не балуем. Удручает обилие стеротипа, ординарности мышления и наблюдений, и жизнь, представленная на сцене, кажется тебе виденной и перевиденной, элементарной и скудной.

Может быть потому, что за сценой остается сложность самого процесса исследования жизни. Можно критиковать Достоевского за то, что он считал причинами поведения людей, но надо удивляться и учиться глубине его проникновения в человеческую психологию. Мы же многое делаем так, как будто Достоевского или Толстого просто не было, и называем это «реализмом» да еще и «социалистическим».

Всякий раз бывая в Ленинграде, я отправляюсь в дорогу мне Гатчину. Брожу по чудо-парку, этому живому произведению искусства, наслаждаясь необыкновенным сочетанием воды, зелени, открытого луга. И каждый раз как будто впервые упиваюсь этой беспредельной далью, воздухом, наполненным мельчайшими каплями жемчужного тумана, медленно переливающимися в лучах солнца.

И, конечно, иду к старому знакомому — дубу, что стоит на открытой поляне около дворца Павла. Он вырос из семи разных желудей, из семи сросшихся дубков. Помню свое первое впечатление — обыкновенный, уже старый дуб, похожий на безвольный баобаб. Но стоит пройти вокруг него, как тебя завораживают два глаза «медузы Горгоны». И ты идешь, идешь навстречу, прямо в «пасть» и, почти натыкаясь на ствол дуба, вдруг освобождаешься от власти гипноза. Испуганная, смущенная случившимся — приняла два причудливо сросшихся

сука за «два глаза», — вглядываешься в кору дуба. А она — как руки старого человека, много сделавшего на этой земле, как сама земля, треснувшая от жажды... Еще несколько шагов по кругу — и ты вновь у исходного места. И тогда видишь, что ветки дуба, как у плакучей ивы, — спускаются низко, почти касаясь земли, а он сам, такой могучий и мудрый, кажется тебе беспомощным, легко ранимым и уязвимым...

Каждый из нас — «природа, ставшая человеком». Как же неотделимы люди от создавшей их природы, если она помогает им, например Андрею Болконскому, разгадать и понять себя, свое предназначение в жизни. Я вспомнила знакомого поэта П. — человека сложного, противоречивого и бесконечно талантливого. Я видела его всяким — злым и добрым, нежным и грубым, сильным и слабым, и не всем удается сбить «пену», чтобы добраться до главного. Как у гатчинского дуба, характер его сложен из своих «семи дубков», сросшихся в одно целое. И мне кажется, лишн его одного из дубков, он тут же потеряет что-то драгоценное и неповторимое в целом. Я вовсе не за то, чтобы оправдывать недостатки человека. Просто иногда трудно сказать, где кончаются они и начинаются достоинства, и наоборот. Во всяком случае, «дубы» на сцене чаще поражают своей ветвистостью, но не сложным основанием, корневищем.

Мне кажется, что мы часто еще очень поверхностно и догматически понимаем природу нашего искусства и творчества, что принципы его намного шире и глубже нашего же толкования их. Речь идет о вещах самых элементарных и, казалось бы, саморазумеющихся. За примерами далеко ходить не надо.

Смотрела «Председателя». Впечатление огромное. Пожалуй, за многие годы это первый фильм о деревне, которому доверяешь полностью. Теперь «Кубанские казаки» просто невозможны — никто не поверит... Фильм неровный, но сила правды, идущая с экрана, заставляет не замечать «шрамы». В зале плачешь, а уходишь с радостным чувством, просветленной, унося мысль необходимой: как хорошо, что есть такие вот, как Егор Трубников, как важно, чтобы их было побольше и в жизни и в искусстве. Давно не видела такой оптимистической картины о современности. А финал — лживый, скудно-назидательный, как будто подклеен из картин времен «бесконфликтности».

Эта пейзажная деревня с умиротворенными (и враз потухшими) лицами колхозников успокаивает, убаюкивает, ослабляет волю и решимость. А может быть, она и сыграла свою положительную роль, как лакмусовая бумага, отделяя правду от фальши, искусство «всамделишное» от готового штампа.

К чему этот показной оптимизм? Мол, не беспокойтесь, люди хорошие, все уже хорошо, незачем, собственно, волноваться. Финал рассчитан на обывательский вкус. Обыватель ведь не любит, чтобы его излишне волновали, будоражили, оставляли наедине

с решением, которое он должен принять сам, по своей — не авторской — воле. Помню, как зло и многократно высмеивали мы голливудскую продукцию, где все кончалось обязательным «поцелуем в диафрагму». Обязатель требуется, чтобы принц в конце концов находил свою принцессу, чтобы ссора кончалась миром: можете морочить мне голову как угодно, но в финале, будьте добры, успокойте нервную систему, умиротворите, успокойте для продолжения «текущих дел». Уж не у голливудцев ли позанимствовали мы понимание оптимизма как внешнего благополучия, заглушения обостренной мысли, совести зрителя? К чему эти «поцелуи» в идеологическую «диафрагму», если всем душевным строем своим картина утверждает победу таких людей, как Егор Трубников?!

В оценке произведений искусства мы нередко упускаем такой существенный элемент, как позиция художника. Я внимательно перечитала подряд три статьи о спектакле «Десять дней, которые потрясли мир» театра на Таганке. И была удивлена характером упреков, адресованных постановщику. Они в основном сводятся к тому, что он что-то не «отобразил», неполно «отразил». С точки зрения учебника по истории такие претензии понятны. Спектакль, действительно, не вобрал в себя и половины сцен, фактов из книги Джона Рида. Судя по всему, Ю. Любимов и не стремился к этому, помня о печальной судьбе многих произведений о революции, в которых дотошно передана историческая канва событий, на экране или сцене появляются один за другим известные по учебнику истории лица, а правда истории тем не менее не становилась правдой художественной. Зритель скучал, оставался равнодушным... На спектакле Ю. Любимова равнодушных нет, скажу осторожнее, почти нет. В чем же секрет? А в том, по-моему, что образная структура спектакля пронизана и согрета важной политической идеей, очень дорогой его авторам: помните и живите этими великими идеями, не забывайте, с какими муками досталась Революция народу и партии, не разбазарьте богатство ее идей и свершений в každодневной суете и споминутных заботах. Революция продолжаетея — и мы, современники, ее законные наследники...

Может быть, с чисто академической точки зрения авторы спектакля чего-то и не «отобразили», — не спорю, но смысл идейный и художественный книги Джона Рида, атмосферу ее выразили необычайно ярко и точно. На своем веку я посмотрела немало фильмов и спектаклей с «живым» Лениным. Многие из них, особенно из теперешних, могли бы позавидовать этому, на котором зрители аплодируют «портрету» Ленина, его слову, мысли, ставшим идейным центром спектакля.

Я не «защищаю» спектакль от критики, а только хочу, чтобы судили произведение не за то, чего в нем нет, а за то, что в нем есть. Это и труднее и полезнее. Многие в нем меня не удовлетворяет: и драматурги-

ческая рыхлость, «топтанье» на месте, и поверхностная плакатность отдельных сцен, вроде «Пьеро» или «прыг-скока», и неровности актерского исполнения, и очень спорная сцена с интеллигентом, читающим воззвание (ее сатирическое идет за счет одностороннего представления о гуманной природе революции), и др.

Но в спектакле есть главное — идейный посыл и волнение художника, лично заинтересованного в теме. В таком выпячивании личности художника нет ничего субъективистского. Художественная правда и правда жизненного факта, как известно, не тождественны, не совпадают, хотя иные критики и ратуют последнее время за их тождество. «Несовпадение» вмещает в себя внутренний мир художника, который лежит между результатом искусства и его жизненными истоками. И чем богаче этот мир, чем определеннее и точнее гражданская и эстетическая позиция художника, тем богаче результат творчества.

Я согласна с С. А. Герасимовым, писавшим в своей статье (Журнал «Иностранная литература» № 7. 1965 г.), что «самовыражение не только право художника, но и прямая его обязанность. Именно вследствие самовыражения становится неповторимым результат искусства, со всем его своеобразием и мерою глубины, и речь может идти тут только о содержании самого внутреннего мира художника, о способности его к постижению окружающего мира, с неизбежной для художника потребностью поделиться затем своими открытиями с людьми».

Именно это — «содержание самого внутреннего мира художника», как оно отразилось и выразилось в произведении, — не должна обходить критика. Спросите в любой библиотеке, какой жанр пользуется среди современных читателей особой популярностью. И вам ответят: мемуары, дневники, лирика и т. п. Читателя явно привлекает ярко выраженная личность, индивидуальное выражение чувств, переживаний, гражданского опыта, увлекает неожиданность и искренность, когда все это сочетается с правдиво образными картинками жизни. Мы же, как правило, сводим своеобразие художника к своеобразию его технологического аппарата, манеры изображения. И тогда действительно трудно отличить искреннюю заинтересованность в теме от конъюнктурного «отклика». Тогда можно оправдать любой разлад между твоим сценическим и гражданским поведением. Те, кто с такой яростью нападают на «самовыражение», замечают, что оно иногда «ведет» к идеализму, и упускают, что отрицание его может обернуться реальной опасностью «двойной бухгалтерии»: выразить не себя, не свою точку зрения, а общепринятую, независимо от того, разделяешь ли ты ее или нет. Но кому нужно неискреннее произведение?.. Страсти, «хотения» уничтожить зло и возвеличить добрые начала жизни, личного отношения — вот чего мне не хватает во многих спектаклях...

В заботе о правде жизни, объективности, темах и проблемах мы забываем, что

все это во многом зависит от позиции художника, богатства его личности. Дело не в словесных признаниях «роли художника» — недостатка в них нет. Как только спускается с теоретических высей на почву конкретной практики, все становится сложнее и запутаннее...

В самом деле, бездарность в искусстве обнаруживает себя не только в профессиональной беспомощности. Она прежде всего в бессилии выразить свое отношение к жизни, в отсутствии авторской программы. Корни бесталанности я вижу, помимо всего прочего, в социальном дилетантизме. Пользуясь «отработанным паром» уже апробированных искусством тем, проблем, идей, приемов, дилетант очень искусен в создании видимости гражданственности и видимости искусства, неспособного существенно повлиять на общественное сознание.

Может ли плохое искусство быть идейным? Казалось бы, ответ ясен. На деле это не так. Ложно понятая идейность оказывается тараном, который порой пробивает все эстетические препоны и критерии, давая зеленый свет халтуре. Мы привыкли судить о произведении искусства преимущественно с точки зрения его темы, сюжета, а не по авторской позиции. От этого выигрывают те, кто отсутствие программы сделал своей программой. Да, идейные задачи у советских художников общие, единые. Но это не освобождает каждого из них от определения своей личной — гражданской и эстетической позиции. У подлинного художника есть своя тема, свой любимый герой и «любимый» противник в жизни, которым он «верен» в своем творчестве. Он не «откликается» на актуальные темы, он — живет ими... Так же, как живет ими талантливый актер.

Талант — это осмысленная неожиданность». Вспомнила вычитанное где-то определение, посмотрев И. Смоктуновского в «Идиоте». Событие редкое и удивительное. Содрогнулась от одной только мысли, что оно могло и не произойти, не доберись он до своего Товстоногова. Спрашивается, что же это за режиссеры тех многих театров страны, где он прежде работал, оставаясь для них заурядным актером? И где гарантия, что множество других Смоктуновских не пройдут бесследно мимо настоящего искусства? Если «талант — редкость, — как говорил Ленин, — и надо его систематически и осторожно поддерживать», то гарантирует ли такое бережное отношение к нему сама структура жизни нашего театра?... Мы такого вопроса даже не ставим. А надо бы.

Я не знаю случая, чтобы где-то и когда-то главный режиссер «отчитывался» за творческую судьбу вверенных ему актеров. Ругают за репертуар, за невыполнение плана, за плохую организацию гастролей. На бесчисленных совещаниях и заседаниях обсуждается все что угодно, но только не основное богатство и ценность театра — талант. Актер талантливый и известный может годами не появляться в новых работах театра, исправно получая зарплату, и никто не будет трубить в рог. От актеров слы-

шишь нескончаемый стон, что «не дают играть». С завистью говорят о тех немногих театрах, где враз запущены и репетируются три-четыре пьесы, занявшие всю труппу.

Талант — это ценность, принадлежащая в сем у обществу. Оно дорогой ценой оплачивает его обучение и воспитание. А отвечать за него, частенько выходит, никому. А следовало бы спрашивать — и с самого актера, и с того, кому общество доверило его судьбу.

Равнодушие и бесхозяйственное отношение к таланту оборачивается резким снижением профессионального уровня актерского исполнения. Об этом хорошо сказал С. И. Юткевич в одном из выступлений. Слушая его, жалела, что не были в зале наши театральные режиссеры и актеры. То, что он говорил о кинематографе, по-моему, целиком относится и к сцене. Записываю по памяти.

— Играют актеры в наших фильмах чудовищно плохо. Клянемся «системой Станиславского», а естественность и правдивость игры стали почти «библиографической редкостью». На экране царствует театральщина в худшем ее виде. Какая-то бутафория мыслей и чувствований, приблизительность вместо подлинности...

Сколько драм происходит внутри каждого театра! О них не принято говорить, писать... Искусство, ничего не подделаешь, — жестокая и своенравная штука. Оно производит, так сказать, «естественный отбор», не различая званий и прошлых заслуг. Жизнь актера полна крайностей — «то вознесет тебя высоко, то бросит в бездну без стыда».

Но то и дело мучает сомнение: все ли можно подвести под «жестокую» природу искусства? Все ли драмы оправданы, естественны?.. Назову лишь три, весьма распространенные на театре.

Есть драма «первого успеха». Ты пришла в театр молодой, с репутацией способной актрисы (или актера), сыграла удачно одну-две роли, тебя заметили — зритель и критика. Успех, за которым, в большинстве случаев, не скрывается ничего кроме обаяния молодости, свежести, внешней новизны. Ты только на пороге мастерства. Первый успех — лишь вексель, который надо будет долго и долго оплачивать. И тут не упустить критической точки — не поддаться чувству самоудовлетворения. Каждый последующий шаг много труднее. Тебя занимают из пьесы в пьесу (на тебя идут, тебя любят), ты играешь все без разбора, все чаще повторяешься, не замечая, что эксплуатируется твоя... «первый успех». Мастерства еще нет, ум не пришел в гармонию с талантом, жизненного опыта с горсть, а роль следует за ролью — и ты скользишь по поверхности, не успевая накопить то, чем надо делиться. Начинается ранняя амортизация еще неокрепшего таланта.

А режиссер... Редкий режиссер сейчас берет на себя труд растить актрису, (актера), открывая ее в каждой последующей роли как бы заново. Гораздо проще заменить новым свежим личиком. И вот ты

уже редко появляешься на афише... Сколько их, «способных» и «даровитых», мелькнуло на театральном небосклоне за последние десять — пятнадцать лет, испытав лишь «первый успех»?!

Есть драма «возраста». Как ни странно, «возраст» актрисы сейчас сократился. Редко кто, перешагнув за тридцать лет, продолжает оставаться на авансцене. Нашли себя Нонна Мордюкова в кино, Нина Дмитриева и Юлия Борисова — в театре. Большинство же попадает в разряд бесперспективного «балласта», которым открыто тяготятся. И тогда они виноваты в том, что их много, что они стареют, от невнимания теряют веру в себя, виноваты даже в том, что они женщины, которых в современных пьесах меньше, чем мужчин.

Знакомая актриса рассказывает, что пришла в театр двадцатилетней, она играла в очередь с актрисой, которой было сорок пять. Находясь в великолепной форме, та начинала роль там, где двадцатилетняя ее заканчивала. Конечно же, вовсе не обязательно в сорок пять играть комсомолок. Ориентация на молодых естественна. Но помочь актрисе найти себя в новом качестве — необходимо. Случайно ли, что во многих наших театрах самой невыразительной частью труппы является именно «среднее» поколение? Думаю, что не случайно. Это результат нежелания повозиться с актером или актрисой в один из труднейших периодов их развития. Следствие потребительского отношения к внешним и внутренним данным актера, уродливого формирования труппы.

Я различаю постановщиков и режиссеров. Вторых сейчас можно сосчитать буквально по пальцам. Они не используют, они вospитывают актеров. И вот «вдруг» заиграл Ф. Ширвиндт, которого мы запомнили лишь по капустникам в Доме актера. А Э. Шарко блистательно сыграла роль в «Пяти вечерах», которую не всякий отважился бы ей дать, как это сделал Г. Товстоногов. Я благодарна А. Столперу, увидевшему в А. Папанове актера трагического звучания (Серпилин в «Живых и мертвых»)...

Есть драма «недогрузки». Известно, что актеру всегда «мало», он постоянно ощущает творческий голод, ему хочется играть и играть. В самом факте неудовлетворенности своей занятостью нет ничего страшного. И может быть, это нормально, что между спросом и предложением есть противоречие — оно по-своему стимулирует творчество. Но давайте задумаемся над тем, каких чудовищных размеров достигает это противоречие, если...

Если Г. Н. Федотова сыграла к своему 25-летию юбилею 215 ролей, М. Г. Савина за 40 лет работы в театре — 800 ролей, то А. К. Тарасова с 1916-го по 1965 г. сыграла 44 роли. О. Н. Андровская с 1921 года по 1965 г. только 35.

Комментарии, как говорится, излишни. Оговорюсь только, что существует лишь один способ поддерживать у актера хоро-

шее творческое самочувствие — загружать его работой, трудной и интересной...

Все это во многом связано с этикой театральной жизни.

«Этика театра. Есть простая истина: театр, в котором работаешь, надо любить даже тогда, когда он недостоин любви», — говорил А. М. Лобанов. Не всякому дано право проповеди такой этики. Андрей Михайлович завоевал его каждым днем своей жизни, без преувеличения, а б с о л ю т н о й верностью театру, который он любил больше самого себя. Эти слова не могут быть даже «цитатой» в устах многих других.

Отсутствие твердых этических устоев, перед которыми все равны и обязаны, — благодатная почва для возникновения множества конфликтов, невидимых зрителю, но сказывающихся на творчестве, судьбе актера.

Защищая актера, я ни в коей степени не склонна игнорировать и сложности внутритеатральной жизни и говорить о многочисленных примерах актерского эгоизма, заражающего театр духом «премьерства» и «сутяжничества» и подтачивающего нравственные устои творчества. Но преграду подобной «агрессии» актеров я вижу в утверждении твердых этических принципов — неписанных норм убеждения и поведения, обязательных для всех членов труппы.

* * *

...Я не знаю профессии, которая требовала бы более изысканных форм и более чистых нравов, чем театр.

(Д. Диор)

...10 часов утра. Сейчас звонок возвестит о начале репетиции. После получасового занятия на станке, которое обязательно для каждого актера, все собрались за кулисами. Сегодня особый день: две актрисы получили звания, и вся труппа душевно и искренне поздравляет их, друг друга с общей для театра радостью.

Но вот раздался звонок, и с двухминутным опозданием репетиция началась. На сцене давно стоит станок, весь необходимый реквизит на месте. Все уже знают, что первые полчаса пройдут в обмене «предложений», которые принесли с собой актеры и постановщик. Главный режиссер обладает завидным свойством выслушать любой «бред» и отыскать в нем драгоценное зерно. Не было случая, чтобы он оборвал или обругал актера. Его любимая фраза: «В споре побеждает старшинство мысли». Но он беспощаден к тем, кто приходит на репетицию лустым. Гнев его всегда справедлив и поэтому не обижает.

Атмосфера праздника, творческого обмена, созданная им на репетициях, раскрепощает, сообщает уверенность. Собранный сам, он никогда не суетится, требуя оставить «настроение», испорченное дома или на улице, за пределами театра. «Зрителю нет дела до вашего настроения, когда он смотрит спектакль!» — говорит он. И ни-

когда не вымещает плохое настроение на актерах. Актеры знают, что вечером он не уйдет из театра через парадный ход, и играют с ощущением, что среди сотен пар глаз есть и его — внимательные и строгие, не упускающие даже мелочей. Почти как на футбольном матче, где тренер выставляет оценки игрокам по пятибалльной системе. «Пятерок» или «троек» он, конечно, не выставляет, но всегда найдет время отметить актерскую находку или ошибку. По-видимому, считает, что актеры, как дети, — плачут «кому-то», делают «для кого-то».

На сцене идет честное состязание творчества, где нет победителей и побежденных. Сегодня ты победил, завтра — твой товарищ. А выиграло искусство, спектакль, роль. Вот и сейчас можно увидеть обычную сцену: актриса из первого состава подробно объясняет дублерше свое понимание роли, откровенно признаваясь в том, чего ей не удалось еще добиться в роли. Позже она будет внимательно следить за репетицией партнерши, чтобы потом поделиться с нею впечатлениями.

На доске расписания висит распределение ролей в двух следующих пьесах. Занята почти вся труппа. В одной ты играешь интересную тебе роль, в другой — нужную. Если по какой-то причине тебя не заняли в этих двух пьесах, в третьей обязательно займут. Иначе в этом театре не бывает. В начале и середине сезона главреж беседует с актерами об их творческих планах и предложениях. Очень много дают ежемесячные вечера «творческих заявок», на которых актеры показывают работу над ролью, которую хотят сыграть в очередь. Обсуждение идет откровенное, где каждый обосновывает свои «да» или «нет», а главный режиссер вместе с постановщиком спектакля принимают окончательное решение. Дирекция внимательно следит за равномерностью загрузки актера работой, исходя из прописной истины, что актер должен играть, иначе теряется квалификация, амортизируется талант.

На каждом спектакле — дежурный член худсовета. Главный режиссер время от времени следит за спектаклями других режиссеров. Нет спектаклей — «сынов» и спектаклей — «пасынков». Марка театра обязывает. Если бывает срочный ввод, постановщик проводит репетицию в полном составе сам, не доверяя это исполнителю главной роли или помрежу.

Атмосфера требовательности и взаимного уважения просвечивается во всем. В стенной газете вы можете критиковать любого члена коллектива, не рискуя нажить «врага», и все умное, дельное будет замечено и реализовано. Нет случая, чтобы партнер по сцене подвел тебя, чтобы от него пахло чесноком или винным перегаром. Руководство театра нетерпимо ко всяким проявлениям амикошества, делячества, премьерства.

И если этот театр пользуется многолетней любовью зрителя, так стабилен и дружен изнутри, то в этом нет ничего удивительного. Просто здесь господствует лишь один закон, перед которым все равны и обязаны, — закон искусства...

В БСЭ под словом «утопия» написано, что оно образовано из двух греческих слов: отрицание «не» и «место», то есть буквально — место, которого нет. Идиллия, созданная моим робким воображением, не идет дальше самых элементарных, саморазумеющихся вещей. Впрочем, может быть, такой театр и есть.

Возможна ли вообще этика, «практическая философия» в театре? Не мелочная регламентация, не сумма вывешенных для запоминания правил, а именно этика — неписанные законы внутритеатрального образа жизни. Этические ценности — это ценности убеждения и поведения, никем не навязанные, сложившиеся на практике, ставшие традицией, «молчаливо» исповедуемые всеми. Ведь «Этика» Станиславского не сочинена, а рождена изнутри — творческой историей МХАТа. Система эстетических воззрений здесь покоилась на прочной этической базе. Однако вряд ли можно перенести ее механически. Она должна быть выстрадана в каждом конкретном случае заново и самостоятельно.

В искусстве, как нигде, достоинства легко оборачиваются пороками: естественное стремление к индивидуальности — индивидуализм, эгоизм; авторитет таланта — диктатурой, бездоказательным навязыванием воли одного или группы всем, и т. д. и т. п. Нужны «сдерживающие центры», и я вижу их не в усилении административного начала (разбухание его обнажает слабость, а не силу), а в утверждении простых норм нравственности и справедливости. Единых для всех: со званием и без звания, старых и молодых, художественного руководителя и вспомогательного состава. Демократия обязанностей и демократия прав.

105-й МОСКОВСКИЙ

«По всем деревянным мостам через реку Язу, а также по Остроумовскому мосту запрещается проезд грузовых автомобилей, допускается проезд подвод общим весом не свыше 150 пудов.

Проезд автомобилей по Крымскому и Краснохолмскому мостам допускается исключительно по рельсам трамвая и притом со скоростью не более пяти верст в час при отсутствии на мосту в то же время вагона трамвая или другого грузового автомобиля...»

Эту запись на пожелтевшей страничке случайно ко мне попавших водительских прав, которые выдавались московским шоферам в 20-х годах, я рассматривал как чудом уцелевший папирус. Когда это было — «не свыше 150 пудов»? Всего лишь сорок лет назад.

Мосты всегда мне казались чем-то вечным, что строится раз и навсегда. И вдруг: «не более пяти верст в час». А вечны ли мосты сегодняшние?

У меня в руках все московские мосты, вернее их паспорта. Я — в архиве мостоиспытательной станции.

Сто четыре моста! Вот самый большой — двухъярусный метромост. Год рождения — 1958. Место рождения — Лужники. Длина — 1186 метров 20 сантиметров. А полкой ниже —

самый маленький мост, мост-карлик. Длина — 3 метра 10 сантиметров. Деревянный. Год рождения точно неизвестен, приблизительно XVIII век. Место рождения — водосброс Останкинского пруда. Построен во времена графа Шереметева, и надзор с тех пор за ним был неослабный.

От паспортов меня отвлек разговор начальника мостоиспытательной станции со стоявшим перед ним парнем. Предполагалось обследование моста. Понятно, я тут же попросил разрешения присоединиться.

Вскоре мы с Валерием Дровяниковым ехали к Большому Москворецкому. Все наше снаряжение состояло из микроскопа Бриделя и ручной дрели с победитовым сверлом.

...В гранитной стене дверь. Врезной замок, навесной, плomba: вход только посвященным — мостовичим, смотрителям мостов. Нам предстоит путешествие в нутро моста.

Шаг вперед. Сзади захлопывается дверь. Впереди — бетон, сзади — бетон, под ногами — бетон, по бокам — бетон. Первый трап, второй, третий. Поднимаемся будто из машинного от-

деления гигантского корабля на палубу.

Валерий нагибается, откидывает стальную крышку люка, ступает вниз. Я это понимаю как приглашение: «Следуйте за мной». Нащупываю ногой ступеньку, другую, наконец пол. Снова бетон. Вспыхивает луч фонарика. Пятно света скользит по стенам. Такие изолированные 8—10-метровые комнаты сейчас строят в новых домах Москвы. Только здесь жутко, промозгло и темно, да пол круто поднимается. Мы в верхней, первой арке моста.

Поднимаемся по изгибающемуся полу, небольшой прямоугольный лаз. Валерий проскальзывает в него. Я прохожу, слегка застряв.

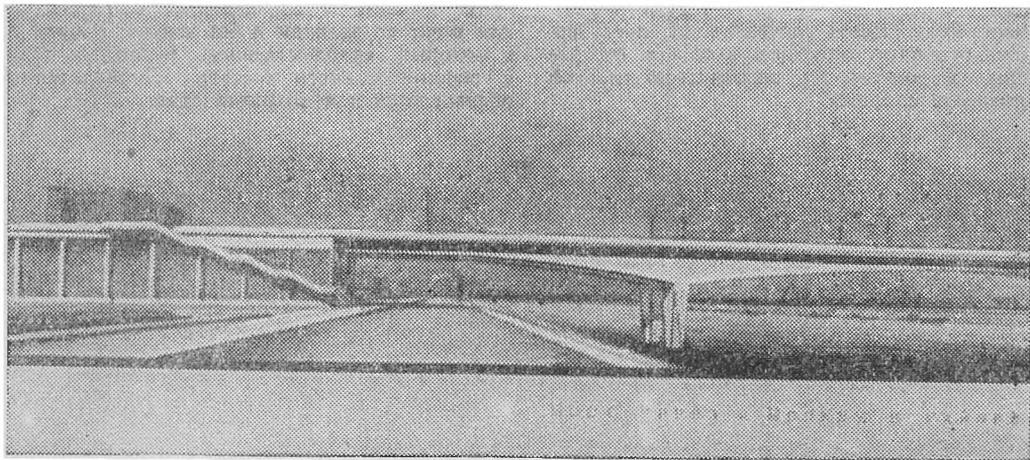
— Хорошо для тех, кто хочет сохранить фигуру,— бросает Валерий. Быстро обводит лучом света новую комнату и — дальше, в следующую лаз.

Третья комната — отсек. Выкарабкался из лаза и поскользнулся. Под ноги метнулся луч света.

— Осторожно,— предупреждает Валерий,— лед.

— Откуда? — удивляюсь я.

— Конденсация. Наби-



рается вода, стекает в одну сторону и замерзает. Редко когда даже за лето оттаивает.

...Луч фонарика выхватывает на стене надпись, сделанную мелом: «13.VIII — 50» и две непонятные черты.

— Дата одного из обследований, — поясняет Валерий. — А две черты — границы обнаруженной тогда трещины. Больше дат и пометок здесь не найдешь. Значит, при последующих проверках трещина не изменилась. Она и сейчас такая же. Пойдем дальше. В девятом отсеке есть трещины поинтереснее.

Вот уже двадцать восьмой год идут по мосту машины, люди. Они ни на секунду не задумываются — выдержит ли мост, устоит ли? Они привыкли: раз мост есть — он все должен выдерживать. Они и не знают, что за ним наблюдает наблюдатель. В случае чего — наблюдатель забьет тревогу.

...Последний лаз — девятый отсек. Это над серединой реки. Впереди стена. В нее вмурован замок, или ключ моста, то есть шарнир, соединяющий две полуарки. На стене белые наплывы — соль. Бетон выщелачивается.

— Вот видишь, — Валерий ведет рукой вдоль еле видимой, чуть толще паутины, трещины, — недавно появилась. — Потом представляет к ней микроскоп Бринеля. Я свечу фона-

рем. — Четыре десятых миллиметра. Пока не растет.

Я тоже заглядываю в микроскоп. Там гигантский ледник с черным ущельем посередине — наплывы соли и трещина.

Возвращаемся назад. В седьмом отсеке надо просверлить основание мачты, в просторечии — фонарного столба. Просверлим, узнаем состояние столба, долго ли еще прослужит.

...Едем обратно. До сих пор молчаливый Дровяников вдруг перешел на ты. Говорит о мостах. Зачем их делают такими громоздкими, сложными? Для обслуживания требуют много сил, людей. Частые ремонты. Или, возьми — какой хитрый подход к важным узлам в двухъярусном мосту в Лужниках. Об этом не думают, когда проектируют. Надо делать мосты, как Химкинский — все закрыто. Только шарниры смазывать — забот почти никаких. Тем паче, что техника-то не стоит на месте. Городу нужны будут куда более мощные мосты...

Валерий плотно сжал губы. Смотрит отсутствующим взглядом. Быть может, в эти минуты он видит мосты-гиганты, мосты будущего.

— Побывай на Шелепихинском мосту, — встрянувшись, посоветовал Валерий. — Красавец будет. Стоит познакомиться...

К красавцу я добрался через путаницу Шелепихин-

ских переулочков, тупичков, железнодорожных путей товарной станции. Мост возник неожиданно. Повернул за угол деревянного домика, смотрю: впереди вздыбилась железобетонная громада. А вокруг крошечные по сравнению с ним его создатели.

Иду по Шелепихинскому. Вот и середина. Здесь мост во всю ширину разрезан надвое сквозной щелью: обе половины висят. Становится немного не по себе: чего стоит такой машине надломиться да упасть. Бр-р-р...

Навстречу с другого берега едет автокран. И та, противоположная сторона моста, начинает опускаться, а впечатление — что падает. Сантиметр, два... четыре. Это ясно видно по прорези. Потом машина пересекает щель, и «падает» половина моста, на которой стою я. Спешу спуститься вниз, на правый берег. Мне сказали, что там найду проектировщиков.

В комнате старого домишки один к другому тесно прижаты столы с чертежными досками. За столом, почти у самой двери, на мои шаги обернулся человек, видно — инженер: с карандашом и линейкой в руках.

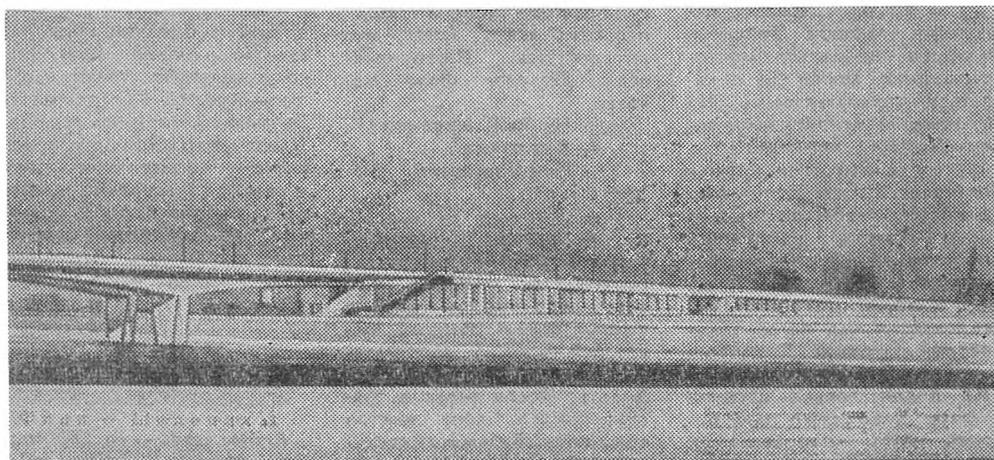
— Здесь ли проектировщики?

— Здесь...

Знакомимся.

— Рудомазин Николай Николаевич...

Рудомазин! Главный ин-



женер проекта моста! Вот он сидит передо мной и смотрит на меня, полуиронически - полувыжидательно улыбаясь...

— Длина моста? — деловито спрашиваю я, раскрывая блокнот.

— 128 метров — пролет над водой... Сам мост — 260 метров, с подходами — 700.

— Почему мост «падает»?

Николай Николаевич переспросил. Получив разъяснение, ответил:

— Правильно, мост «падает». Но ровно настолько, насколько ему позволяют это делать 960 тросов.

Я стоял на мосту, а под моими ногами, оказывается, под слоем раствора, сплелись в жгуты десятки тысяч стальных нитей. Мост еще не был соединен замком. По четыре полуарки с каждой стороны — две речные и две береговые — уравновешивали друг друга.

Удерживаемая тросами полуарка над рекой поднималась и опускалась как трамплин. 470 тонн троса удерживали 20 тысяч тонн моста в горизонтальном положении.

Теперь, когда я пишу эти строки, речные полуарки уже соединены стальными шарнирами, и полуарки поддерживают друг друга. Но мост в своей самой верхней точке все равно будет «падать». Ведь бетон имеет особое свойство: под давлением тяжести он «течет». Поэтому сантиметров на 30—40 мост опустится.

Я задаю главному инженеру проекта вопросы, которые, по-моему, мостостроителю могли бы показаться примитивными. Но Рудомазин мгновенными задумывается, смотрит на чертеж и без тени иронии отвечает. Потом вдруг оказывается, чтобы ответить — надо сделать небольшой подсчет, хотя уж были произведены тысячи расчетов.

Николай Николаевич склоняется над логарифмической линейкой. Я смотрю в окно. Отсюда, из комнаты, виден только кусочек моста. Рудомазину его видеть наяву необязательно.

Мост весь в его голове...

— Бетон — семь тысяч кубометров... асфальт... — в визире логарифмической линейки мелькают цифры. — Вес — двадцать одна тысяча триста тонн. Самая тяжелая деталь — сто восемьдесят три тонны. Это железобетонный отсек арки, примыкающий к опоре моста. Ставили деталь двухсоттонным краном.

Потом я задаю «личные» вопросы. Известный стране строитель мостов краснеет, но отвечает:

— Рождения? Тысяча девятьсот девятнадцатого... МИИТ... Поступил в тридцать шестом. Закончил...

Я вдруг вижу покаленную руку собеседника...

...41-й год. Война. В Москве остался проект студента Николая Рудомазина: «Усиление моста через реку Суру».

— В сорок третьем — ранение... Год в госпитале... — Николай Николаевич усмехнулся. — Разрывная пуля и небольшая газовая гангрена. Потом — окончание дипломного проекта. Защита. И работа... Восстанавливали то, что еще год назад разрушал. А теперь вот... главный инженер проекта...

Николай Николаевич рисует варианты Шелепихинского моста. Особенно тщательно он прочерчивает контуры Шелепихинского такого, по которому я только что ходил. Нравится он ему.

Вспоминаю встречу с архитектором Константином Николаевичем Яковлевым. Архитектор усадил меня напротив себя. Узнал, что интересуюсь Шелепихинским. Показал фото макета.

— Ну как? Нравится?

— Как птица.

— Почувствовали напряжение?

— Да.

— Знаете, милый, — вдруг заговорил Константин Николаевич, положив мне руку на плечо, — ведь я строил самый первый советский мост в Москве — метромост. У Киевского. Знаете? После этого в Москве много моих мостов строилось. Возьмите двух-

ярный, возьмите Новоарбатский. Но такого, как Шелепихинский, у меня еще не было... Только сейчас, после сорока лет работы, я начал по-настоящему чувствовать мост. Мост должен быть простым и красивым. Соединение этих двух качеств и есть настоящее искусство.

Пауза. И — безо всякого перехода:

— Рудомазин не знает? — и сам ответил: — Хороший инженер. Как мы с ним, милый, дрались! Перья летели! Никогда ни с одним инженером я так не дрался. Лестничные сходы обсуждали — ох, ругались. Если бы кидались камнями — на лестницу б хватило. Я ему такой рисунок, а он мне навстречу — расчет. Я снова рисунок — он расчет. Подумаем... и снова. Хорошая была драка! Да, милый, и мост неплохой получился. Вы знаете, милый, Росси строил Александринский театр в Петербурге. А строила рассчитывать Николай I пригласил инженера Бетанкура. Росси заявил тогда: «Если Бетанкур придет, я повешусь на стропиле». Это ведь великий зодчий! Не повесился... Да, милый. Мост — детище инженера и архитектора...

...Минул год. Еще раз поднимаюсь на Шелепихинский. Отсюда, сверху отличный обзор. На левом берегу, ныряя под путепроводы, стремительно летит к мосту Красногвардейская улица. А на правом берегу, будто приняв эстафету, уходит стрела Большой Филевской. По одну сторону в кружеве ветвей Филевский парк, по другую — шпиль высотного на площади Восстания, дальше — Арбат... Так рождается новая магистраль города. Мимо мчатся машины и, наверное, водители не задумываются: насколько теперь стала короче дорога, сколько часов сэкономил сегодня, сэкономит для будущего этот мощный союз бетона и стали.

А. Кричевский

МОСКВА 1970

Продолжение — на 208 стр.

УБИЙЦЫ БОЯТСЯ ПРАВДЫ

М. Рольникайте. Я должна рассказать. М. Политиздат. 1965. 200 стр. Цена 26 коп.

Тридцать лет назад весь мир с содроганием читал роман Вилли Бределя «Испытание». Кто мог предположить тогда, что эта на шумевшая книга немецкого писателя-коммуниста лишь откроет нескончаемый список произведений об ужасах фашизма.

Расправа, учиненная Гитлером своему собственному народу, была, как показало будущее, лишь сравнительно скромным началом. Европа присутствовала при черновой репетиции грандиозного по своим масштабам зрелища разрушения и смерти.

Сегодня, спустя четверть века после того, как Гитлер развязал вторую мировую войну, у нас нет недостатка в документах, обличающих фашистское варварство. И каждый из них, будь то кровавая повесть о Маутхаузене или Бухенвальде, Освенциме или Трешлинке, — уже сам по себе, вне прочих свидетельств о злодеяниях фашизма, способен внушить людям вечную и неистребимую ненависть к палачам и убийцам.

Но даже между этими документами есть определенные градации и оттенки, есть свои особенно страшные и скорбные страницы, свои трагедийные вершины. К таким страницам в первую очередь, вероятно, принадлежат дневники и воспоминания детей, попавших в лапы фашистских вурдалаков. Сердце останавливается, когда читаешь эти записки, с их ребячливой наивностью и в то же время едва ли не старческой умудренностью в превратностях человеческой жизни.

Кому не известен дневник Анны Франк — эта горькая правда о трагедии ребенка, ставшего жертвой расовой доктрины гитлеризма. Она потрясла людей всех континентов и всех оттенков кожи. Но Анна Франк не пережила и не увидела того, что пережила и увидела другая девочка — четырнадцатилетняя школьница из советского города Вильнюса — Маша Рольникайте.

Маша Рольникайте прошла через весь ад изощренных надругательств фашистов над людьми. Ей ведомы такие страдания и такие кошмары, по сравнению с которыми меркнут картины, созданные фантазией великого итальянского поэта XIV века.

Данте казнил тиранов, насильников и убийц — огнем, а предателей — холодом. Но казнь эта в XX веке считалась бы легкой. Людей, чью судьбу Маша Рольникайте делила на протяжении ряда лет, истязали не

спеша, с дотошной аккуратностью и рассчитанностью каждого шага. Им постоянно внушали веру в спасение лишь для того, чтобы ее затем как можно больнее и безжалостней задушить. Фашисты были отменными психологами. Они отлично понимали, что самая страшная пытка — пытка неизвестностью, самая великая мука — не смерть, а ее бесконечное ожидание, самые страшные похороны — похороны рухнувших надежд.

Записки М. Рольникайте о жестокости, о зверях в человеческом образе, об уничтожении многомиллионного народа, уничтожении, которое с предельной продуманностью было скалькулировано в гитлеровской бухгалтерии смерти.

Иногда говорят, что мир до Гитлера не знал такого бандитизма, такого грандиозного разбоя. Это не совсем так. Прошлое человечества богато многочисленными фактами и садизма и зверств. Власть диктаторов и тиранов всегда и во все эпохи неизбежно приводила к оргии убийств и кровавому истреблению народов. Имена Кира и Сеннахериба, Нерона и Атиллы, Тамерлана и Чингис-хана навеки вписаны кровью в скрижали истории. Персидские цари, римские цезари, монгольские ханы, католические инквизиторы не только уничтожали людей, они стремились ликвидировать целые нации, так, чтобы даже память о них развеялась и затерялась в сознании человечества.

И кто бы мог подумать в наши предвоенные годы, что история повернется вспять. И мертвые выйдут из своих могил, чтобы хватать живых. Кто мог предугадать тогда невиданные масштабы фашистского варварства и весь тот ужас, который обрушится на миллионы людей, не знающих за собой иной «вины», кроме той, что они не принадлежат к «высшей расе».

И уж, конечно, ничего не могла знать и даже догадываться об ожидающем ее школьница из Вильнюса, глубоко убежденная в том, что она живет в век справедливости и культуры. В Вильнюс вступили гитлеровские орды. И сразу же привычный мир ее понятий и представлений рухнул в пропасть, а взамен пришел другой, открывший ей подлинный смысл слов — «жизнь» и «смерть», «бытие» и «уничтожение».

Столетия прошли с тех пор, как на картах европейских городов исчезло уродливое порождение средних веков — гетто. Фашисты бесстыдно возродили средневековые обычаи и нравы. Они согнали евреев Вильнюса в несколько кварталов, заперли прочными замками, подвергли унижительной изо-

ляции от прочих граждан города, отрезали от всего мира.

Из двух вильнюсских гетто одно уже в первые же дни их организации было «ликвидировано». Девять тысяч человек без суда и следствия, без вины и приговора были расстреляны и сброшены в наспех вырытые ямы.

Узников другого гетто оставили до поры до времени в живых. Однако на долю этих людей, рассказывает Маша Рольникайте, выпали такие страдания, что для многих из них умереть сразу было бы куда легче.

Чего только не повидала М. Рольникайте за эти годы. Ей повесили на шею бирку, ее били и топтали ногами и заставляли смотреть на кровавые забавы гитлеровцев. Судьба была «милостива» к ней. Она не попала в геттовскую тюрьму, где люди днями стояли вплотную друг к другу, не в состоянии ни сесть, ни пошевелиться; ее не убили, как тех, кто, пытаясь спасти своих детей от голодной смерти, осмеливался внести в гетто из города кусок хлеба. Ее не уничтожили только за то, что она не знала никакого ремесла.

И вот, используя предоставленную ей отсрочку, Маша писала и писала. Писала все долгие годы фашистской оккупации. Писала и в гетто, и в концлагерях, наперегонки со смертью, страстно желая рассказать людям правду о злодеяниях фашистов. Она вела свой дневник под угрозой пыток и уничтожения. А когда вести записи оказывалось невозможным, она заучивала текст наизусть, стараясь сохранить каждую подробность того, что ей пришлось пережить, увидеть.

Мы узнаем из дневника и о том, как Маша прятала от немцев свой пионерский галстук и мопровский значок отца, и как жили люди, отрезанные от мира высокой стеной расового отчуждения, жили, пытались учить детей, пытались наладить какое-то жалкое подобие своей жизни, и как, наконец, тщето пытались перехитрить смерть.

Дети гетто! «В грязном узком дворе, под мрачными гнетущими сводами, они ведут хоровод, поют. Глазенки блестят... Бледные личики, натертые деревянными башмаками ножки. Они тоже враги фюрера. От них тоже надо очистить Европу».

Великий русский писатель однажды сказал, что все в мире ничто по сравнению со слезами ребенка. Но сколько этих слез пролили дети XX века!

Фашисты не только расстреливали детей, они их еще и истязали. И если ребенка «просто» убивали, а не мучали, уже одно это могло служить для осиротевшей матери утешением!

С юности мы знаем великую книгу Шарля де Костера о Тилле Уленшпигеле. Тилль ходил по несчастной земле Нидерландов и везде видел головы, торчащие на шестах. Он видел, как трупы убитых бросали в реки, видел распятых на крестах мужчин и женщин, закопанных в землю. Горели костры, далеко распространялся вокруг запах поджаренного человеческого мяса.

Но даже и в те страшные времена убийство ребенка считалось страшным делом. Когда садист и предатель старый Рыбник прокусил железными зубьями вафельницы горло пятнадцатилетней девочки — город Дамме погрузился в траур. Все хотели видеть пойманного Тиллем убийцу. Целые толпы шли по улицам города с криками: «Проклятие оборотню!» И если бы судьи не казнили этого дьявола в образе человека — народ бы сам растерзал его на мелкие кусочки.

В средневековом городе Дамме нашелся один убийца детей. В фашистской Германии XX века их были тысячи. Некоторые из этих палачей остались в памяти М. Рольникайте. Старшиной одного из блоков в концлагере гитлеровцы поставили некоего Макса, осужденного за убийство своей жены и детей. Макс выслуживался перед своими хозяевами как мог: избивал всех, кто только ему попадался, до смерти.

Командант гетто Мурер мучил и убивал людей тысячами. Но его превзошел другой эсэсовец — Китель. Приехав однажды в торфяной лагерь, он велел собрать всех заключенных в сарай и произнес речь. Смысл ее был таков: «будете работать — будете жить». Подняв у рабочих настроение, Китель велел закрыть сарай наглухо и поджечь его. Пока люди горели, он стоял невдалеке и любовался этим своеобразным костром.

В балладе английского поэта начала XIX века Саути — «Суд над епископом» рассказано о том, как в голодный год епископ Готтон заманил в свое поместье крестьян, обещая накормить их. Однако опасаясь, что «жадные мыши» сожрут его богатейшие запасы, Готтон распорядился запретить их в амбаре и сжечь. Бог покарал Готтона. Мыши, уже реальные, сначала уничтожили амбары с зерном, а затем сожрали заживо их хозяина.

Но Муреру и Кителю божий суд не был страшен. А от человеческого суда они ушли без труда. Как сообщает в своем предисловии к запискам М. Рольникайте литовский поэт Эдуард Межелайтис, Франц Мурер давно на свободе и служит в каком-то из австрийских банков. А сколько таких Муреров до сих пор преуспевает в одной лишь ФРГ, чувствуя себя более чем уверенно под крылышком боннского рейха!

Трагическая сила и выразительность записок М. Рольникайте не объясняется одной лишь чудовищностью и непровержимостью сообщаемых ею фактов. Да, перед нами дневник. Больше того — дневник ребенка. Но он обладает настоящими художественными достоинствами. Удивительно и необычно слились в нем точность документа и яркость изложения, мужество летописца и талант рассказчика.

Многое здесь навсегда врезается в память читателя. И сама фигурка Маши в нелепом бальном платье с голой спиной, едва прикрытом стареньким пальтишком, и рожища, умиряющая на мостовой, и развалины взорванного гитлеровцами дома, среди которых торчит оторванная детская ручка, и жуткая телега с вещами только что раз-

детых и убитых людей. «Телега движется по узкой мостовой. Одежда шевелится, будто живая... Свисающий рукав. Вчера утром человек, одеваясь, засунул в него свою руку. А теперь эта рука уже застыла... Детское пальтишко... Сколько лет было ребенку, который его носил? Шапка. Кажется, будто она прикрывает срубленную голову. Шапка скользит... Под нею торчит ботинок...»

Записки М. Рольникайте, и в этом их особая ценность,— записки не только об ужасах гитлеровского ада, но и повествование о силе человеческого духа, о «чувстве локтя», возникающем у людей в борьбе за свободу. Это бесконечно мрачная и в то же время оптимистическая книга. Как и миллионы других узников концлагерей, Маша с нетерпением ждала Советскую Армию. И дождалась...

Прошли долгие месяцы и годы, прежде чем советский солдат смог сказать узнице фашизма эти простые и столь сердечные слова: «Не плачь, сестрица». И ночь, нависшая над Европой, растаяла в лучах солнца, которые принесли измученным людям солдаты с Востока.

Уцелевшие вернулись на свои пепелища. Жизнь продолжалась, и те, кому было суждено жить, навсегда сохранили в своих душах светлую память о погибших.

С момента описываемых Рольникайте событий прошло больше двадцати лет. Мертвые давно спят беспробудным сном в своих могилах — никто и никогда не вернется из понырских ям. Живые заняты своим делом. Все в мире встало на свое место, и может показаться, что записки М. Рольникайте безвозвратно принадлежат прошлому.

Конечно, двадцать лет — это большой срок, но недостаточный для того, чтобы человечество забыло о своих ранах, об ужасах пережитого, о тяжелых потерях.

Пусть дневник советской девушки прочтут в Бонне, там, где вчерашние эсэсовцы и душегубы сегодня снова занимают важные посты, там, где ломают головы, как спасти от наказания преступников, по которым давно тоскует веревка.

Пусть эту книгу внимательно прочтут и за океаном. Может быть, и там она кое-кого отрезвит и приведет в чувство.

Костеровский Рыбник, сгорая на костре, иступленно кричал гражданам нидерландского города Дамме: «Я еще вернусь к вам, приду вас кусать!»

И вот они уже опять возвращаются — эти кровавые тени прошлого, вооруженные на сей раз ракетами и сверхзвуковыми истребителями, отравляющими газами и напалмом.

Но убийцы всегда боятся огласки своих деяний. Они боятся правды. Ни одно злодейство нельзя надолго утаить от общественности, от мнения народов. Печатное слово всегда выдавало и будет выдавать темные махинации насильников и бандитов.

И кто знает, возможно, и сегодня, пока американские бомбардировщики совершают свои очередные налеты на территорию Ин-

докитая, какая-нибудь девушка во вьетнамских джунглях, похоронившая и оплакавшая своих близких, уже ведет, уже составляет счет злодеяниям агрессоров. И ее искренние слова, полные недоумения и любви к людям, и ее детское — «не хочу умирать» — скажут миру больше, чем скупые строки газетных передовиц и телеграфных сообщений.

Арк. Эльяшевич

МУЖЕСТВЕННОЕ СЛОВО

Сергей Наровчатова. Четверть века. Стихи. М. «Молодая гвардия». 1965. 168 стр. Цена 46 коп.

Более четверти века назад, когда в заснеженных лесах Карелии прозвучали первые выстрелы финских белогвардейцев, вместе с бойцами Красной Армии боевую закалку получила группа студентов московских высших учебных заведений. Как настоящие мужчины прошли они испытание огнем и морозом. Некоторые навсегда остались лежать на бугристом финском насте. А тот, кто вернулся домой, не раз вспоминал потом эти тяжелые дни. Уроки суровой жизненной школы всегда оказываются полезными.

Среди студентов-добровольцев был и молодой поэт Сергей Наровчатова.

В романе Анатолия Злобина «Самый далекий берег» есть памятный эпизод: бойцы штурмового батальона, не имевшие никакого прикрытия на гладком, обметенном поземкой льду, в качестве своеобразных щитов использовали окоченевшие тела своих погибших товарищей. Так и двигались они к «самому далекому берегу», прикрываясь от вражеских пуль этими «щитами». А Злобин написал свой роман совсем недавно, а вот строки из стихотворения Сергея Наровчатова, помеченного сороковым годом:

Здесь мертвецы стеною за живых!
Унылые и доблестные, черги,
Мы баррикады строили из них,
Обороняясь смертью против смерти.

За ними укрываясь от огня,
Я думал о конце без лишней грусти:
Мол, сделают ребята из меня
Вполне надежный для упора бруствер.

Кула как хорошо с меня стрелять,
Не вздрогну под нацеленным оружием...
Все, кажется, сослужено... Но глядь,
Мы посаж смерти тоже службу служим!

С тех пор как было написано это стихотворение, немало утекло воды, но память все вновь и вновь возвращается к эпизодам незабываемой фронтовой юности. Стихи С. Наровчатова о Великой Отечественной войне немногословны, на них лежит налет аскетичности, сдержанности, присущих тому суровому времени. И в то же время они полны жизни, красок, движения. За внешней собранностью, напряженностью, одноцветностью людей скрывался мир самых противоречивых, сияющих многообразными оттенками чувств. Раскрыть все это богатство немногими, до предела скупыми стро-

ками — нелегкая задача. Поэт справился с нею. Он слышал окопные разговоры —

О любви без горечи потерь,
О стихах без слепоты разлук —

и мужественно рассказал правду и о любви, и о разлуках, и о потерях. Весь образный строй его стихов служит этой цели. Не отделяя обычного от необыкновенного, он рисует это обыкновенное в каком-то новом романтическом свете. И становится ясно — на войне обыденного, обыкновенного вообще не было.

В основу своих стихотворений-баллад (почти все они обладают отчетливо очерченными сюжетами) С. Наровчатов кладет несложные, на первый взгляд, эпизоды фронтовой действительности. Но именно на первый взгляд. Расцветившие радужным вымыслом эпизоды эти переплавляются в тревожащие воображение картины:

Я подпалил костер зарницей,
И стал костер светлее дня,
И камни, лешие и птицы
Со мной уселись у огня.

Мир мечты сливается с миром яви. Во многих стихотворениях поэт использует детали, увиденные в совершенно неожиданных поворотах. Они выразительны. На них лежит неизгладимая печать времени: «Семафор на пути отправленья маячит (После пойдем — в окруженья прямо!)», «Женщина несла пустую кринку, чтоб с пустыми не идти руками»... Подобных находок много. Они впечатляют. Особенно богаты ими стихотворения «Отъезд», «Твое имя», «Пропавшие без вести», «Солдаты свободы».

Сергей Наровчатов редко радуется нас новыми произведениями. Об этом в свое время говорил А. Фадеев: «...Нужно, чтобы Вы больше писали, чтобы новое, как и старое, не рассыпалось на отдельные удачипробы, броски туда или сюда, а чтобы были далеко идущие замыслы, чтобы все гармонизировалось в циклы, выношенные, продуманные, целеустремленные». Поэт внял совету своего старшего товарища: циклы стихотворений (о войне, о Дальнем Востоке, о мирных днях современности) в его книге отличаются продуманностью, целеустремленностью.

Основная тенденция «военного» цикла — передача скромного достоинства, с каким советские люди выполняли свою освободительную миссию. Сама Европа бросилась на грудь поэту-бойцу («Солдаты свободы»). Недавние узники фашистских концлагерей делились своей радостью и болью с освободителями («Дорога в Тчев»).

Произведения, собранные в книгу «Четверть века», оптимистичны. Правда, оптимизм С. Наровчатова не всегда приметен, некоторые его стихотворения поначалу кажутся проникнутыми мрачноватым сарказмом. Но когда взглядишься пристальнее, становится ясно: поэт принимает жизнь в ее многообразии и подчас сложных проявлениях. А главное у него — любовь к людям, в каких бы трудных ситуациях они ни находились, как бы внешне неприглядно ни выглядели. Во многих стихах Наровчатова

мы вместе с поэтом видим проблески людского счастья на горизонте, и в этом, на наш взгляд, подлинный оптимизм, который отличает творчество нашего автора.

С. Наровчатов — и сатирик. Сатирическая струя проявляет себя во многих его стихотворениях и особенно в «Базарной Галатее». Порождение дурного, низменного вкуса, эта «Галатеея» разлагает все, к чему бы ей не пришлось прикоснуться. Старая тема гоголевского «Портрета» получает тут новое, современное воплощение. И вот это умение осовременивать, делать живыми старые «вековые» сюжеты — также одна из характерных сторон наровчатовского таланта. Художник, композитор, заведующий магазином — кто бы ни прикоснулся к базарной Галатее, сразу же пропитывается духом базара, духом тины и разложения, теряет человеческий облик, проваливается в болото. И единственная возможность избежать гибели — навсегда отречься от базарных вкусов, брать только то, что дается по самому большому счету.

Брать от жизни все по самому большому счету — таков лейтмотив всей книги «Четверть века». И сама жизнь предъявляет большой счет людям.

Цикл произведений о современности завершается стихотворением «Времена года». Они зажигают нас пламенем всепобеждающей жизни:

Мы с вами таким же горением живы,
И плавит текучее солнце нам жилы.
В крутых берегах не теряется след,
Слепит новизною приречный рассвет.

В книгу «Четверть века» включены и две поэмы: «Василий Буслаев» и «Песня про атамана Семена Дежнева, славный город Великий Устюг и Русь заморскую». Герой былины и исторический деятель чем-то сходны между собой: оба присоединили новые земли к родной Руси, оба отличались удивительной, безудержной смелостью, оба постоянно боролись против того, что мы теперь называем «рутиной». И поэт, стремясь к воссозданию подлинной исторической обстановки, старается показать, как рождался подвиг, понять психологию тех далеких дней и людей.

Поэт в полной мере владеет здесь приемами поэтического сказа: сюжеты его поэм движутся естественно, захватывая в свою орбиту все больше и больше интереснейшего материала. Узорчатое, емкое, цветистое слово так и переливается, поражая многообразием ритмов в «Василии Буслаеве», увлекая строгой вязью в «Семене Дежневе». Да, это то большое мастерство, за которое С. Наровчатов постоянно борется, выступая в качестве критика и автора литературных обзоров на страницах «Известий» и «Литературной газеты». Его поэтическая практика может дать авторам не меньше, чем его критические наставления.

Небольшая книжечка «Четверть века» вобрала в себя результаты двадцатипятилетней самоотверженной поэтической работы. И любителю поэзии она доставит немало радости,

Л. Вольпе

ОЧЕРКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Виктор Панков. *Воспитание гражданина*. М. «Советский писатель». 1965. 370 стр. Цена 89 коп.

Широко известны такие работы критика В. Панкова, как «Главный герой» и «На стрежне жизни». В них прослеживаются пути послевоенной литературы вплоть до начала шестидесятых годов. К ним примыкает и его новый труд «Воспитание гражданина».

Что греха таить, подобные «высокие» названия порой отпугивают читателя: он опасается, что ему преподнесут сонм прописных истин, которыми автор ловко жонглирует, оставаясь на поверхности жизненных явлений. Взяв в руки книгу В. Панкова, такой читатель-скептик приятно ошибется. Ведя партийно-целеустремленный разговор о литературе наших дней, отмечая нарастание в ней гражданского пафоса, автор далек от мелочной нравучительности. Он отлично сознает, что воспитание средствами искусства — особый вид воспитания. И социально-политические, этические, философские категории только тогда придут в искусство в движение, когда будут осознаны художником и представлены читателю как эстетически многообразные величины.

В сущности содержание книги В. Панкова шире ее названия. Гражданская тема является важнейшей, но не единственной среди тем, совокупность которых призвана отразить все богатство, всю сложность жизни нашего общества. «Воспитание гражданина» скорее не «книга статей», как сказано в аннотации, а очерки литературы наших дней, отличающиеся большим внутренним единством: автор следит за движением всего огромного литературного потока, отбирает в нем наиболее характерное.

В известном смысле работу В. Панкова можно уподобить деятельности и кинорежиссера, создающего художественный фильм, и кинодокументалиста. Если первый долго компанует кадр, тщательно продумывая его композицию и любовно взвешивая каждую подробность, то второй обязан хроникально запечатлеть события просто потому, что они имели место и о них надо знать ради полноты картины. Тогда и может возникнуть некоторая суховатость и безэмоциональность изложения. Но это скорее не упрек, а просто констатация факта. Все зависит от жанра. И не странным ли выглядело бы требование, чтоб критик относился с ярко выраженной активностью решительно ко всем произведениям?

В книге В. Панкова анализ идейного содержания произведений неизменно дополняется суждениями об особенностях формы. Читатель найдет здесь много тонких наблюдений. Но все же меня временами тревожит вот какой момент. Читатель, который не знаком с самими книгами, из труда В. Панкова может вынести впечатление о равнозначности вещей, в действительности расположенных в разных художественных горизонтах. Мне кажется, к примеру, такая

очень значительная вещь, как «Большая руда» Г. Владимова, как-то теряется здесь в перечне далеко не равных ей сочинений.

В последнее время все большее значение при исследовании литературы придается не только анализу «канонического» текста, но и вариантов, предшествовавших его созданию. Тем самым мы получаем возможность проникнуть в мастерскую художника и представить, «как это делается». Такой подход осуществляется применительно к классикам, чьи архивы приведены в строгий порядок. Тем более радостно встретить в книге суждения, возникшие в результате сопоставления редакций новейших произведений. В. Панков-текстолог интересно сравнивает, например, американские «Отступления» А. Вознесенского в журнале и книге, а при разговоре о «Лонжюмо» привлекает даже машинописные варианты, обогащая наше представление о поэте.

Тон, которым ведет разговор критик, ровный, спокойный, деловой. Без наклеивания ярлыков. Вне групповых пристрастий. Для него не важно, где опубликовано: важно, что опубликовано. Доброжелательность не покидает автора даже тогда, когда он подвергает произведение довольно резкой критике. И это не снисходительность к допущенным ошибкам, а вера в возможность их преодоления.

Однако между ровной стилевой тональностью и компановкой составляющих книгу «эпизодов» есть все же несоответствие. Если продолжить кинематографическое сравнение, то автор частенько использует ускоренную съемку. И тогда на экране начинают мелькать люди, годы, жизнь... И страшно хочется, чтоб мгновенные остановилось — независимо от того, прекрасно оно или нет. Просто в нем надо разобрататься. Методом ускоренной съемки «сняты» споры о молодой литературе и «четвертом поколении». Слишком быстро скользнул объектив по таким книгам, как «Романтики» Н. Хикмета, с их необычной стилистикой (любопытное использование «потока сознания»), и «Тишина» Ю. Бондарева. А некоторые явления вообще остались «за кадром».

С некоторыми оценками критика трудно согласиться. На мой взгляд, явно преувеличены в Черепнине из липоватского «Чужого» изменчивость, приспособление к чужим взглядам, или «флюгерство», как выражается критик. Напротив, Черепнин выработал свою нехитрую «философию» и достаточно верен ей. Порой в оценке звучат отголоски нормативности. Таково, к примеру, суждение критика о повести С. Залыгина: «Повесть «На Иртыше» не охватывает всех проблем коллективизации». Но разве это обязательно? И разве должно художественное произведение быть просто уменьшенной копией всей исторической картины? То же можно сказать и о роли кавторанга у Солженицына. Будь он показан в полный рост, автору пришлось бы менять замысел: Буйковский не «удожился» в восприятии Шухова. Но это было бы уже другое произведение.

Примечательной особенностью работы

В. Панкова является то, что он постоянно привлекает суждения других критиков,— явление у нас, скажем прямо, не слишком распространенное. Стремление не рядиться по каждому поводу в тогу первооткрывателя, своеобразное чувство профессионального коллективизма похвальны. Но иногда автор ударяется в противоположную крайность и оказывается излишне снисходительным к тому, сколь оригинальны, глубоки и заслуживают поддержки суждения отдельных его коллег.

Между тем в некоторых случаях отсутствуют явно желательные ссылки (например, на статью А. Макарова о Межелайтисе в «Литературной газете», впервые широко представившую поэта русскому читателю). И еще одно. Читая книгу В. Панкова, можно подумать, что критика начисто отсутствует в таких журналах, как «Сибирские огни», «Дон», «Подъем», «Урал», «Дальний Восток»... Ну хоть бы одна ссылочка, ну, то есть, совершенно ни одной! Конечно, расширение географии осложняет задачи автора, но что тут скажешь, кроме известного афоризма про тех, кто взялся за гуж...

Финал моей рецензии будет вполне банальным. Книга В. Панкова издана тиражом в 4,5 тысячи экземпляров! И дело вовсе не в том, что, как и всякому, положительно относящемуся к рецензируемому труду, мне хочется видеть его изданным более широко. Причина иная. Здесь против нашей бесхозяйственности восстает во мне еще и вузовский преподаватель. Как известно, существующие учебники доводят обзор литературной жизни как раз до той вещи, с которой начинается новая книга В. Панкова. Не один выпуск шагнет за институтский порог, прежде чем мы с нашей-то оперативностью обзаведемся новым, продленным вариантом учебника. А как уже говорилось, «Воспитание гражданина» при известной локальности названия — это очерки литературной жизни 1961—64 годов.

У книги В. Панкова есть постоянный, стабильный читатель — студент-филолог. Кстати сказать, не случайно издательство «Просвещение» в 1964 году выпустило работу того же автора «Время и книга», в которой освещаются проблемы развития послевоенной литературы, тиражом, как раз в десять раз превышающим тираж рецензируемого издания.

В. Баранов

«ЧТО ТАКОЕ ЖИСТЬ!»

В. Астафьев. Поросли окопы травой. Рассказы. М. «Советская Россия». 1965. 173 стр. Цена 42 коп.

Современная литература создается на разных скоростях, отчего, естественно, получаются и очень разные картины с одной и той же картины жизни. К сожалению, критика консервативнее — она до сих пор не включила «скорость» в основной арсенал своих определений.

Высокая скорость изменяет облик вещей. Теория относительности утверждает, что световая скорость изменяет даже облик времени. Всякий писатель пишет жизнь, но в каждом произведении, у каждого писателя жизнь движется с особой скоростью, с той, которая стала скоростью жизни самого писателя.

Когда я прочитал от корки до корки сборник рассказов Виктора Астафьева — «Поросли окопы травой», мне стало понятно, что волнующая тайна таланта этого писателя не в том, что «суровая правда военных рассказов бывшего солдата сочетается в его творчестве с тонким лиризмом», хотя это бесспорно есть, а в том прежде всего, что Виктор Астафьев живет, видит и пишет со «скоростью чувства».

Эта скорость переменчива, но изменения ее зависят не от смены транспорта и даже не от тренированности самого автора в ходьбе, а только и только от того, как жизнь становится чувством. У В. Астафьева нет ни одного рассказа, где был бы другой главный герой, где был бы другой ответ на вопрос, самый важный для него: что такое жизнь человека на земле?

Для В. Астафьева нет «проблемы» в отношении человека к земле. Его герой — дитя той родной почвы, которая его кормит и которой он отдает свой труд.

Смысл жизни людей, смысл их отношений между собой тревожит Виктора Астафьева. Здесь он обнаруживает самое глубокое счастье рядом с беспросветным горем, когда самые прочные связи рвутся, и ему, писателю, ничего не остается, как рассказать об этих высоких и трагических переживаниях.

Вот рассказ, первый в книге, и как будто для детей, — «Конь с розовой гривой». Какое невинное начало: «Бабушка возвратилась от соседки и сказала мне, что левонтьевские ребятишки собираются на увал по землянику, и велела сходить с ними». За ягоды бабушка обещала купить пряник коном: «Он белый-белый, этот конь. А грива у него розовая, хвост розовый, глаза розовые, копыта тоже розовые... Пряник можно засунуть под рубаху, бегать и слышать, как конь лягает копытами в голый живот. Холодса от ужаса — потерял! — хвататься за рубаху и со счастьем убеждаться, что тут он, конь-огонь!»

И если читатель пойдет за автором чересчур доверчиво, то наверняка в его памяти останется эта милая история детства... Но в рассказе есть другой пряник, другой конь с розовой гривой и с куда более трагическими событиями, чем обман бабушки, ловля рыбы, игра в лапту. Впрочем, это и не пряник, и не конь, а деревенский дом того самого Левонтия, с детьми которого следовало пойти по землянику нашему маленькому герою.

Это был очень особенный дом: «Стоял он сам собою на просторе, и ничего-то ему не мешало смотреть на свет белый кое-как застекленными окнами — ни забор, ни ворота, ни сенцы, ни наличники, ни ставни...

Просто не было ни забора, ни ворот.

Бедность? Это — для взрослых. Для них и пряник конем — только пряник, в голый живот копытами он не лягнет. А для мальчишки такой дом — символ «слободы». Штаны Левонтия держатся на единственной старинной медной пуговице, а рубашка и вовсе без пуговиц — тоже «слобода». Жена Левонтия, «передающая», т. е. не умеющая точно сосчитать рубли при возврате долга и вихрем убегающая от счета денег, — опять «слобода!»

И мальчишка «с тоской глядел на соседский дом». А в доме том — невесело. Навпившись в день получения денег, Левонтий вдруг задавал один и тот же вопрос: «Что такое жисть?!» — после чего все разбежались, а он «бил остатки стекол в окнах, ругался, гремел, плакал».

Видимо, «жисть» не очень-то баловала рыцаря «слободы». Бабушка прямо объявила, заметив влияние этого дома на внука, что от «ихней грамоты» быть ее внуку «каторжанцем» и «вечным арестантом». Нельзя безоглядно любить «слободу», это не пряник конем, не розовая грива у него, а лягается чересчур сильно, да не по животу, а по голому сердцу.

Жизнь — и сказка... Вот еще одна история из детства — «Далекая и близкая сказка». На задворках села жил-был поляк Вася (бывший Станіслав). У него были загадочные, вызывавшие «пугливую учтивость» очки (больше ни у кого в деревне очков не было!). А бабушка думала про это иначе: «Господи-господи! — вздохнула бабушка, прикрывая за Васей дверь. — Доля ты тяжкая... Слепнет человек».

Однажды ночью мальчик услышал, как поляк Вася играет на скрипке. Мальчик слушал, и вдруг ему показало, что скрипка зажгла лес, землю, — «и уже не залить будет этот огонь ни ручьем, ни Енисеем».

Но — мир не сгорел, ничего не обрушилось. Сгорела, должно быть, чья-то душа... Поляк умер. Мальчик положил ему на грудь скрипку. А потом «долго сидел возле Васьиной могилы, разминал пальцами комочки земли и ждал. И знал, что уж ничего не дожидаться, а все равно ждал».

Одно из самых горьких и, как ни странно, самых возвышенных познаний — это постижение истины о необратимости жизни, против которой упрямо восстает чувство, пока, наконец, не покоряется ее бесспорности. Мальчик мечтал о прянике конем — и получил его. Двое мальчишек мечтали о ружье, сделали самопал — один потерял три пальца, другой, став взрослым, купил ружье, но погиб на фронте...

А ведь это было так сложно — купить ружье. Надо было откладывать рубли из получек. Надо было иметь жену Фаину, которая тебя любит и тоже откладывает рубли на твою мечту (а ведь есть своя!). Надо было выбрать ружье в магазине: «Шутка ли — ведь возврата вещей в казенной торговле нету...»

Как нет возврата убитым и «пропавшим без вести». Как нет возврата однажды обретенному счастью женщины. «Фаина уже научилась понимать, что все в жизни же-

стоко разумно», — пишет Астафьев в рассказе «Тревожный сон», но его герои живут не со «скоростью понимания», а со «скоростью переживания». И «понимающей» Фаине снова и снова снится сон:

«Поле подсолнухов, бесконечное, желтое, радостное. Но вдруг стиснет горло во сне, зайдет сердце, застонет Фаина, не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валятся головы рябыми лицами вниз, стриженными шершавыми затылками кверху».

Неповторим человек. Незаменим. И муж Фаины даже на фотографии был совсем не похож на себя. Потому что «он был таким, каким его ни фотограф и никто на свете не мог увидеть, кроме нее». Писатель Виктор Астафьев готов пройти мимо многого в жизни и в людях, но только не мимо неповторимости человеческого в человеке. Самая трагедия для него в том, что — «Ну, встретились. Ну, расстались. Говорят, вся жизнь состоит из этого». Эту формулу равнодушия повторяет очаровательная девушка Фиса («Бери, да помни!» — это была ее любимая присказка, так рассказ и называется), но тут же признается: «Мне чего-то жаль, очень жаль...»

Рассказ этот о трагедии Фисы, о ее любви к солдату Арсению. Писателя потрясло, что уникальность человеческого личности Фисы Арсений почувствовал в глубине сердца, но предпочел доводы разума.

«...Жизнь моя впереди. Встретятся еще и девушки, и женщины, и не одна». Разумеется, встретились еще — и не одна. Но что неповторимо, то не повторяется. И кто пошел против закона сердца, тот — мертвый, пустой, «душный» человек.

Душно в мире «резонов!» Уж лучше «слобода» с ее неизбежной расплатой. Олег в «Двух солдатах» расстается с другом — и не верит, что Сашка ушел навсегда... Фаина не верит, что ее Василий уже никогда не вернется; потрясает ее плач на двенадцатом послевоенном году... Неузнаваемо и необратимо изменилась Фиса, которую бьет муж-пьяница...

Смерть рвет самые простые и самые прочные связи. Виктор Астафьев признается: «Я так много увидел потом смертей, что не было для меня более ненавистного, проклятого слова, чем смерть!».

Разумеется, речь идет прежде всего о смерти биологической, а для В. Астафьева это — смерть на войне. Но и о смерти духовной, когда кто-то убивает живое чувство многообещающим «резонансом» и с легкостью удручающей вынимает из груди свое сердце, образуя незаполнимую пустоту...

Мысль да послужит чувству! И тогда жизнь, подобно самолету, «вырвется из тайги, поднимется выше гор и полетит далеко-далеко». Такой урок я извлекаю из книги Виктора Астафьева и думаю, что не мешало бы это прочувствовать и тем, кто слишком легко расстается с настоящим, уповая на что-то впереди...

Ведь настоящее — это и есть жизнь.

Генрих Митин

Останкино!

Это слово всегда казалось мне округлым. Должно быть оттого, что оно уместается между двумя буквами «О».

Это слово, точно обруч, выкатывается из моего детства. Оно тянет за собой долгий хоровод смутных, почти не поддающихся расшифровке воспоминаний. Оно пахнет воскресеньями, мороженым и трамваем.

Благолепием останкинских роц вдохновлялись русские художники Аргуновы. Здесь страдала и умирала на сцене крепостная актриса Жемчугова. Сии дубравы освящены легкими шагами Пушкина.

Однако без лирики! Я должен написать о строящемся ныне в Останкине новом Общесоюзном телевизионном центре. В редакции предупреждали: пиши только о самом существенном.

Но разве чувства человеческие не существенны?

Разве не существенны те слова, что сказал мне водитель зверообразного МАЗа, «подбрасывая» меня с одного объекта строительства на другой:

— Вроде бы дело мое маленькое, шоферское... Вози на себе кирпич или, там, фермы какие, куда велят! Что, зачем — не твоего ума забота. А как подумаешь, для скольких миллионов людей стараемся, — чувствуешь к себе определенное уважение...

В самом деле, факты говорят за себя. Уже сегодня программы Московского телевидения смотрят примерно шестьдесят миллионов человек. А ведь радиус действия Общесоюзного телецентра будет почти в три раза больше!

Шаболовка ежедневно выпускает в эфир двенадцать — четырнадцать часов передач. Останкино даст свыше пятидесяти часов.

Сегодня к нашим услугам три ежевечерние программы. После вступления в строй нового Телецентра

ОСТАНКИНСКИЙ ЛАЙНЕР

их станет уже пять; одна из них будет цветная. Три программы будут транслироваться в иные города Союза. Расширится также обмен программами по интервидению.

Должно ощутимо улучшиться и качество передач.

Первый секретарь МГК партии Н. Г. Егорычев, выступая на Московской городской партийной конференции, назвал строящийся комплекс Общесоюзного телевизионного центра «крупнейшим в Европе». По мощности он превзойдет знаменитый Радиодом в Париже.

У строителей Телецентра есть своя величественная символика. Первый камень фундамента был заложен 22 апреля 1964 года — в день рождения Владимира Ильича Ленина. А первую программу предполагается передать из Останкина в день пятидесятилетия Октябрьской революции.

— ...Приехали! — сказал шофер МАЗа. — Станция Вылезайка. Основное здание. Ну, пока. Мне — грузиться, вам — вдохновляться!

Стройки обыкновенно похожи одна на другую. Актерские жесты подъемных кранов, обнаженная анатомия этажей, неопрятность опалубок. Но здесь уже явно ощущается необычайность сооружаемого здания. Фермы основного корпуса тянутся почти на полкилометра вдоль Паркового кольца! А неподатлику стартует в небо ракетоподобное основание телевизионной башни.

И здесь же — чугунный рокот вековых дубов на берегу старорежимного пруда... Белые зимы лебедей поставлены на собственные отражения... Дымящиеся объемы целебного воздуха возлежат на маленьких лужайках...

Издrevле архитектура

штурмует небо. Строители соборов приближали золотые купола к своему богу. Но до чего же крошечной кажется теперь пятиглавая останкинская церковь по сравнению с недостроенной еще, доведенной до полувиньы, новой телевизионной башней!

Об останкинской телевизионной башне много писали в наших газетах. Еще бы: пятьсот двадцать пять метров; самое высокое сооружение в мире! Она в два с лишним раза «рослее» МГУ на Ленинских горах. Шесть лифтов будут курсировать в ее могучем теле. Запроектированы ресторан и обзорная площадка.

Внушительный «рост» башни оказал решающее влияние на архитектуру основного здания всего останкинского комплекса. Поэтому, так сказать, пафосом студийного корпуса явилась его впечатляющая протяженность. Представьте себе: три этажа — и длина свыше четырехсот метров! Алюминий, закаленное стекло, белая облицовка. Искусственный дворик на плоской, обширной крыше.

А над студийным корпусом возвышается белый параллелепипед редакционной части. Это делает все здание похожим на продолговатое тело океанского корабля с мощными надстройками над верхней палубой.

В одной сугубо специальной статье об архитектурном решении основного здания сказано так: «ясная композиция из двух крупных объемов». Вслушайтесь в эти, казалось бы, сухие слова. В них все: и ясность, и размах, и солнечные объемы.

По новому центру нельзя будет бродить без экскурсовода. Иначе заплутаешься. Общая площадь его помещений составит

сто сорок пять тысяч квадратных метров.

Пять программ московского телевидения будут рождаться в четырнадцати телестудиях. Из одних — передачи будут идти непосредственно в эфир, в других — операторы и режиссеры станут репетировать и снимать на пленку спектакли, концерты, обзоры. Неподалеку расположатся монтажные службы, склады пленки и просмотрные залы.

А четыре специальные студии рассчитаны исключительно для съемок телевизионных фильмов.

Проектировщики приложили много сил к тому, чтобы условия труда в новом центре были наилучшими, а отдых — приятным. Просторные вестибулы, уютные гостиные, бар, кафетерий, ресторан на пятьсот человек. Красоту интерьеров прекрасно дополнит величавое спокойствие дубовых куп за широчайшими розблесками стекла... Здание будет оборудовано системой кондиционированного воздуха. По мысли строителей, в помещениях должно быть всегда в меру прохладно и пахнуть лесом: ведь чистый воздух придет в холлы и комнаты из тенистого Останкинского парка.

Тридцать восемь лифтов поднимут все что угодно — даже грузовые автомобили.

Насущнейшее требование при создании телевизионных передач — тишина. Поэтому инженерам-акустикам пришлось ломать себе голову над тем, как изолировать шумы одной студии от другой; грохот транспорта — от аппаратных, рокот вестибулей — от кабинетов. Стены и полы Телецентра будут выстланы новейшими пластиками, отделаны мрамором и гранитом, покрыты акустическими плитами. Вентиляционные установки заключат в специальные глушители, мягко подвешенные к перекрытиям. Десять тысяч квадратных метров пола запланировано сделать «плавающими» — как в

Кремлевском Дворце съездов.

Над созданием комплекса Общесоюзного телевизионного центра в Останкине трудятся более трехсот проектировщиков. Многие дорабатываются прямо на ходу, перепродумываются, совершенствуются. Но изо дня в день уверенно движется строительство, башня уже упирается в корабельные днища облаков, старинное московское предместье живет шумной, напряженной жизнью.

Удивленная поверхность пруда отражает не только привычные вершины деревьев, но и тяжелые стрелы башенных кранов...

Пройдет немногим

больше года. И невидимые концентрические круги радиоволн разлетятся над сияющей вечерней Москвой. «Добрый вечер, товарищи! — улыбнется нам знакомая дикторша. — Начинаем первую передачу из нового Телевизионного центра...»

А на обзорной площадке самой высокой на земном шаре телебашни будут толпиться десятки людей и глядеть, как в акварельном небе столицы вспухают и рассыпаются щедрые грозди салюта — салюта в честь пятидесятилетия Октября.

Но это — опять из области лирики.

Валерий Тур

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Вряд ли найдется хозяйка, которая ежедневно подсчитывала бы количество калорий, содержащихся в продуктах. Мы постоянно заботимся о том, чтобы разнообразить наше меню, но порой забываем, что пища должна быть не только вкусной, но и питательной.

Сочетание белков, жиров, углеводов, минеральных веществ и витаминов — неременная основа рационального питания. Однако природа поскупилась и не сотворила такого продукта, в котором все эти компоненты содержались бы в достаточном количестве.

На помощь кулинарам пришли ученые. Они решили создать комбинированные продукты, обладающие высокой биологической ценностью. Первый из них разработан в Институте питания Академии медицинских наук СССР. Он получил название белип. Для его приготовления используют такие, казалось бы, несоместимые продукты, как нежирный творог и треску. Измельченная, пропущенная через мясорубку треска отлично сочетается по вкусу с пресным творогом.

Белип содержит молочнокислый кальций, который легко усваивается организмом, многие микроэлементы и жизненно необходи-

мые аминокислоты, регулирующие обмен веществ. Нежный, приятный на вкус белип особенно хорош с гарниром из макарон и овощей. Из него можно приготовить множество вкусных кулинарных изделий: пирожки, пудинги, кулебяки, запеканки, паштет, белковый хлеб.

Дегустация подтвердила высокие качества нового продукта.

Белип полезен всем. Он способствует излечению от атеросклероза, гепатита, ожирения. Незаменим он в детском питании. Насколько выиграли бы наши дети, если бы в школе им давали на завтраки не пирожки с повидлом, а кулебяки или пудинги из белипа. Вкусно, питательно, дешево!

Белип — не единственная новинка, созданная в Институте питания.

Не все знают, какие вкусные и полезные дары предлагает нам море. Выпуск пищевой продукции во многом зависит от «инерции» вкусов, которая выработалась на протяжении многих поколений. Преодолевать ее зачастую бывает трудно. Однако мы быстро «распробовали» краба, креветку и морской гребешок. Сейчас они пользуются большим спросом. Но ведь промышленное значение

имеют около восьмисот видов морских беспозвоночных! Эти не совсем обычные для нас продукты славны не одними вкусовыми достоинствами. Мясо беспозвоночных содержит аминокислоты, витамины, микроэлементы, в том числе такие жизненно важные, как медь, кобальт, цинк, марганец, йод, железо. По питательной ценности оно стоит на одном уровне с яйцами и молском, значительно превышая свойства мяса земных животных и рыб.

Ученые и врачи усиленно рекомендуют дары океана всем — и больным и здоровым. Мясо устрицы и мидии, например, улучшает кроветворение, способствует укреплению нервной системы, уменьшает утомляемость. В странах Востока трепанга называют «морским женьшенем» и широко рекомендуют страдающим упадком физических сил.

В Институте питания разработаны рецепты блюд и консервов из морских животных. Надо полагать, что дальнейшие исследования беспозвоночных откроют много новых полезных питательных веществ в их мясе. В лабораториях «Приморьбпрома» прошли дегустацию новые виды консервов, приготовленных из продуктов моря. А на Мурманском рыбокомбинате выпущена партия консервов из акулы: натуральной, копченой, жареной и бланшированной.

Кстати, вообще о консервах. Их ассортимент растет из года в год. Однако нередко можно услышать, что, дескать, консервы — это совсем не то, что свежие продукты. Обратимся к авторитетному мнению ученых. Путем тщательных исследований в Институте питания установили, что новейшие асептические методы консервирования без стерилизации в автоклавах позволяют сохранить в продуктах почти все витамины. К тому же консервы обогащаются белками и другими полезными веществами.

...В Институте консервной и овощесушильной промышленности меня уго-

стили чудесной клубникой. Жалко было есть эту ягоду — так она была хороша. Я бережно положила ее на ладонь и... не ощутила веса. Ягода не тянула и грамма. Во рту она рассыпалась на сладкие, душистые крупинки. Это была сублимированная клубника.

Что такое сублимация? Принципиально новый способ обезвоживания пищевых продуктов в вакууме. Сублимировать можно и мясо, и творог, и рыбу... В Институте мясной промышленности мне дали попробовать ломтик ветчины. Правда, на вид он был не очень привлекателен — тоненькая серая пластинка. Но вот его опустили в воду — и произошло «чудо»: вет-

чина стала розоветь, как будто наливаясь соком. А по вкусу сублимированную ветчину, принявшую «ванну», не отличишь от только что нарезанного окорока.

Сублимированные продукты не теряют питательных свойств, а вес их уменьшается в десятки и сотни раз. У сублимации огромное будущее: ведь перевозить и хранить сухие продукты очень легко.

...В лабораториях ученых рождаются все новые и новые кулинарные шедевры, которые призваны украсить наш стол, сделать пищу еще разнообразнее, вкуснее и полезнее.

Н. Ильинская

ФИЛИАЛ—НА ЦВЕТНОМ

Московскому цирку на Цветном бульваре — тесно. Собственно говоря, зрители это не очень ощущают. Мало мест, трудно достать билеты? Но ведь в Большом театре мест много, а попасть туда все равно нелегко.

Но вот дирекция цирка пригласила нас, строителей, днем заглянуть за кулисы. Тайная цель этого приглашения нам стала ясна только в конце визита.

На арене акробаты рачувивали новый номер. Вот-вот он должен был получиться, но безжалостный регламент прервал репетицию — место требовалось другим актерам. «В цирке одна арена, — пояснили нам, — а в новом их будет три».

В помещении для зверей было трудно пройти, а в передней маленького буфета, где продавали прозаические сардельки, тренировались клоуны.

«Вот в новом цирке...» — снова сказал наш сопровождающий, но мы уже и без него поняли, что Московскому цирку, завоевавшему мировое признание, позарез нужно новое здание.

Ну, а новый цирк? Запишите его адрес: метро

Университетская, Парк имени 40-летия Комсомола.

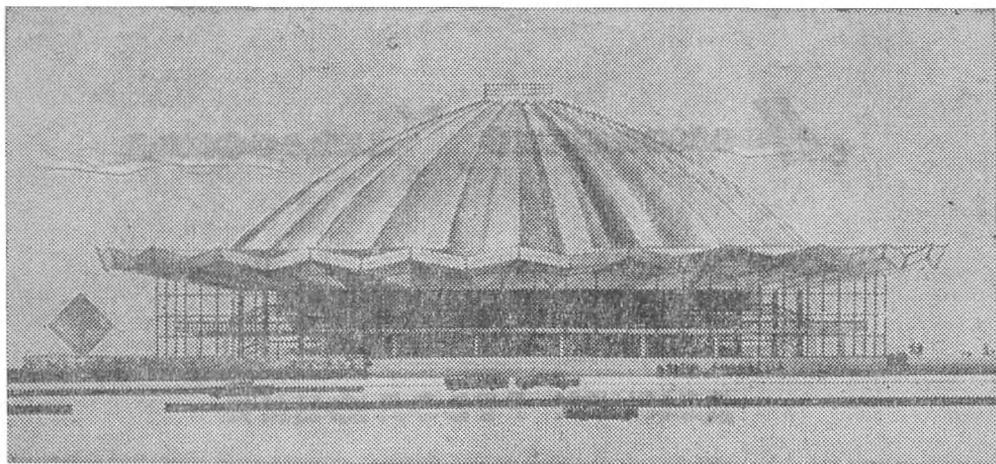
Пока здесь командуют строители, а архитекторы — авторы проекта Н. Б. Белопольский, М. П. Вулых — тихонько сидят на оперативных совещаниях, со всем соглашаются и клянутся выпустить чертежи в срок, завтра — нет, что там завтра! — сию минуту.

Через окно прорабской видно, как монтажники собирают стальные фермы купола, изготовленные на уральском заводе. Не все ладится, проект очень сложный, и потому архитекторы выслушивают критику от любого прораба. Но истинные хозяева здесь все же они, а строители только, как говорится, «вплощают их замысел».

Пройдет время, и огромное сооружение из металла и стекла заблестит огнями. По проспекту Вернадского из метро потянутся к новому цирку розно три тысячи счастливых обладателей билетов и неустановленное количество не менее счастливых контрамарочников.

Через три входа они попадут в вестибюльное кольцо, в котором расположены гардероб, буфет, кассы.

А вот уже звонок.



Шесть широких парадных лестниц ведут к шестнадцати входам в зрительный зал. Тут нет балконов — один амфитеатр, перекрытый огромным складчатым куполом диаметром восемьдесят пять метров.

В складках купола располагаются все сложнейшие технологические устройства современного цирка. Но зритель не увидит складок, снизу, по плавной кривой, устроен акустический потолок. Несмотря на большие размеры зрительного зала, пропорции его очень хороши.

Зал прост, величествен и гармоничен.

Представление. Кончился первый номер, и на арену выбегает... нет, клоун, заполняющий паузу, не выбегает. Арена опустится вниз, а на ее место мощные домкраты выдвинут другую арену, уже подготовленную к следующему номеру. И все это займет всего три-четыре минуты. Даже бас-

сейн объемом триста пятьдесят кубометров тоже за несколько минут появится из подвала.

Так что по-дружески предупреждаю вас, товарищи Никулин, Карандаш, Попов и Енгибаров, нужно перестраиваться. Могу кое-что порекомендовать: запроектировано, что через арену мгновенно перебрасывается телескопический мостик. Может быть, вы его используете для своих реприз в то время, как арена будет уходить вниз.

Вся современная техника пришла сюда, чтобы еще ярче заблистали таланты наших цирковых артистов: система полиэкранов, расположенных внизу купола, сложнейшие автоматические устройства, кондиционированный воздух.

...Антракт. Зрители выходят в широкое остекленное фойе и с удивлением убеждаются, что могут свободно прохаживаться или даже выйти на балконы

(вспомните фойе старого здания, где зрители стоят как в строю!).

Это все так называемый зрительский комплекс.

А рядом административно-хозяйственная часть с тренировочным маґежем, артистическими уборными, большими помещениями для зверей, слоновником, где конструктору проекта А. Ф. Судакову приходилось рассчитывать балки на довольно странную нагрузку — вес слона, стоящего на одной ноге.

...Через окно прорабской видно, как плывет по воздуху первая ферма купола. Скоро на афишах появится надпись: «Филиал Московского цирка — на Цветном бульваре».

Л. Лондон

МОСКВА 1970

ДЕНЬГИ РЕВОЛЮЦИИ

Сегодня, держа в руках бумажный рубль с гербом СССР, мы не задумываемся над большой и сложной историей, которую в течение почти полувека прошел советский денежный знак. Между тем в ней много любопытного и поучительного.

Вот один из эпизодов, относящихся к самому началу истории, вернее даже к предыстории советских денег. Источником этих сведений являются воспоминания художника Е. В. Орановского.

Необходимость в выпуске собственных денежных знаков возникла у молодой Советской республики в начале 1918 года. Президиум Московского Совета рабочих и солдатских депутатов решил срочно организовать среди художников конкурс на их оформление. К участию в конкурсе привлекли художников В. Фалилеева, В. Масютину, А. Манганари, Ф. Захарова, Н. Буниотова, Э. Норберта, А. Щусева, И. Жолтовского... В жюри конкурса вошли В. Бакшеев, К. Корovin, С. Малютин, Н. Ульянов, С. Жуковский и С. Коненков.

3 апреля 1918 года жюри единогласно признало лучшими работы, присланные под девизом «И так далее» эскизы денежных знаков трех достоинств «на доске, листом с семью рисунками», как было сказано в решении жюри. Постановили: автора премировать и

поручить ему «исполнить всю серию в окончательной раскраске».

Вскрыв конверт с девизом, обнаружили в нем записку с собственноручной подписью — Александр Викторович Манганари.

...Уже решено было печатать знаки в мастерских бывшего Строгановского училища. Уже были подбраны мастера, найдены литографские камни и краски. Но — события на фронте заставили приостановить дело...

Рисунки денежных знаков, хранившиеся в неогороженном шкафу президиума Моссовета, были, по-видимому (как предполагает Е. В. Орановский), уничтожены вместе с другими документами тех дней, которые не было возможности вывезти из Москвы. Среди них были и рисунки скульптора Сергея Тимофеевича Коненкова, принесенные им в дар Республике. «Они были характерны, — пишет Орановский, — как проявление общественного энтузиазма художников-реалистов, а также и как образец графического мастерства великого скульптора».

Несколько слов о А. В. Манганари. Это был крупный офортисст, питомец петербургской Академии художеств по классу знаменитого художника-гравера Матэ.

Небольшого роста, хромой, с копной черных волос над огромным лбом, чернородый, с пронзи-

тельным взглядом темнокарих глаз, он слыл «одержимым». Для него самое важное в жизни были офорты. В его небольшой квартире в Гатчине стоял тяжелый станок, занимавший всю комнату, на котором художник прокатывал металлические доски с нанесенным на них тончайшим рисунком, сделанным стальной иглой.

Одна из работ Манганари «Новгород Великий» выставлялась в Петербурге и вызвала всеобщее восхищение замыслом, великолепной старинной русской орнаментацией и народной символикой, резко идущими вразрез с великодержавными идеями.

Манганари дружил с А. И. Куприным, часто принимал его у себя дома. Куприн всегда с большим удовольствием слушал рассказы художника, его сочный народный язык. В свой знаменитый рассказ «Анафема» Куприн внес много из того, что слышал от Манганари, великолепно знавшего быт церковников.

В 1917 году художник переехал из Петрограда в Москву и поселился на Якиманке, рядом с известным художником-графиком Фалилеевым.

За эскизы денежных знаков он взялся с большим воодушевлением. Эскизы его, по словам видевших их, производили впечатление шедевров. Манганари, богато используя русский орнамент, изобразил крем-

левский ансамбль в условно-сказочной манере, тонкой и прозрачной.

Но самое главное, что запомнилось современникам,— что Манганари уже тогда создал эмблему серпа и молота— символическое изображение союза рабочих и крестьян. Вскоре идея этого символа получила официальное признание.

В мае 1918 года Петроградская коллегия по делам искусств и художественной промышленности при отделе изобразительных искусств Комиссариата народного просвещения открыла конкурс на проекты рисунков для серебряных монет,

для народного флага, народного герба, печати Совета Народных Комиссаров и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, причем в условиях этого конкурса было сказано:

«...В композиции печати СНК и ВЦИК необходимы эмблемы рабочей и крестьянской республики— орудия труда (например, серп и молот)».

Не хочется думать, что всегда и бесследно пропали те подготовительные материалы, которые дали возможность А. В. Манганари создать эскизы первых денежных знаков, получив-

шие столь высокую оценку. Весьма возможно, что они хранятся у кого-нибудь из его родных или товарищей.

Участие крупных художников в конкурсе на оформление денег— еще одно доказательство того, что еще в первые месяцы существования Советской власти лучшие русские мастера живописи, валяния и графики пришли работать вместе с рабочим классом, не обращая внимания на бешеный вой и угрозы со стороны буржуазии.

*Н. Вержицкий
Э. Медведовская*

ШЛЮЗ СТРОИТСЯ НА БЕРЕГУ

С каждым годом по водным дорогам страны, в том числе и по «столичной» реке Москве идет все больше и больше грузов. Не удивительно, что старый москворецкий путь стал тесен для этого мощного потока. Чтобы увеличить пропускную способность старой шлюзовой системы, решили реконструировать весь участок Москвы-реки— от реки Перервы до устья с пятью гидроузлами.

В свое время летом устье Москвы-реки мелело настолько, что суда не могли выходить в Оку. Стремясь поднять уровень воды, гидротехники прошлого столетия построили плотины— металлические фермы со съемными деревянными щитами, которые убирались перед ледоставом и ставились на место после ледохода.

Почти век служили людям шлюзы, сложенные из толстенных деревянных

бревен. За долгие годы они не только морально устарели, но и попросту обветшали. Шлюзование в них занимало до сорока минут. Да и глубина— полтора метра— для современных судов была недостаточна. Ее решили довести до двух с половиной метров.

Сначала строители появились на гидроузле «Трудкоммуна» вблизи города Люберцы. Название это напоминает о том времени, когда в ближнем монастыре (его, между прочим, снимали в кинофильме «Путевка в жизнь») поселились бывшие беспризорники со своими воспитателями.

Новые гидроузлы, которые придут на смену старым, монтируют из сборного железобетона. Строители не мешают судоходству, возводят сооружения на берегу. Одновременно прокладывают канал. Только небольшая перемычка отделяет его от воды. Сто-

ит ее убрать, как воды Москвы-реки устремятся в новый шлюз. Старый же— деревянный— останется на прежнем месте памятником гидротехнического искусства наших предков.

После реконструкции процесс шлюзования занимает всего 10—15 минут. Он автоматизирован— оператор нажимает на кнопку, и секторные ворота— крупное техническое достижение коллектива треста «Стальконструкция»,— опускаясь, плашмя ложатся на дно. Второй нажим кнопки— и ворота занимают прежнее место, закрывая шлюз так, что туда не просочится и капля воды.

В этом году начаты подготовительные работы на четвертом шлюзе, в Фаустове. «Трудкоммуна» и «Андреевка» уже вступили в строй. Строители готовят к сдаче третий шлюз «Софьино».

Генриетта Алова

МАГ И ВОЛШЕБНИК

Представьте себе комнату с длинными столами, на столах— всевозможные редкости: позеленевшие от времени, покрытые окис-

ми египетские статуэтки; распеленутая мумия; обломки древнегреческой вазы... Мы— в мастерской московского Музея изобрази-

тельных искусств, в которой более тридцати лет работает Михаил Александрович Александровский. О мастерстве этого человека

рассказывают легенды. Он очищает статуэтки от позднейших образований, соединяет обломки невидимыми швами, восстанавливает из смол и пергамента утраченные части мумии — то есть делает их неподвластными времени...

Впервые Михаил Александрович «причастился» своей трудной профессии полвека назад при необычных обстоятельствах. Студент Петербургского Политехнического института, он приехал в январе 1913 года в Москву к своему дяде — известному реставратору Дмитрию Федоровичу Богословскому. Дмитрий Федорович повел племянника в мастерскую, где он под руководством И. Э. Грабаря заканчивал восстановление головы Ивана Грозного на картине Репина, незадолго перед тем раненной ножом иконописца — старообрядца, страдавшего душевной болезнью.

Михаил Александрович первым увидел картину Репина такой, какой она была до катастрофы... Возможно, что именно это событие и заставило его переменить профессию. Он стал не инженером, а реставратором в области скульптуры и прикладного искусства, где ему чрезвычайно пригодилось знание металлов, клеев, красок.

Трудно сосчитать, сколько древних рельефов, мумий, клинописных глиняных пластинок, ваз, статуй, терракоты и современных скульптур спас от разрушения Михаил Александрович.

...Незадолго до окончания войны московский скульптор Сергей Орлов выполнил в фарфоре скульптурную группу, изображавшую Александра Невского и двух русских богатырей возле поверженного тевтонца, цепляющегося крючкотватыми пальцами за обломок меча. Произведение выдвинули на соискание Государственной премии. Скульптор сам руководил перевозкой его в зал, где оно должно было предстать перед жюри, и давал указания рабочим, устанавливавшим его на постамент. Не-

ожиданно скульптура покачнулась и упала.

Орлов побледнел.

— Ни с места! — крикнул он рабочим. — Подбирать осколки!

Казалось, только чудо могло возродить из груды бесформенных осколков прежнее произведение. Но Орлов знал, что в Москве живет человек, способный совершать такие чудеса. Он бросился к телефону.

— Михаил Александрович, умоляю вас, спасите мою скульптуру!

Это было очень трудно, но Александровский согласился. Сначала он выбирал крупные осколки и склеивал их. Потом нашел место тех мелких осколков, которые отбились с краю, по излому.

Через три недели скульптура была восстановлена. Теперь она стоит в одном из залов Третьяковской галереи, и только немногие знают, что изнутри она вся изборождена темными швами — следами склейки.

...В 1959 году в Румынии, близ курорта Мангалия, строители, производившие земляные работы, обнаружили древнее захоронение. В могиле, выложенной мраморными плитами, лежал скелет в позолоченном бронзовом лавровом венке, сжимавший в правой руке свернутый трубочкой папирус. Когда папирус попытались извлечь из мертвой руки, он рассыпался.

Тайна мангальской могилы взволновала всех румынских археологов.

Кто это? Уж не Овидий ли, умерший в изгнании на берегу Черного моря близ нынешней Констанцы?

Открыть тайну могли лишь письмена на папирусе. Кто попытается его восстановить? Ведь папирус в европейских захоронениях — великая редкость. Сотрудники Румынской Академии наук обратились за помощью в Советский Союз и послали в Киев самолет.

...Когда Михаил Александрович прибыл в Мангалию, могильная яма была закрыта брезентом и присыпана сверху землей, чтобы в нее не проник воздух. Приподняв брезент, он

спрыгнул на дно могилы. Стоя на коленях возле скелета, он до поздней ночи опрыскивал из пульверизатора обрывки папируса, закрепляя их особым составом.

Наконец ему удалось собрать их и уложить в коробочки из-под гильз, устланные ватой и марлей. Александровский продолжал укреплять их и назавтра, в Бухарестском археологическом институте, а привезя в Москву, в Центральную Государственную реставрационную мастерскую, размякчил их растворителями, затем развернул крупный фрагмент, который непосредственно соприкасался с рукой мертвеца. Но оказалось, что ладонь, разлагаясь, пропитала папирус прахом и стерла письмена. Прочсть целые слова было уже невозможно. Однако сфотографировав папирус в инфракрасных лучах, увидели на нем отдельные греческие буквы. Греческие, а не латинские... Этого оказалось достаточно, чтобы опровергнуть версию об Овидии...

...Недавно, изучая по предложению научного сотрудника Н. М. Лосевой древнегреческие вазы в хранилище Музея изобразительных искусств, Михаил Александрович безошибочным взглядом знатока определил, что на одной из них, под изображением квадриги и возницы, есть более древний рисунок... Тридцать пять лет назад московский археолог Владимир Дмитриевич Блаватский, расчистив такую же записную амфору, нашел на лицевой стороне ее тулова изображенные богини утренней зари Эос, поднимающейся на запряженной крылатыми конями колеснице над океаном, и прочел под ним подлинную подпись знаменитого аттического вазописца Полигнота, жившего в пятом веке до нашей эры. Это была всего лишь пятая ваза, на которой сохранилось его имя.

Кто знает, быть может и Михаила Александровича ждет волнующее открытие...

Н. Муравина

НОВЫЙ АДРЕС ВТО

В Центре Москвы, на углу Пушкинской улицы и Страстного бульвара, поднялись конструкции башенного крана, разворачиваются строительные работы — здесь вырастет новое здание Всероссийского театрального общества, большой современный общественный комплекс.

Сейчас Дом актера ютится в верхних этажах жилого дома на улице Горького, где невозможно по настоящему наладить творческую работу актеров, встречи с многочисленными друзьями театра. Бесспорно, новое здание необходимо. Но у многих москвичей, знающих и любящих свой город, новый адрес ВТО вызывает чувство тревоги. Ведь это адрес старой университетской типографии. Неужели погибнет этот памятник архитектуры, имеющий сложную и интересную историю. Университетская типография — ансамбль зданий, каждое из которых отражает какой-либо из важнейших этапов становления русской культуры. Это страницы каменной летописи нашей столицы...

Университетская типография была основана в 1755 году. Она долго не имела своего помещения. Только в период бурного строительства, развернувшегося в Москве после пожара 1812 года, на месте полуразрушенных домов, «купленных в казну», вырос комплекс производственных, административных и жилых помещений.

Во время Великой Отечественной войны фашистская бомба, разорвавшаяся в центре этого комплекса, нарушила целостность первоначального ансамбля, не повредив, к счастью, самых ценных зданий — построенного в 1816 году архитектором Н. Соболевским редакторского корпуса с лепными деталями и белокаменными колоннами на главном фасаде, выходящем на Страстной бульвар.

В парадных комнатах квартиры редактора — кня-

зя П. В. Шаликова, издававшего также и популярный в то время «Дамский журнал», бывал Александр Сергеевич Пушкин. А под сводами первого этажа этого дома помещалась книжная лавка А. С. Ширяева, в то время «из книжных лавок по Москве... наилучшая и богатейшая».

Хорошо сохранился и Типографский корпус, построенный в 1822 году по проекту архитектора Д. Григорьева. Простой, но запоминающийся фасад по Пушкинской улице. Лепные «раковины» над окнами и оригинальный рисунок богатого орнамента фриза не встречаются больше ни на одном из памятников этого времени.

А сам Типографский корпус, как он выглядел в 1831 году? «Вообразите длинную залу, в коей в удивительном порядке расположены станы типографии, кассы наборщиков, конторки для корректоров и других чиновников. Литеры разных шрифтов для языков: русского, немецкого, латинского, французского, английского, итальянского, греческого, еврейского и арабского; скорость, чистота и исправность, с какой печатаются здесь книги, журналы и проч., заслуживают внимания», — так говорилось в описании 1831 года.

Среди надворных построек этого комплекса есть здание конца XVIII века, выходящее аркадой первого этажа во двор, есть постройка XVII века, в которой сохранилась первоначальная планировка с сенями и замечательными сводчатыми палатами.

Все эти четыре здания находятся на государственной охране как памятники архитектуры.

Однако в течение долгих лет, когда они использовались под жилье и различные мелкие учреждения, многие детали первоначального архитектурного облика были утрачены.

После окончания Вели-

кой Отечественной войны возникало много проектов использования этого участка, пустующего в самом центре Москвы. Одни предполагали полностью уничтожить памятники, другие — их полностью восстановить. В конце пятидесятых годов участок был передан ВТО. Совет Министров СССР и Мосгорисполком обязали нового хозяина сохранить и реставрировать памятники архитектуры.

Перед проектировщиками встала трудная задача: создавая отвечающий современным требованиям Дом актера, с максимальной достоверностью воссоздать первоначальную планировку, детали декора интерьеров и фасадов зданий бывшей Университетской типографии. Сейчас работа над проектом в основном закончена и начинается его осуществление. Проектировщики мастерской центра Управления «Моспроект-1» предусмотрели здесь большой и малый зрительные залы, просмотровый кинозал, библиотеку-читальню с открытым доступом к книгам в книгохранилище. Творческие кабинеты будут группироваться вокруг уютных внутренних «двориков», которые в свою очередь могут быть использованы и для отдыха и для репетиций, и для дружеских встреч.

Оригинально решена «лаборатория актера» — сценическая площадка. Остроумная планировка сцены даст для режиссера широкие постановочные возможности. Она может иметь и традиционный портал и превращаться в широкую арену, охватывающую почти половину зала.

Архитекторы - реставраторы из института «Моспроект-3» выявляют черты и детали первоначального облика древних зданий, чтобы увязать «старое» и «новое» в единую центральную композицию современного клубного комплекса. В новом ансамбле ведущее положение займут здания бывшей Университетской типо-

графии, стоящие на «красной линии».

Объединенные одним фасадом большие зрительные залы, фойе, сцена и библиотека отступят в глубь двора. Большие остекленные поверхности нового фасада будут контрастным фоном, поддерживающим монументальность старинных зданий, массивность их стен, прорезанных оконными проемами.

В бывшем Редакторском корпусе будет работать правление ВТО, в больших сводчатых залах Типографского корпуса разместится ресторан. Освобожденным

от многочисленных позднейших перегородок интерьерам древних зданий будет возвращен первоначальный вид. Одной из самых интересных особенностей комплекса будет, пожалуй, примыкающий к большому залу и фойе внутренний дворик, в который выйдут фасады старинных дворовых построек. Такое решение возникло благодаря совместной работе проектировщиков с реставраторами. Ведь кирпичный декор фасада древних палат, входящих в этот дворик, был стесан еще в XIX веке. Изучая каждый кирпич, каждый

шов, реставраторы определили время постройки и образ утраченного фасада.

В принятом проекте ВТО будут объединены в ансамбль и лаконичные формы современной архитектуры, и классическая аркада конца XVIII века, и затейливый кирпичный декор «московского барокко» XVII века.

Язык архитектуры красноречиво расскажет москвичам об истории русской культуры, об истории родного города.

Д. Кульчинский,
архитектор

ЛЕТОПИСЬ РУССКОЙ СЦЕНЫ

Историки признают только проверенные факты и поэтому они не сочли достойным печати слух, ходивший по Москве во времена наших дедов. А рассказывали, что началось все с незначительного, случайного события. Молодой фабрикант-кожевенник Алексей Бахрушин строил себе по тогдашней моде затейливый особняк на Зацепском валу. Думал он вскоре жениться, принимая в новом доме гостей. Свадьба состоялась, но от больших приемов чете Бахрушиных пришлось отказаться: для этого было слишком мало места. Кто же его зная?

Многие богатые московские купцы увлекались коллекционированием разных редкостей. Один из них в присутствии Бахрушина похвастался, что собрал несколько тысяч старых театральных афиш. Для этого ему понадобилось немало лет.

— Да у меня такая коллекция будет через три месяца, и лучше вашей,— заявил будто бы Бахрушин.

Пари он выиграл, но страсть ко всему, связанному с театром, с тех пор завладела его душой. Такого почитателя сцены еще не знала история. В зале и за кулисами, в костюмерной, декораторской, в комнатке гримера, у букиниста и антиквара, в квартире вдовы давно умершего и забыто-

го актера — всюду появлялся худощавый человек с маленькой острой бородкой. Портреты выдающихся мастеров русского театра, текст грибоедовского «Горя от ума», написанный от руки печатными буквами, токарный станок драматурга А. Островского, балетные туфельки разных эпох и фасонов, афиши первых представлений «Маленьких трагедий» Пушкина... Можно без конца перечислять, выражаясь языком Бахрушина, «театральные вещи», собранные им с такой любовью и тщательностью.

Более семидесяти лет назад открылись для посетителей двери Театрального музея. И с тех пор в посетителя не бывает недостатка. Через залы музея имени А. А. Бахрушина проходит за год 75 тысяч человек.

Русское сценическое искусство родилось на базарной площади, в шумной толпе — вроде той, что заполняет находящийся напротив музея Зацепский рынок. В старину такие торжища не обходились без кукольника с забавным Петрушкой, «игрецов», «глупоумудров», «пересмешников» и других площадных актеров, известных под общим названием «скоморохов».

А что вы скажете, если вам предложат побывать в вертепе? Уж очень переменилось значение этого сло-

ва. Два века назад вертеп — театр с двухэтажной сценой — пользовался большой популярностью у зрителей. На верхней сцене давались представления религиозного характера, на нижней — разыгрывались мирские спектакли. Уникальный экземпляр переносного вертепа наряду с другими предметами старого русского театра, с любопытными зарисовками отдельных сценек очень интересен для всех, кто изучает историю отечественной культуры.

Нельзя пройти мимо гипсового макета памятника Гоголю. Великий сатирик как бы срывает покрывало, у его ног мы видим застывшего в глупой позе городничего и старающегося скрыть от глаз свою драгоценную шкатулку Чичикова. Автор несуществленного проекта — А. П. Ленский, выдающийся артист и режиссер Малого театра.

В зале оперного искусства можно услышать голос Шаляпина, увидеть его скульптурный автопортрет — подарок музею. Для скептиков на стене повешены фотографии, на которых певец изображен в разные моменты работы над автоскульптурой. А вот он — молодой, озорной, с гитарой в руках. Таким Федора Шаляпина видели в роли Мефистофеля на сцене Тифлисского театра в 1892 году.

Десятки снимков рассказывают об упорной работе над совершенствованием этого образа. Неудливаемая мука познания в глазах, напряженный лоб мыслителя — эта фотография 1916 года завершает галерею Мефистофелей, сыгранных Шаляпиным в опере Гуно на русской сцене.

Федор Волков, крепостная актриса Параша Жемчугова, блестящий трагик — аристократ Василий Каратыгин, основоположники реализма на русской сцене Па-

вел Мочалов и Михаил Щепкин, балетмейстер Мариус Петипа, семья Садовских, артисты и режиссеры советского театра — обо всем этом экспонаты музея рассказывают живой и подробней, чем многие книги.

Более миллиона раз выступали фронтные бригады артистов перед советскими бойцами в минувшую войну. Один из залов навсегда сохранит для потомков память об этой героической странице в истории нашего театра.

Алексей Александрович

Бахрушин после революции остался в Москве и был директором основанного им музея. Хочется закончить эту заметку словами народной артистки Марии Николаевны Ермоловой, обращенными к Бахрушину: «Давно известно, что слава актера — дым. После его смерти ничего не остается, и память о нем исчезает. Вы же силой воли и энергии сделали великое дело: Вы увековечили память об актере».

В. Суеженко

КУРИТЕ... ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ!

Медицина уже давно прошла стадию простого установления зависимости между курением и рядом заболеваний. Убедительные данные медицинской статистики утверждают: уровень смертности у курильщиков выше, чем у некурящих. И тем не менее у табака появился адвокат.

Впрочем, Георгий Степанович Ильин не собирался выступать в роли адвоката. Да и по профессии он не юрист, а биолог — доктор наук, научный сотрудник Института биохимии АН СССР.

Более тридцати лет назад Ильин заинтересовался физиологией корневой системы растений. Внимательный экспериментатор, он не мог согласиться с той оценкой, которую физиологи дали корням. Великий архитектор — природа — обычно самым экономичным образом решает проблему целесообразности того или иного органа растений или живых существ. Вряд ли она создала мощную корневую систему только для того, чтобы из-

влекать воду и минеральные соли из почвы. И Ильин попытался разгадать это изобретение природы.

Многолетние опыты подтвердили его догадку. Корневая система оказалась совершеннейшей химической лабораторией растительного организма. В ней присутствуют почти все известные аминокислоты, участвующие в построении белка, она синтезирует алкалоиды и другие органические соединения.

Это открытие позволило по-новому взглянуть и на табак. Оказалось, что алкалоид никотин образуется не в листьях, как полагали раньше, а в корневой системе и лишь затем переходит в наземную часть растений.

Чтобы проследить путь этого вещества в клетке, в стебель табака были введены дозы радиоактивного никотина. И в семенах созревшего растения обнаружили присутствие «меченого» алкалоида. Он отлагался в белках.

О новых исследованиях ученых Москвы было сооб-

щено на Третьем международном симпозиуме по биохимии и физиологии алкалоидов в Галле (ГДР). Это вызвало большой интерес.

Возникнут ли изменения в химическом составе, если привить табачное растение на чужие корни? И повлияет ли прививка на качество табака?

Георгий Степанович Ильин провел серию интересных опытов. Ему удалось вырастить привитый на томате табак. Гибриды развивались нормально, лишь немного отставали от контрольных растений ко времени созревания листьев.

Оказалось, что в листьях и стеблях табака, привитого на томате, нет никотина, но это совершенно не отразилось на содержании других азотистых соединений.

Тогда растения поменяли местами: на табак привили томат. В плодах и листьях томата обнаружили никотин почти столько же, сколько в контрольных кустах табака.

Листья томата с никотином и табак без никоти-

на были высушены, и сотрудники Центральной табачно-махорочной лаборатории провели дегустацию. «Начиненный» никотином томат тем не менее имел мало общего по вкусу с табаком. Привитый табак оказался очень легким, однако вместе с никотином он потерял характерный аромат.

Дальнейшие исследования показали, что душистое вещество — кумарин — образуется преимущественно тоже в корневой системе.

Отсюда следует: чтобы научиться управлять наследственностью табака, надо отыскивать способы изменения самого обмена веществ в корневой систе-

ме, ответственной за биосинтез никотина.

Используя теоретические исследования доктора биологических наук Г. Ильина и его коллег, болгарские ученые провели любопытные эксперименты. Им удалось создать сорт табака, который сохраняет курительные качества и в то же время имеет... лечебные свойства.

Сотрудники Института растениеводства Академии сельскохозяйственных наук Болгарии высадили в теплицах семена сорняка дурмана, в корнях которого содержится атропин — лечебное средство. Когда эти растения достигли пятнадцати — двадцати сантиметров, к ним привили табач-

ные стростки. Через неделю растения срослись.

Химический анализ нового сорта табака показал, что в листьях почти полностью исчез никотин и вместо него образовалось 0,10—0,12 процента атропина. Последующие исследования обнаружили лечебное действие этого табака против таких недугов, как астма, язва желудка, сонная болезнь, повышенное кровяное давление, сердечные заболевания.

На Пловдивской табачной фабрике уже изготовлена небольшая партия сигарет «Атротабак».

Словом, курите для здоровья!

Н. Владимирова



Аркадий Бухов (1889—1944) — известный писатель-юморист, начавший свою литературную деятельность еще в дореволюционной печати. Вместе с Аркадием Аверченко редактировал сатирический журнал «Новый Сатирикон».

После революции Аркадий Сергеевич сотрудничал в «Крокодиле», «Огоньке» и многих изданиях Москвы и Ленинграда.

Рассказ «Лавочка смеха» был напечатан в начале 30-х годов в одной из областных газет и с тех пор нигде не публиковался.

Арк. Бухов



Рисунок Л. Непомнящего

Когда заходит разговор о сегодняшней западной сатире и юморе, сейчас же начинаются теплые историко-литературные воспоминания:

— А помните — Сервантес? А помните — Диккенс? А помните — Рабле, Мольер, Гейне?..

Помним. Были. У европейской сатиры и юмора

были прекрасные предки, но потомки их поставили на голову дарвинскую теорию и, вопреки ей — от великих людей произошли маленькие обезьяны. О них и поговорим. (Чтобы не было личных ссор, неприятностей и затянувшейся за полночь дискуссии, предупреждаю, что все образцы,

приводимые ниже, я выдумал, но если все-таки кто-нибудь из-за дурного характера захочет вступить в полемику, — отсылаю его к английскому юмористическому журналу «Панч», французскому «Ле рир», немецкому «Симплициссимус» и т. д. — пусть убедится сам).

* * *

Английский буржуа юмористические журналы читает обычно по воскресеньям, между Библией и поджаренной свиной грудинкой. Ясно отсюда, что и поставляемый для него юмор должен содержать некоторую долю библейской непорочности и по практической полезности своей не уступать свиной грудинке в сухарях.

Действующие лица в рассказе должны быть солидны, обладать капиталом и скромной недвижимостью и преисполнены добрых намерений, и все приключения с ними должны доказать, что только здоро-

вый стол, монархические принципы и аккуратно разглаженные брюки доводят человека вообще, а подданного его величества в част-

ности, до пределов недосыгаемого совершенства. Вот типичный образец сегодняшнего английского юмористического рассказа.

Счастливый день сэра Норфолька

Нотариус Роберт Норфольк шел по улице Бим-стрит и думал о том, что сиднейские акции нынче упали на семь процентов.

— Однако какой сегодня крупный дождь, — задумчиво сказал он, снимая с цилиндра банку с вишневым вареньем.

— Сэр, — раздался све-

рху нежный женский голос, — я не для того варила варенье, чтобы оно падало на голову незнакомым джентльменам.

— Я благодарю бога, — вежливо ответил Роберт Норфольк, — что вы сегодня не варили лошадь. Я бы тогда пострадал сильнее.

Прелестный смех не-

знакомки был сразу заглушен запахом бензина, который охватил Норфолька.

— Нынче делают чертовски крепкие шины,— с деланным спокойствием сказал он, поднимаясь с земли и глядя вслед опрокинувшему его такси.

— Сэр, — почтительно сказал мальчик, оглядывая его с ног до головы,— вы забыли прицепить себе сбобку надпись: «Осторожно, накрашено».

— Увы, дитя, — уже

Французский рантье, верящий в своего духовника, морской флот и утренние газеты солидных издателей, требует совершенно иного юмора.

— Жерменочка,— говорит он жене, расстегивая две жилетных пуговицы и собираясь читать юмористический журнал,— ото-

— Жаннет,— обиженно сказал Жан Вальжан, вылезая из-под дивана,— чьи это ноги?

— Тебе показалось,— испуганно возразила Жаннет, пряча мужские ноги в желтых ботинках под ковер.

— И голоза мне тоже показалась?— сердито сказал Жан, заметив длинную бороду, высывающуюся из шкафа.

— Показалась,— ласково кивнула Жаннет, запирая бороду.

— А чьи это трость, штилеты и лысина высыви-

Буржуазный юмор скандинавских стран изготавливается специально для отдыха между развеской сыров в оптовой торговле и

Свинья мельника

Один состоятельный мельник вез в город на продажу жирную свинью.

— Не хочешь ли выпить водички, моя свинюшка?— сказал мельник.

грустно заметил Норфольк, взглянув наверх,— этот проклятый маляр еще держит два ведра краски. Подождем, пока он выльет на меня оба.

Прогулка была слегка испорчена. Роберт Норфольк, не теряя времени, вбежал по лестнице на шестой этаж, где еще раздавался смех, попал головой в ведро с угольной пылью и едва только отворил дверь к незнакомке, как она сразу оказалась зажиточной вдовой из благородной семьи

* * *

шли деток куда-нибудь дальше... Папа будет читать сатиру и юмор...

Расстроенный неприятностями на мировом рынке и собственными — на соседней фабрике, французский рантье требует от юмориста того же самого, что он ждет от молодого бараш-

Этот чудак Вальжан

ваются из-за зеркала?— уже тоном недоверия спросил Жан.

— Мои, — уверенно кивнула Жаннет,— накидывая на зеркало манто,— теперь все дамы носят штилеты и лысину.

— Ну тогда, значит, мы одни,— успокоенно вздохнул Жан, наливая ликер.

Под столом кто-то закашлял басом.

— Когда я тебя полюбил, ты не кашляла басом,— резниво заметил Жан.

— Я всегда теперь по четвергам кашляю басом,

* * *

покупкой глубоких калош для блистающего здоровьем дедушки.

Этот юмор имеет чрезвычайно короткие формы и

старого патриота и дачевладельца.

— Дайте мне щетку, чистый воротничок и согласие на законный брак,— сказал Норфольк.

— Я согласна,— ответила вдова, подавая ему мыльную пену,— только кабинет в нашей квартире должен быть темный, а спальня в голубую полоску.

Через два года он прошел в парламент. Честное, зажиточное британское солнце ласково освещало их первенца.

ка: побольше сала. И съедает всю очередную порцию, как волк курицу: с перьями, с хрустом и урчанием.

Поставщики его знают, чем ему угодить, и поэтому типичный французский сатирик — юмористический опус таков:

дорогой,— нежно целуя его, уронила Жаннет.

— Итак, ты меня любишь?— радостно вскрикнул он.

— Да,— хором ответило одиннадцать голосов.

Жан весело шел домой и смеялся над теми, кого можно обмануть. В руках у него было одиннадцать пар штилет, четыре трости и восемь колац, не считая манто. Он лихо засвистал и свернул в апашеский кабачок. На церкви святой Кунигунды пробило семь часов.

рассчитан на невиданные еще запасы веселья в человеческом организме.

Вот образцы скандинавских юморесок:

Умная корова

— Корова, корова, дашь ли ты сегодня молока?— спросил хозяин фермы, закуривая трубку.

— Нет,— ответила корова и взмахнула хвостом.

Нельзя, конечно, обойти молчанием и американский юмор. От Марка Твена в нем осталось ровно столько же, сколько от резеды после отдыха двух волов на цветочной клумбе. Американский бизнесмен не позволяет сатире и юмору касаться вопросов этики и морали. Для этого есть храм. Политика тоже. Для

этого есть биржа, где каждому событию знают вкус и цену с точностью до одного цента. Юмор нужен только для тех моментов, когда бизнесмен едет на крыше двухэтажного автобуса, ему надоело жевать резину и нет разговорчивого соседа, или когда ему чистит ботинки на улице

негр, с которым стыдно перекинуться словами. Тогда он вынимает из кармана пересыпанный крошками табака журнал и, стлеывая на сторону прорезиненную слюну, проглатывает услужливый рассказик.

Поставщики изготавливают ему материал в таком виде:

Заработок старика Ларкинса

Бандит Джим Перкинс лихо выпустил пару зарядов в живот бродяге Билью, скрутил папироску и весело спросил:

— Не беспокоит?

— Немножко колет,— ухмыляясь, пробормотал Биль, разряжая в него браунинг.

— Придется умирать,— позевывая, заметил Перкинс,— а жаль! Сегодня хотел в десять вечера ограбить старика Ларкинса.

— Что ты говоришь? — удивился Биль, приподнимаясь на локте.— В десять часов я его граблю.

— Не спорь, Биль. Десять часов — мое время.

— Не спорь и ты, Джим. Лучше позовем сюда самого Ларкинса. Он-то ведь лучше знает, кто его должен сегодня ограбить.

Когда Ларкинс вошел, оба уже были мертвы.

— Мир их праху,— набожно процедил сквозь зу-

бы Ларкинс, доставая у них часы и бумажники,— славы были ребята. Жаль, если бы пришлось их сегодня уколосить в десять вечера.

Это был первый честный заработок старика Ларкинса.

* * *

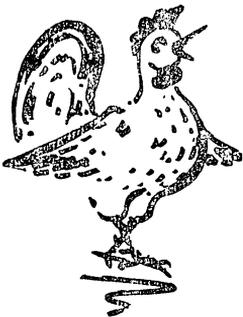
Так смеются на Западе. Каждый смеется как может. Особенно, когда ему хочется плакать.

Юрий Кушак

Рисунки Е. Ноношенко

ВЕСЕЛОЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ

РАЗГОВОР С ПРИЯТЕЛЕМ



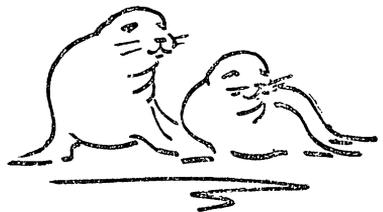
Сказал приятель мне:

— Прости,
Но что за ерунда
Про всяких птиц и про зверей
Писать в твои года!
Ты всюду видишь чудеса,
Но нет чудес, поверь:
Не может птица говорить,
Дружить со зверем зверь.

А я ему ответил так:

— Ты просто слеп и глух,
Об этом мне сказал вчера
На улице петух;
И это подтвердил пингвин
В присутствии моржих,

А если ты не веришь мне —
Пойди спроси у них.
Но если не услышишь ты
Правдивый их ответ,
То, значит, говорить с тобой
У них охоты нет!



ПТИЧИЙ БАЗАР

На птичьем базаре
Гагары орут.
Гагары гагарам
Товар продают:
— Задаром — малина!
Бесплатно — маслины!
— Дарю апельсины
Из Лунной долины!
— Арбузы, арбузы
Из Тафалара!
— Почем же арбузы?
— Штука задаром.
— Ох-ох, вот так плата!
До-ро-го-ва-то...

Вот если б задаром
Вы продали пару...

Приплыл я однажды
На птичий базар.
Торгуются птицы,
Но где же товар?
Не видно на скалах
Ларьков и прилавков,
Зачем же, скажите,
Устраивать давку?
Гогочут гагары:
— Да он же слепой!
Да наши товары



Увидит любой!
Тут даже не надо и зренья!
Лишь было бы воображенье!
Мы можем бесплатно
Купить и продать.
— Тогда непонятно —
Зачем же орать?
— Вот это и нам непонятно,
Но, знаете, очень приятно!

ЕСЛИ Я ЗАХОЧУ...



Если я захочу,
Сразу — р-раз!
— И в самолете
Хоть на полюс улечу.
Снег вокруг да ветер.
Здравствуйте, медведи!

А захочется мне —
Покатаюсь на слоне,
Прямо под лианами
Рядом с павианами.

На верблюде до обеда
Я по Африке проеду.
Змеи ползают. Жара.
Да и в Арктику пора.

Вот олени. Вот и сани.
Только в них садитесь сами.

Я поеду на ките,
Чтоб не ехать в тесноте.

— Ты волшебник?
В самом деле?

— Да,
Когда
На карусели.
Но зато домой потом
Два часа тащусь пешком.
По Садовой, по Арбату —
Все пешком да пешком.
— Сел в автобус бы, чудак!

— Кит
Последний

Съел
Пятак...

Ян Полищук

ИЗ БЛОКНОТА ФЕЛЬЕТОНИСТА

Натюрморты с витаминами

На стенах рестораника в Новороссийске развешаны плакатики с вензелями. Очень впечатляюще выглядят надписи: «Более трехсот лет мы пьем чай, а все никак не напьемся», «Рыба — не мясо, а питательность не меньшая», «Овощные блюда — это натюрморты с витаминами». Под плакатиками — дневные обеденные меню.

Видать, директор вегетарианец, к тому же не лишенный поэтического воображения. Но как это при нем не прогорает заведение?

Однако, заглянув сюда вечером, я обнаружил новую конъюнктуру. На стенах располагались призывные плакатики: «Первая чарка крепит, а уж вторая — веселит», «Только первая бутылка кажется дорогой» и, наконец, самое убедительное: «Вино на радость нам дано!»

Нет, не прогорит этот рестораник, не прогорит.

Оценили

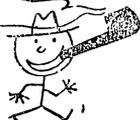
Приятель-репортер из Чехословакии рассказал мне историю о том, как были оценены его родственные чувства.

За пять дней до именин любимой тетки он бегал по магазинам, чтобы приобрести ей подарок. Решил купить что-нибудь такое оригинальное, чтобы завоевать симпатии старушки на весь остаток жизни. Знакомый профессор-зоолог порекомендовал приобрести у собирателя редкостей попугая. Этот попугай отличался тем, что говорил на

одиннадцати языках, включая язык огнеземельцев, исполнял арии из трех опер и стоил более 2500 крон.

С трудом уломав владельца диковинного попугая, репортер заключил птицу в особую клетку и послал малой скоростью тетке. Через несколько дней он получил благодарственную телеграмму: «Очень вкусно. Осталась еще ножка. Приезжай. Целуем».

МЕЖДУ
ПРОЧИМ



ЭПИТАФИЯ УКРАШАТЕЛЮ

Писатель жил бы много лет
Под трепет куш березовых,
Когда б ОРУДа красный свет
Не принимал за...

РОЗОВЫЙ!

С ДАВНИХ ПОР

Известно это с давних пор —
Не зря ведь лишут книги!
И там, где новый режиссер,
Есть старые

ИНТРИГИ

НА СВОЕМ ОПЫТЕ

ЮЛА
учила
молодежь:
«Пока юлишь,
не упадешь!»

Виталий Новлянкин

РЕПЛИКИ ТЕАТРАЛА

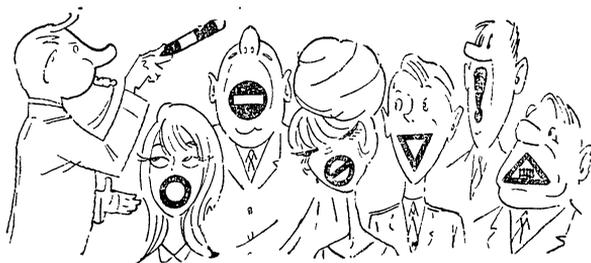
Когда пожилую актрису
упрекнули за то, что она иг-
рает Джульетту, та возражи-
ла: «А сколько лет было бы
сейчас Джульетте?»

Драма «Саша», трагедия
«Александр», водевиль «Шу-
рочка»... Драматург привык
все вещи называть своими
именами.

Торговля в буфете теат-
ра шла бойко: продавцы не
залеживались на прилавках.

Вал. Десятый

Рис. Л. Морозовой
и А. Орлова



Выступает ансамбль самодеятельности ОРУДа



Современные Самсон и Далила



Затянувшееся прощание

В БЛИЖАЙШИХ НОМЕРАХ НАШ ЖУРНАЛ НАМЕЧАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ

Роман Василия Рослякова «ОТ ВЕСНЫ ДО ВЕСНЫ»
Вторую книгу романа В. Тевекеляна «ЗА МОСКВОЮ-РЕКОЙ»

Роман М. Ганиной «СЛОВО О ЗЕРНЕ ГОРЧИЧНОМ»
Рассказы Семена Нариньяни

Стихи К. Ваншенкина, А. Межирова, А. Малышко,
И. Абашидзе, Н. Агеева, В. Павлинсва, А. Пришельца и других

Публицистические статьи и очерки: И. Забелин. «ЧЕЛОВЕЧЕСТВО — ДЛЯ ЧЕГО ОНО?»; Л. Лондон. «НЕОТКРЫТЫЙ ЗАКОН» (Заметки инженера-строителя); М. Брагин. «БИТВА ЗА МОСКВУ»; О. Гуссаковская. «МОЯ ЗОЛОТАЯ ТАЙГА»; К. Алтайский. «ЦИОЛКОВСКИЙ В МОСКВЕ»

Литературно-критические статьи, воспоминания, публикации В. Дементьева, А. Андреева, В. Сурганова, В. Смирновой, В. Назаренко, А. Костерина

ГОТОВЯТСЯ ТАКЖЕ К ПЕЧАТИ

Роман Михаила Булгакова «МАСТЕР И МАРГАРИТА»
Вторая книга романа Елизара Мальцева «ВОЙДИ В КАЖДЫЙ ДОМ»

Роман Л. Лагина «ГОЛУБОЙ ЧЕЛОВЕК»

Роман Доры Павловой «КТО ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕ?»

Очерк Бориса Полевого «СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС»

Повести и рассказы В. Цыбина, В. Белова, М. Рощина, Ю. Власова, Э. Шима и других.

В цветную вкладку № 5 журнала вкралась досадная ошибка: перепутаны заглавные надписи над репродукциями с юбилейных художественных выставок Литвы и Эстонии.
Редакция приносит извинения авторам опубликованных работ и читателям.

Технический редактор Г. Ю. ДУБМАН. Корректоры Н. А. АКимова, М. В. Аксенова.

Подписано к печати 4/VI 1966 г. А12076. Тираж 160 000 экз. Формат бумаги 70 × 103¹/₁₆.
Печ. л. 14 = 19,18 усл. печ. л. = 21,938 + 4 вкл. = 22,753 уч.-изд. л. Заказ № 3973. Цена 50 коп.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата. Москва, Краснопролетарская, 16.

50 коп.

И н д е к с
73 253.